



ГЛАГОЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ

№ 10

**Специальный выпуск к Форуму развития
двусторонних общественных связей Россия-Франция**

**Номер издан при содействии Федерального агентства
Россотрудничество**

**Москва—Париж—Санкт-Петербург
2018**



www.glagol.jimdo.fr

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Владимир Сергеев

Наталья Черных

Татьяна Громова

Андрей Балабуха

Главный редактор — Елена Кондратьева-Сальгеро

Обложка:

Фото Веры Бортник (1 и 4 стр.)

Стихи на обложке — Елена Копытова

Художники — Елена Любович,

Андрей Карапетян

Дизайн макета — Татьяна Громова

Корректурa — ООО «Группа МИД»

ISBN 978-598673-133-9

© Ассоциация «Глаголь», Париж, 2018

Литературно-художественное издание

ГЛАГОЛЬ

литературный альманах № 10. Спецвыпуск

ISBN 978-5-98673-133-9

Издательство «ООО Андрей Буровский КИФ»

Подписано в печать 30.08.2018 г. Формат 70х100/16. Печ. л. 21, 75

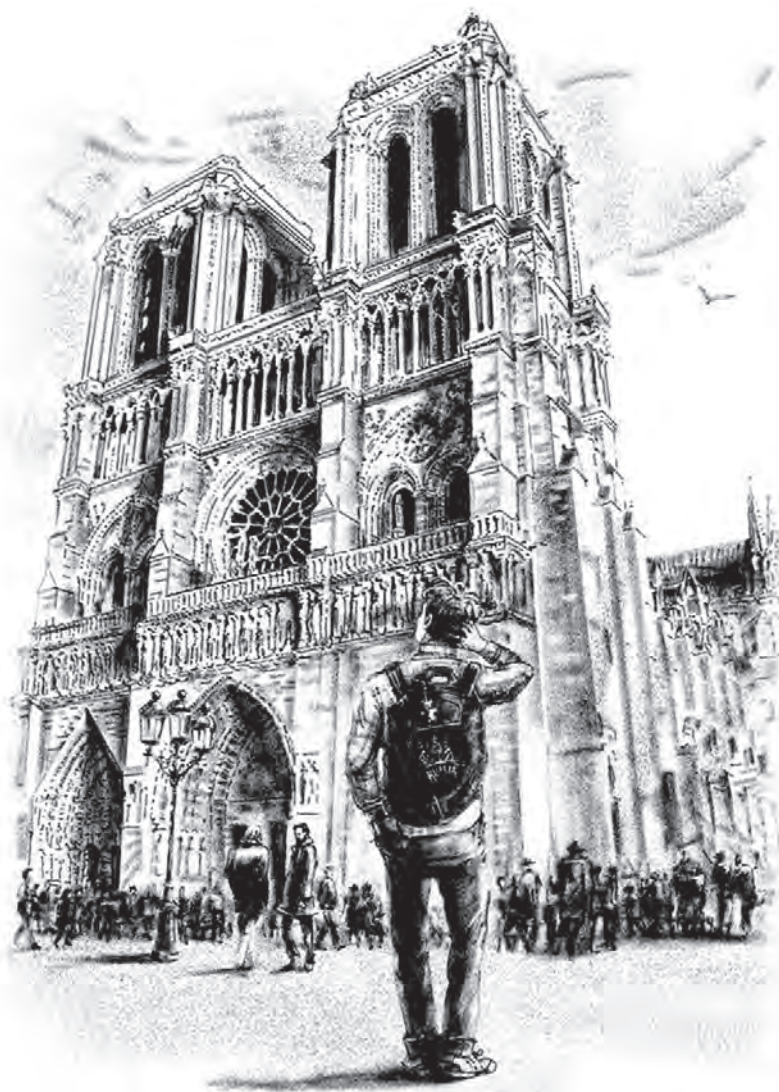
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Группа МИД» почтовый адрес:

Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, бизнес центр «Т4»

тел./факс: (812) 458-43-69

ЗАВЕЩАНИЕ вместо предисловия, или добро пожаловать к наследию



© Художник Елена Любович

Наследие от наследства отличается щедростью посылы и достойным этой щедрости долголетием.

Если наследство, по определению, предназначено прежде всего узкому кругу своих родных и близких, не всегда готовых оценить, иногда способных промотать, то наследию ни в коем случае не грозит ни одна из этих прискорбных возможностей.

Наследие не ограничено ни житейскими коллизиями сварливого семейного круга, ни безжалостностью утекающего сквозь судьбы времени.

Наследие безвозмездно, предназначено всему человечеству, вне зависимости от степени родства, и потому никоим образом не рискует быть затерянным, утаённым или бессовестно растраниженным на глазах у целого мира кучкой случайных и недостойных потребителей.

У наследия есть только один серьёзный и опасный противник — равнодушие.

Равнодушие ведёт к забвению и позволяет разрушать.

Мы почти никогда не говорим о наследии на страницах нашего альманаха, хотя только тем и занимаемся, что собираем по миру самых разнокалиберных авторов, таланты которых должны пережить вечность и стать наследием всей русскоязычной культуры.

И нам, конечно же, интересны люди, которые делают то же самое в любых относящихся к культурному наследию областях, тем самым не давая воцариться равнодушию и бездарно пустить по ветру всеобщее достояние.

Поэтому мы с удовольствием посвящаем этот номер русско-французскому форуму, который собирается в Париже осенью 2018 г., дабы рассмотреть, обсудить, покритиковать, предложить, решить и продолжить важнейшее дело — сохранение культурного наследия, общего для Франции, России и не только.

У форума длинное название и чёткая суть: «Форум развития двусторонних общественных связей Россия-Франция».

Он приглашает для серьёзной дискуссии деятелей культуры, организаторов, спонсоров и официальных представителей двух государств и наглядно покажет, чем и с какими результатами занимаются все эти деятели и чем в ближайшем будущем, равно как и на долгий срок, все они планируют заниматься.

Обсуждать будут общественные и частные модели сотрудничества в области культурного наследия и, конечно, образования: даже сотрудничество вузов с предприятиями обеих стран будет представлено и рассмотрено в реальном, а не в «отчётно-галочном» режиме. Что само по себе очень интересно в наш заполонённый противоречивыми событиями исторический период, когда особенно важно помнить, что посеешь...

Ну а уж литературе на этом форуме будет посвящён не один круглый стол: «Современная литература и преодоление актуальных общественных конфликтов: российско-французское измерение» наверняка соберёт

со всех фронтов завидное количество желающих поспорить и доказать, что во-первых, есть ещё в русскоязычном литературном мире непуганная масса незаслуженно неизвестных талантов, а во-вторых, далеко не все железные спонсоры непременно действуют по принципу «я организую вам публикацию, а вы поставьте меня в соавторы в знак особой благодарности»...

Отметьте также, что Форум этот — своего рода первопроходец и призван символизировать начало таких регулярных встреч, первой из которых дал повод текущий год 2018, франко-российский «Год языка и литературы», проходящий под патронажем актрисы Фанни Ардан.

Нет, не пугайтесь, я не стану утомлять вас цифрами, чинами и отчётами. Пусть всё это перебирают собравшиеся на форуме во время своих дружеских и деловых встреч.

В нашем альманахе всё будет как всегда: насыщенно и интересно, в полном соответствии с вечным принципом толстого журнала: всем всего не расскажешь, всем не понравиться, но каждый найдёт себе здесь что-то для ума, души и вкуса.

Каждый возьмёт что-то из общего для своего личного культурного наследия, сохранит и, может быть, даже поделится. А может, вдохновится и сотворит что-нибудь сам. Главное — не оставаться равнодушными ни читателям, ни творцам...

О наследии, безусловно, нужно много и часто говорить.

Но ещё лучше — больше и чаще собирать, сохранять и делать всё необходимое, чтобы как можно больше людей знало, понимало и ценило всё то, ради чего только и стоит не все поминать само слово «культура».

Собственно, именно этим мы и занимаемся, по всему миру разыскивая, публикуя и увековечивая очень, очень разных русскоязычных авторов всех жанров и стилей.

Судя по по неустанно прибывающим в наше скромное издание талантам, мы невероятно, прямо-таки завораживающе богатые наследники...

Поэтому, как всегда, можем щедро и с удовольствием поделиться — читайте и обращайтесь!

**Елена Кондратьева-Сальгеро,
главный редактор литературного альманаха «Глаголь»**

СОДЕРЖАНИЕ

Завещание вместо предисловия, или добро пожаловать к наследию Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция).....	4
---	---

Наш взгляд

Ирина Павлова (Россия)..... Быть интеллигентом.....	10
Александр Дубровский (Россия)..... Взять вершину.....	15
Артурас Рачас (Литва)..... Рассказ литовского журналиста-националиста.....	21

О важном в прозе и в стихах

Лада Пузыревская (Россия)..... Там, где нас нет.....	26
Сергей Шиянов (Россия)..... Мячик.....	39
Владимир Ступинский (Беларусь)..... Небесная глина.....	42
Елена Костандис (Россия)..... Несколько старых писем.....	48
Лев Либолев (Украина)..... Страна в квартире.....	58
Дмитрий Лекух (Россия)..... Костры у дольменов.....	68
Ольга Старушко (Россия)..... Материк.....	76
Виталий Винтер (Германия)..... Дед и терриконы.....	87
Анастасия Приеднице (Латвия)..... От большой любви.....	90
Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция)..... Бестолочь.....	100
Андрей Карапетян (Россия)..... Окно открытое как в степь.....	105
Наталья Черных (Россия)..... Моим голосом.....	114
Татьяна Кирпиченко (Россия)..... Другой берег.....	117

Нескучно о серьёзном

Павел Басинский (Россия)..... Горький и Церковь.....	126
Игорь Вирабов (Россия)..... Горький и чёрт.....	132
Татьяна Шеина (Беларусь)..... «Венегрут-нави».....	137
Будни аптекантропа.....	168

Русские по миру

Кирилл Бенедиктов (Черногория)..... Маленькая красивая страна.....	186
--	-----

Беседы

Андрей Монастырский (Россия)..... Возвращение мастеров.....	192
Наталья Черных (Россия)..... Духовное наследие — что это?.....	209

По следам немеркнущих событий

Ефим Гаммер (Израиль)..... Глаза в глаза с минувшим.....	220
--	-----

Поэтический невод «Глагола»

Петра Калугина (Россия)..... Портал живых стихов.....	292
---	-----

Отражения (переводы)

Татьяна Громова (Россия).....	Несколько стихотворных переводов...298
Владимир Сергеев (Франция).....	Чай всмятку.....304

И конечно — фантастика!

Андрей Балабуха (Россия).....	Мавр, или Последний европеец?.....334
-------------------------------	---------------------------------------



© Художник Елена Любович

Наши иллюстраторы

Вера Бортник (Франция, Париж)

Родилась в Москве. Закончила МГПИИЯ им. М.Тореза, работала преподавателем в МГИМО. В 1990 г. уехала во Францию, закончила факультет французской литературы в Сорбонне и Высшую школу переводчиков. Фотографией занимаюсь с 2010 г. Хотелось поделиться увиденным. Стараюсь остановить прекрасные мгновения, себе на память и людям на радость.

Елена Любович (Россия)

Художник-дизайнер промышленной графики. Более двадцати лет работает в рекламе. Закончила Московскую Художественную академию «Памяти 1905 года» (МАХУ)

Андрей Карапетян (Россия)

Художник-график, поэт, прозаик. Живёт в Санкт-Петербурге. По образованию инженер-конструктор.



© Художник Елена Любович

НАШ ВЗГЛЯД



© Художник Елена Любович

Ирина Павлова
(Россия, Москва)

Киновед, кинокритик, сценарист, эссеист. В общем, что вижу, про то и пишу.

Большую часть жизни прожила в Ленинграде, потом переехала в Санкт-Петербург, а потом и вовсе в Москву — как декабристка, вслед за мужем. Так теперь в Москве и живу. Художественно руковожу Российскими программами Московского Международного кинофестиваля — без малого 15 лет, а программами Санкт-Петербургского кинофестиваля «Виват кино России» — уже больше 20 лет. Видимо, руковожу неплохо, раз до сих пор не турнули.

Живу довольно давно, много видела и много помню, иногда вспоминаю на бумаге.

Быть интеллигентом

Меня этот вопрос занимает давно. В романе Толстого «Воскресение» две милые пожилые дамы — графиня и княгиня — в беседе между собой произносят слова: «Мы же интеллигентные люди...» Не аристократками себя назвали, заметьте, не дворянками, а «интеллигентными людьми».

Ещё в юности я вычитала где-то, что слово «интеллигентность» понимают только в России. В самом деле, весь мир вполне обходится понятием «интеллектуал», и когда пытаешься объяснить иностранцу, что такое «интеллигент» в нашем понимании слова, начинаешь перечислять длинный список качеств, нескончаемый свод писанных и неписанных правил и табу, всё заканчивается пожатием плеч собеседника и формулировкой: «Аааа, понял: интеллигент — это хороший человек с хорошим образованием!»

В общем, оно и в самом деле так, да не совсем.

Но главное — сегодня девяносто из ста российских собеседников этого слова, оказывается, тоже практически не понимают. Мы это понятие, это явление искоренили меньше чем за двадцать лет. Его советская власть искореняла — ножом и топором — и не смогла. А сегодняшняя реальность справилась с этой задачей куда более успешно.

Думаю, ещё при жизни моего поколения в энциклопедических словарях к этому слову станут делать приписку «устар.» — устарело.

Ужасно жаль...

Для меня в этом смысле эталонным всегда был фильм Ильи Авербаха «Чужие письма». Этот фильм для меня с годами стал ещё лучше. Ещё пронзительнее. Мучительнее, что ли. Потому что заставил задуматься о вещах, о которых в повседневной суете как-то не думалось. История человеческого противостояния интеллигентной учительни-

цы Веры Ивановны и бессовестно-напористой юной жлобихи-школьницы Зины Бегунковой из дня нынешнего выглядит совсем иначе, чем тогда. Но и тогда, и сейчас поражала стойкость и несгибаемость этой тихой женщины, не принимающей чужих правил игры ни под каким соусом.

Мы в ту пору жили в ситуации, когда всякий образованный человек хотел быть интеллигентом. Условно говоря, каждый приличный человек старался культивировать в себе Веру Ивановну.

Не у каждого, кто хотел, получалось. Далеко не каждый старался. Интеллигентов было мало. Но они вызвали восхищение пополам с раздражением. Достаточно вспомнить преклонение всех слоёв общества перед Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым. Отнюдь не все толком знали, чем он знаменит, что такого сделал академик Лихачёв, что за жизнь он прожил. Но в нём самом, в его манере речи, образе мышления, стиле поведения было совершенно неотразимое для всех обаяние абсолютной, практически недостижимой интеллигентности. Такое же, как в экранных героинях Ирины Купченко. А рядом жили Зинки Бегунковы, напористые демагоги, к себе предъявляющие один счёт, к окружающим — другой. Цепкие до жизни, до власти, до благ. С гигантской самооценкой. Не ведающие сомнений. И только существование таких людей, как Лихачёв или Вера Ивановна, внушало этим Зинкам комплекс неполноценности. Потому что, посмеиваясь над непрактичностью и принципами интеллигента, жлоб в глубине души всегда понимал, в чью пользу различия.

Сегодня всё наоборот.

Косноязычный пэтэушник оказался толковым дельцом, и вот уж, гляньте, он весь в Кардене, ездит на «майбахе», отдыхает на Мальдивах и даже выучил английский (ну надо!). И он сегодня — не просто богатый человек. Он — аристократия. Ежели в стародавние времена миллионерам Елисеевым в высший свет общества было никак не пробиться (не пускали — и всё тут!), то сегодня «высшим светом» стали очень богатые и добившиеся власти пэтэушники. А «золотая рыбка» у них на посылах. То бишь, в гувернантках, в обслуге. И вызывает у них уже не восхищение пополам с раздражением, а жалость пополам с презрением. Даже не самые бедные представители художественной элиты с готовностью идут к ним на вечеринки «лицом торговать», заискивают, в дружбу набиваются, терпят снисходительное похлопывание по плечу.

А теперь напомним, откуда взялось презрение. Очень-очень давно я была в Санкт-Петербургском Доме Кино на выступлении Егора Гайдара, тогда ещё молодого российского премьер-министра. Егору Тимуровичу, внуку двух известных писателей, сыну крупного журналиста-международника, интеллигенту в третьем поколении тогда задали вопрос: как быть, если сейчас уборщица получает больше профессора? Почему де-

путат у нас тратит на собственные зарубежные вояжи больше, чем на российские культуру, науку и образование вместе взятые?

Я никогда не забуду его ответ, а главное — иронично-безразличную улыбку, с какой он был произнесён: «Это простая экономика. Значит, уборщица сегодня нужнее профессора, а зарубежные вояжи важнее, чем культура!». Он был искренен в тот момент. Не ломался, не интересничал перед публикой. Он правда так думал.

И вот, сегодня мы живём в обществе, где интеллигенты выглядят смешно и глупо, вызывают жалость пополам с презрением. И это быстро усваивают дети. И если после отмены крепостного права мужики потолковее старались прививать детям культуру, чтоб те быстрее выбились в люди; если через тридцать-сорок лет после пролетарской революции пролетарии посообразительней поступали со своими детьми точно так же, то ныне с этим покончено. Речь не об образовании: «богатенькие буратины» шлют-таки своих деток в Гарвард или Оксфорд учиться.

Речь о том, престижно ли в принципе быть образованным человеком в России, если ты — профессор всего на свете — ходишь в дешёвом пиджаке и едешь на метро? Или тогда твоё образование и твои прочие замечательные качества самостоятельного значения не имеют?

В самом деле, нашу жизнь всё более и более моделируют соцсети, а даже уже и не телевидение. И в эту модель в качестве примет личного успеха входит всё то, что мало связано с образованностью и культурой. Куда важнее, в какую «тусовку» тыходишь.

Если у тебя есть хороший автомобиль и дорогой мобильный телефон, если ты хорошо одет и ухожен, то не всё ли равно, как ты учился и учился ли вообще? Не всё ли равно, каким языком ты изъясняешься?

И наоборот: если у тебя плохая квартира и нет машины вообще, а покупки ты делаешь на вещевом рынке, то кого волнует, что ты правильно говоришь и много знаешь? Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?

А между тем, у образованности (и у интеллигентности) есть целый ряд свойств, не позволяющих человеку пробиваться к преуспению напролом, по трупам, сквозь кусты и препятствия. Напротив, эти качества, в принципе, сокрушительно портят человеку жизнь.

Заметьте, как мало интеллигентных людей в наших выборных органах или на выборных должностях: им неловко объявлять во всеуслышание «Выберите меня, я самый лучший, я вам всем дам, что хотите». Им трудно перебить или перекричать говорящих, чтобы быть услышанными. Проще молчать и слушать, и ждать, когда спросят (чаще всего так и не спросят!). Безапелляционность обычно не в стиле интеллигентного человека. Взгляды, в которых такой человек абсолютно убеждён, он высказывает в виде формулы: «Мне кажется...» (и чаще всего получает ответ: «Крестись, если кажется!»). Мало того, существует целый свод ни-

кем не написанных, но безусловных правил, которые приличный человек соблюдает неукоснительно.

Все эти правила не входят в число доблестей, какими достигается процветание: «не бить лежачего, не доносить, не вырывать кусок из чужого рта, не красть, не угодничать» и ещё много-много подобных «не».

Зато как много стало людей интеллигентных профессий, которые сами и вполне добровольно себя «разынтеллигеничивают», перенимая жлобские манеры?

Речь именно о том необъяснимом, но очевидном отличии интеллигента от образованного жлоба: благородстве, культуре, совестливости, душевной деликатности.

О простых, но важных правилах, которые сегодня кажутся глупым чудачеством: почему это нельзя читать чужие письма, рыться в чужом белье, считать деньги в чужом кармане, класть локти на стол, проталкиваться впереди женщины (если она не твоя личная дама)?

Кто сказал, что нельзя? Нищая училка? Ну, чему же она может научить?! Глупости это всё, как подсказывает простая экономика. Не лучше ли подстроиться под «прайд», который тебя и защитит, и обогреет, и пристроит? Не лучше ли быть проще, не лучше ли быть наглым, лишённым рефлексии? А если кому-то не нравятся твои манеры, твоя речь — так плевать на то, нравятся или нет!

Интересно, спохватится ли общество? А спохватившись, не обнаружит ли, что уже поздно и «динозавры» уже вымерли?

Я в этой связи часто вспоминаю американскую комедию «Рождённая вчера» режиссёра Луиса Мандоки с Мелани Гриффит, Джоном Гудмэном и Доном Джонсоном в главных ролях. Фильм был снят в 1993 году как римейк старой одноимённой комедии Джорджа Кьюкора (1950). Славная такая комедия, не более того. Если бы не один существенный нюанс.

Сюжет строится на том, что любовница криминального босса, смыслом жизни которой было смотрение мыльных опер по телевизору и получение подарков в виде шуб и драгоценностей, по прихоти своего хозяина начинает учиться.

Читать умные книжки, листать словари. Чтоб, значит, можно было её вывести в приличное общество. Но, становясь постепенно образованным человеком, героиня начинает понимать (а главное — делать) много таких вещей, на которые совершенно не рассчитывал её патрон. Нечто подобное сочинил много лет тому назад Бернард Шоу в «Пигмалионе».

Суть всех этих сюжетов сводится как раз к тому, о чём идет речь. Нельзя просто научиться хорошо говорить, просто читать книги, просто приобрести хорошие манеры. Все эти вещи непременно оказывают влияние на личность, изменяют её, заставляют не только иначе вести себя, но и думать, и чувствовать иначе. Образованность и культура не упрощают

человеку жизнь, а сильно её осложняют. У воспитанного, интеллигентного, образованного человека всегда больше проблем, по крайней мере, внутренних. Возникает куча вопросов, на которые непременно надо отвечать.

Словом, одни сплошные минусы.

И тогда — зачем?

Вообще, такие свойства личности, как благородство, достоинство, культура, человеческая цивилизация вырабатывала искусственным путём.

В качестве некоего отличительного знака высокой социальной принадлежности. Того, что называется хорошим обществом. Причём попасть в него всегда было трудно, а вылететь — в два счёта. И потому так тщательно вырабатывались неписанные законы, и потому так требовательно следили за их неукоснительным соблюдением. В сущности, эти качества всё более и более углубляли социальный разрыв. Довольно вспомнить один из пассажей романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром»: «Нося такое кольцо, ты никогда не будешь выглядеть настоящей леди, но всегда — богатой дешёвкой!».

Так в конце концов, зачем «быть настоящей леди», если все средства массовой информации подчёркнуто пропагандируют «богатую дешёвку»?

И на кой она, ваша интеллигентность, если от неё — одни проблемы?

Вопрос, собственно, как и прежде, лишь в том, востребованы ли все эти качества обществом, пропагандируются ли они, могут ли они способствовать успеху, или в обществе окончательно разовьётся культ выскочки, наглого нувориша и бессовестного мздоимца.

Наверное, недемократично требовать от человека для успешного продвижения в карьере, чтобы он имел хорошее образование, был элегантен, говорил не столько бойко и напористо, сколько хорошо, и, наконец, чтобы умел себя держать в обществе. Но само понятие «карьера» — вещь не вполне демократичная. И, наверное, стоит помнить о том, что деньги — это, конечно, хорошо, но они не могут, не должны быть главной приметой высокого социального статуса.

В конце концов, человеческая цивилизация не зря придумала эту существенную разницу между «настоящей леди» и «богатой дешёвкой».

Александр Дубровский (Россия, Москва)

Родился в 1961 году в Саратовской области. С детства мечтал об авиации, поэтому закончил МАИ, планировал долго и плодотворно трудиться над конструированием новых авиационных двигателей. К сожалению, жизнь распорядилась иначе, и в настоящее время являюсь владельцем и руководителем многопрофильной группы компаний.

Писать начал в начале нулевых, веду свой блог «Иррациональность правит миром», публикуюсь в ведущих интернет-изданиях России.

Взять вершину

Где-то я читал, что когда Сергей Лавров что-то говорит даже на сугубо нейтральную тему, а в это время у иностранного слушателя вдруг отказывает синхрон (да, такое бывает), создаётся ощущение, что вот как раз сейчас министр и сообщает лично ему о начале наступления русской армии по всем фронтам.

На самом деле это, конечно же, шутка, однако, возможно, из тех шуток, в которых только доля шутки. То есть, примерно такая же правда, как, например, вот эта:

«Если мне показалось, что меня кто-то может избить и ограбить, я изображаю русский акцент. Работает гениально. Вот я возвращаюсь домой, подходят ко мне два опасных чернокожих парня: ”Эй, пацанчик, ты что, районы попутал?” ”А что, это плохой район?” — спрашиваю я с русским акцентом» (Дэн Содер /Dan Soder/ — американский комик).

Так что же получается? Если уж один только русский акцент может пугать плохих американских парней, то что уж говорить о дипломатах и политиках, которые априори парни хорошие, и с которыми наш министр вдруг дипломатично заговорил на русском без переводчика. А представьте себе, что в этот момент Лавров не в духе и злится — это ж объявление ядерной войны всей Галактике! Даже если как раз в этот момент Сергей Викторович просто недоволен тем, что ему приходится использовать сугубо дипломатические выражения вместо известных уже всему миру пары непечатных слов, коротко характеризующих умственное развитие оппонентов.

По всей видимости, что-то «не так» с нашим языком. Или наоборот, всё «так»? Попробуем проанализировать с полным осознанием тщетности любых потуг разобраться с великим и могучим раз и навсегда. Хотя бы потому, что даже знаменитости до конца не разобрались в его парадоксальных тайнах:

«Русский язык настолько богат глаголами и существительными, настолько разнообразен формами, выражающими внутренний жест, движение, оттенки чувств и мыслей, краски, запахи, материал вещей и пр., что нужно при построении научной языковой культуры разобраться в этом гениальном наследстве "мужицкой силы"» (А.Н.Толстой).

Или, например, совсем другое мнение нашего же соотечественника:

«...столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная переключка между отвлечённейшими понятиями, роение односложных эпитетов — всё это, а также всё относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям, — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную разницу в историческом плане между зелёным русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским...» (В.Набоков).

Возникает интересный вопрос: кому из двух больших писателей верить? Графу и, одновременно, лауреату трёх сталинских премий, что непременно вызывает подозрения в ангажированности? Или дворянину, потерявшему в Советской России всё своё состояние и не написавшему с 1940 по 1977 годы ни одного романа на русском языке? А может быть, ну их, великих соотечественников? Дадим-ка слово не менее великим иностранцам:

«Русский язык, насколько я могу судить о нём, является богатейшим из всех европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения тончайших оттенков. Одарённый чудесной сжатостью, соединённый с ясностью, он довольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку потребовались бы для этого целые фразы» (П. Мериме).

«Как красив русский язык! Все преимущества немецкого без его ужасной грубости» (Ф.Энгельс).

«Знание русского языка, — языка, который всемерно заслуживает изучения как сам по себе, ибо это один из самых сильных и самых богатых живых языков, так и ради раскрываемой им литературы, — теперь уж не такая редкость...» (вновь Ф.Энгельс).

Что объединяет приведённые цитаты? Пожалуй, исключительное преобладание эмоциональной окраски, даже не предполагающей мало-мальски научной аргументации. А где эмоции, там, как известно, крайняя степень субъективности. Если же кто-то попытается отослать меня к научным трудам, я на это сразу же отвечу: даже такая наука, как сравнительное языкознание, ничего не скажет простому обывателю о преимуществах и недостатках того или иного языка. Труды же лингвистов и языковедов, рассказывающие о преимуществах русского языка и, тем

паче, о его первородности (есть и такая, вполне аргументированная гипотеза), я вас уверяю, давно и прочно заняли нишу лжетрудов, фальсификаций и прочих шарлатанств от науки.

Таким образом, официальная наука в данном вопросе суха, безоценочна и ничего нам не поведает по интересующему вопросу. Неофициальные гипотезы и теории, напротив, часто эмоциональны и субъективны. Тем, впрочем, и интересны. Ибо, по некоторым утверждениям и вопреки естественным наукам, мир не только держится на трёх китах (или черепахах), но и регулярно спасается красотой. А там, где красота, там и эмоции. Посему на эмоциях и остановимся. Тем более, что сам мир стоял на пороге взрывного интереса к русскому языку благодаря самому лучшему в истории футбола Чемпионату мира - 2018.

Одно уточнение: поскольку взрывной интерес предполагается, в первую очередь, со стороны простых людей, массово посетивших Россию со всего мира, то на их мнения мы как раз и попробуем опереться, какими бы парадоксальными они ни показались. В конце концов, нам, простым носителям языка, гораздо сложнее отделить мух от котлет, чем таким же простым людям со стороны, часто не уступающим знаменитостям в мудрости и точности суждений.

Пр процитируем некоторые высказывания из сети:

«Русский звучит очень грубо, маскулинно. Это язык настоящих мачо» (Уилл, финансовый аналитик, Австралия).

«По мне русская речь — это нечто среднее между рыком моржа и мелодией Брамса» (Эйб, бухгалтер, Англия).

«Русский язык — это пара знакомых слов, затерянных в полном лингвистическом хаосе неприятных на слух звуков» (Альбертина, врач-инфекционист, Германия).

«Он как рёв автобуса, затерявшегося в пробке. "Да-да-дааааа". И так по нарастающей» (Хаим, художник, Израиль).

«До того, как я начал изучать русский язык и ещё некоторое время спустя после начала уроков славистики, тем больше он казался мне похожим на запись любого другого мирового языка, пущенного задом наперёд» (Гетин, разведчик, Ирландия).

«Это как приглашение к отчаянному флирту. И особенно, когда русские девушки невероятно сладким голосом произносят вот это их "пачиму?". Опубликуйте меня, пожалуйста» (Алессио, журналист, Италия).

«В высшей степени эмоциональный язык — в интонацию русские вкладывают много чувства и страсти. Пример: "вот это да!"» (Крис, консультант, Корсика).

«Самое удивительное, что русский язык может звучать совершенно по-разному: всё зависит от говорящего и от того, что именно говорится. В принципе, от русского языка при желании можно добиться ангельского звучания. Правда-правда! Русский — это пластилин, из которого можно вылепить всё, что пожелаете» (Батыр, фотограф, Монголия).

«Русский язык — это звуки, которые издавала бы кошка, посади её в коробку, полную мраморных шариков: писк, визг и полная неразбериха» (Вильям-Ян, дизайнер, Нидерланды).

«Как будто кто-то толком не отхаркался, набрал полный рот слюны и при этом пытается разговаривать» (Дин, пенсионер, Новая Зеландия).

«Мне всегда казалось, что русский — это смесь испанского с округлым "р", французского, в который добавили "ж" и немецких грубых звуков» (Джерemi, учитель, США).

«Русский язык — он как очень плохо отрегулированный радиоприёмник: полным-полно лишних шорохов, треска и скрипа» (Мария, переводчица, Франция).

«Для меня русский звучит точно как польский. Та же интонация, то же "женственное" произношение. В особенности по сравнению с чешским» (Якуб, финансовый аналитик, Чехия).

«Русский очень трудный. Самое трудное у вас в России — выучить склонения и спряжения. Здесь очень много исключений. Например, слово "рот". Язык "во рту", а не "в роту", тут исчезает гласная, это исключение, и иностранцу понять такое трудно. Ещё сложность вызывают ударения. Своим друзьям во Франции я едва мог объяснить, что это такое. Во французском ударение всегда ставится на последний слог, никто даже не задумывается над ним» (Квен, преподаватель французского в России, Франция).

«Русский язык — это вообще одна большая трудность. В 40 лет учить новый, ни на что не похожий, язык сложно втройне. Я до сих пор часто путаю буквы "Ц" и "Ч", "Ш" и "Щ", "Х" и "Ж"... и не понимаю, почему, например, слово "молоко" читается как "малако" и т. д.» (Филиппо, фотограф, Италия).

«Иногда русский язык для меня — сплошная пантомима. Раньше как было в Израиле: забыла слово на русском — заменяю на иврите, забуду на иврите — заменяю на русском. В России так не сделаешь — тебя попросту не поймут. Поэтому приходится прибегать к пантомиме, когда не можешь вспомнить нужное слово» (Линди, Израиль).

«О, русский язык... Как там правильно говорится? Великий и могучий! Я начала учить его пять лет назад. И до сих пор не могу сказать, что знаю на "отлично". Совершенный и несовершенный вид глаголов — как их использовать? Падежи — это просто ужас! Я, кроме родного финского, знаю ещё английский и шведский. Могу вам сказать, что они гораздо проще. Мы, финны, вообще очень медленные (смеётся). А русские говорят очень быстро, проглатывая слова, мне порой сложно их понять» (Мария, Финляндия).

«Русскую речь я впервые услышала по телевизору, она показалась мне очень приятной на слух, очень мелодичной. Во Франции русский язык встречается редко, поэтому я считаю его таким экзотичным, он ни на что не похож и вообще удивляет» (Элен, преподаватель французского в России, Франция).

«В русском языке много красивых слов — "мир", "его", "женщина", "Россия". Мне нравится, как они звучат, и их смысл тоже» (Марио, преподаватель испанского в России, Коста-Рика).

«Культуру и историю было невероятно интересно изучать, а освоение слов продвигается медленно. Каждый день я загружаю в свой телефон два-три новых слова и отрабатываю их» (Джеф Монсон, бывший гражданин США, а теперь гражданин России).

«...тяжело! Что это за совершенный и несовершенный вид? И глаголы движения! Ну сколько ж можно двигаться по-русски? А говорить по-русски я начала только после того, как переехала в Москву. Я абсолютно согласна с Тургеневым: русский язык — великий и могучий. Сложный, великолепный, эмоциональный — вспомните о приставках глаголов — и, кроме того, очень музыкальный» (Елена, Италия).

«Мне очень нравится, как на русском языке вы можете сказать: "Книга на столе", или "На столе книга", или "Книга лежит на столе", — это очень поэтично. У нас нет такой гибкости в английском. Также люблю особую мелодию окончаний, поэтому на русском такие хорошие стихи» (Сюзи, журналистка, Англия).

«Вначале было сложно, почти невозможно. Трудно было даже составить предложение, я не понимала, как слова взаимодействуют друг с другом. Самым сложным оказались глаголы, особенно глаголы движения и вид глаголов. И лексика — все слова звучали одинаково! Сейчас, спустя 7 лет, язык еще кажется сложным, но не невозможным. Ещё я считаю, что русский — очень мягкий, ласкательный» (Джулия, менеджер, Ирландия).

Ну, пожалуй достаточно, чтобы можно было сделать некоторые обобщения:

1. Русская речь на самом деле очень сложна для восприятия.
2. Жители разных стран совершенно по-разному воспринимают русскую речь.
3. Очень часто для иностранцев русский звучит жёстко.
4. Но в то же время для тех же иностранцев он звучит мягко и поэтично.
5. Русский язык невероятно сложен для изучения.
6. Для англоговорящих русский звучит, как речь задом наперёд.
7. Русский язык состоит из хаотичного набора разнообразных, ни на что не похожих звуков...

Не правда ли, всё встало на свои законные места? Или не встало? Лично у меня возникает ускользающее ощущение взятия вершины до самой глубины! Ну разве могут быть одновременно правы все — и Набоков, и Толстой, и Энгельс с Мериме, а главное, огромное количество простых людей?

Вот считаешь мнения о русском языке и так и хочется воскликнуть: ба, да ведь это про нас с вами! Сдаётся мне, после такого «единодушия» не стоит удивляться, что нас частенько называют сумасшедшими.

А ещё это про Россию, живущую русским языком и потому такую странную и непредсказуемую:

«Предсказать, как поведет себя Россия, — невозможно, это всегда загадка, больше того — головоломка, нет — тайна за семью печатями» (У.Черчилль).

В общем, похоже, нет дыма без огня. По всему выходит, что парадоксальность есть неотъемлемое свойство русской ментальности, формируемой непредсказуемым русским языком.

Судите сами: мы удивительно работоспособны и поразительно ленивы, мы скупы и расточительны, мы крайне неприхотливы до способности выжить в любых экстремальных условиях и одновременно обожаем комфорт, мы мужественны до героизма и часто крайне нерешительны, что легко спутать с трусостью, мы индивидуалисты и коллективисты, мы жестокие и милосердные, мы слабые и недостижимо мощные, мы консервативны и революционны, мы изобретательны и стереотипны, мы гениальны до идиотизма, мы, наконец, европейцы и азиаты одновременно.

И не надо говорить, что описанные свойства в той или иной степени присущи любым народам и этносам и что русские ничем не лучше и не хуже других. Собственно, речь вообще не идёт о том, кто лучше, а кто хуже. Мы просто другие. Мы живём в параллельном мире по отношению ко всем, и нас всегда и во все времена никто не мог понять, потому что мы до совершенства непредсказуемы!

Похоже, что всё достаточно просто: русский язык — как раз тот самый случай, когда бесконечное разнообразие мнений не вступает друг с другом ни в малейшее противоречие, а лишь подчёркивает загадочность и богатство поистине великого и могучего, как будто созданного Божьим промыслом.

Не материнским молоком,
Не разумом, не слухом,
Я вызван русским языком
Для встречи с Божьим духом.

Чтоб, выйдя из любых горнил
И не сгорев от жажды,
Я с Ним по-русски говорил,
Он захотел однажды.

(Фазиль Искандер, наполовину абхазец, наполовину иранец).

Артурас Рачас
(Литва, Висагинас)

Родился в Литве, в г. Паневежис. Выпускник Исторического факультета Вильнюсского университета. Работал репортёром, журналистом, главным редактором. В настоящий момент независимый журналист литовскоязычных и русскоязычных литовских СМИ.

Рассказ литовского журналиста-националиста

Я коренной литовец и уже более года работаю в самом «русском» городе Литвы Висагинасе. Не удивляюсь, если вы ничего не слышали об этом городе, так как он довольно редко попадает в прицел литовских СМИ, не говоря уже о международном внимании.

Но Висагинас всё таки не так себе город. Это единственный город в Литве, в котором литовцы составляет меньшинство (менее 20% населения), хотя Литва по своему этническому составу, наверное, одна из самых этнически унитарных государств в ЕС, так как литовцы здесь составляют около 82% всего населения.

Неординарный для Литовской Республики этнический состав города Висагинас напрямую связан с тем, что в то время, когда Литва ещё находилась в составе СССР, здесь была построена самая мощная в Советском Союзе атомная станция. Строили её в основном не литовцы, а специалисты, привезённые сюда со всех концов СССР.

В 1990 году Литва восстановила свою независимость, а в 2009 году Игналинская атомная станция, на которой были установлены такие же реакторы, как в Чернобыле, была остановлена, так как закрытие станции, которую ЕС считала небезопасной, было одним из условий для вступления Литвы в ЕС.

СССР не стало, станцию закрыли, но люди, привезённые в Литву её строить и в ней работать, остались. Со своими национальностями, своими убеждениями, своей культурой и своим понятием о жизни, которая в реальности кардинально изменилась. Такая вот вкратце история, определяющая сегодняшний облик бывшего «атомного города», его общества и его СМИ, о которых вообще-то и будет этот текст.

Сам я в СМИ работаю уже около 30 лет и за это время испробовал почти все их виды и все возможные профессии — от корреспондента до главного редактора и даже директора, — но Висагинас тем и уникален, что предложил мне то, чего я в жизни ещё не делал и, если по-честному, то, что я сам ещё несколько лет назад даже в самом страшном кошмаре бы не способен был придумать.

Я, коренной литовец, националист (почему-то многие сегодня боятся этого красивого слова) сегодня работаю редактором в русскоязычном СМИ и пишу на русском языке. Вы не подумайте, я не имею ничего против русского языка и довольно неплохо на нём всё ещё говорю, но перед приездом в Висагинас последний раз на клавиатуре с кириллицей стучал в начале 90-х, когда мне довелось работать в официальной делегации парламента Литвы по переговорам о выводе (уже) российских войск. Кстати, они были выведены раньше, чем из Германии, но это, конечно, не моя заслуга.

Но вернёмся к Висагинасу и его русскоязычным СМИ, которые, как и сам город, немножко выпадают из контекста всей Литвы.

Когда в июле 2017 года я приехал в Висагинас, моим первым ощущением о местных журналистах и местных СМИ было что-то между Кафкой, Оруэллом и началом Перестройки в СССР.

Свобода слова как бы есть, но где-то глубоко в голове сидит Большой Брат, который подсказывает, что свободно писать можно, но не всегда надо, и что самые лучшие темы — это скамейки, тротуары, деревья, фонтаны, концерты, кофейные аппараты в поликлинике, сломанный пирс на пляже, покос травы и тому подобное. То есть, про всё, что в сущности очень мало влияет на качество жизни жителей Висагинаса и — самое главное — никак не связано с деятельностью местной власти и чиновников.

СМИ часто называют сторожевой собакой. У меня же сложилось впечатление, что висагинские русскоязычные СМИ — это плюшевая панда, которая, как мы все знаем, не то что не может лаять, она даже урчать не способна.

Чтобы не быть голословным, приведу один пример. Спустя пару месяцев после моего приезда в Висагинас, местный член совета и, как его там называют, «доктор от Бога» Б.Лукошков, в середине дня в пьяном виде совершил аварию. Чтобы выяснить все обстоятельства, мне пришлось обратиться за помощью в Вильнюс, так как местные органы правоохраны тоже живут немножко по другим правилам, чем вся Литва. Но выяснил, получил стопроцентное подтверждение, а когда об этом написал, мои местные коллеги вытаращили глаза в недоумении: «Как же можно писать такие вещи про доктора от Бога, который ещё и член городского совета?! Мы об этом никогда не пишем».

На мой вопрос, а писали бы вы об этом, если доктор от Бога, пьяный, сбил бы вашего ребёнка, ответа не последовало, но для меня это было самым ярким примером «политики», если её так можно называть, местных СМИ. А она проста: мы не пишем негатив. В переводе на язык нормальных СМИ, это значит, что мы не занимаемся критикой.

В моём понимании, это не журналистика. Это жанр «что вижу, то пою». И только по дозволенному репертуару.

Такой «журналистике» есть объективные объяснения. Во-первых, Висагинас маленький город, в котором самым большим работодателем после закрытия атомной станции является самоуправление. Поэтому критиковать местную власть — значит рисковать своим благополучием и благополучием своих родственников.

Во-вторых, пусть простят меня висагинцы, Висагинас — это маленькое гетто русскоязычных людей в Литве, часть которых скорбят о СССР и не хотят признать, что этого государства уже нет. Они также не хотят интегрироваться в жизнь Литвы, хотя — парадокс — уезжать в Россию тоже не желают.

Мне очень запомнился эпизод из фильма про Висагинас «Город бабочка», где одна жительница «атомного города» рассказывает, как Европа и Литва не понимают Россию и русских, и при этом заявляет, что она не смотрит Литовское телевидение и не читает литовские СМИ. К сожалению, эта женщина — отнюдь не единичный случай, хотя и получает зарплату из бюджета Литвы и за эту зарплату учит детей русским песням и танцам.

Проблема Висагинаса и работающих в висагинских СМИ «журналистов» в том, что многие из них в своих головах всё ещё живут в СССР. Поэтому они и ведут себя, как вели себя журналисты в СССР. Они знали, о чём можно писать и о чём лучше не надо, они знали, кого и когда можно критиковать (ведь и в советские времена был киножурнал «Фитиль», в котором критиковать позволялось).

Поэтому в статьях «журналистов» русскоязычных СМИ Висагинаса мы всё ещё можем встретить такие выражения, как «поблагодарим», «поприветствуем», «пожелаем», «будем надеяться» и тому подобное потому, что в СССР «журналисты» тоже знали, кому кланяться и кого благодарить за светлое будущее, которое так и не пришло.

«Журналисты» русскоязычных СМИ в Висагинасе не видят проблемы в походе на концерт по бесплатному билету и потом в статье три раза благодарят организаторов этого концерта за прекрасное мероприятие. «Журналистки» тех же СМИ могут спокойно выкладывать в Фейсбуке свои фотографии, где они сидят на коленях местного политика, и потом брать у этого же политика интервью о том, какой он хороший и как много сделал для своего города. Ведь главное — это позитив.

Самое интересное для меня как журналиста (и — не буду скрывать, литовца и националиста, который любит все национальности, включая русских, но Литву больше всего) было наблюдать за реакцией висагинцев на настоящую журналистику, которую я пытался представлять в «атомном» городе. На ту, которая «сторожевая собака», а не плюшевая панда.

Оказалось, что висагинцам, большая часть которых живёт в ментальном гетто, сторожевые собаки не нужны.

Первая реакция на мои статьи о местных «бобрах» (так я называю политиков, которые впустую тратят деньги висагинских налогоплательщиков) была очень примитивной: Рачас «пришелец», «чужой», его «заказали». Всё, что он пишет — неправда.

Я уже говорил, что Висагинас — уникальный город, и в подтверждение тому могу сказать, что в Фейсбуке действуют как минимум семь групп, в которых общаются висагинцы. Одна из них — представьте себе — даже называется «Официальная группа города». Зачем я говорю о Фейсбук-группах? А потому, что в пяти из них, включая «официальную», меня официально блокировали, чтобы не размещал там «негативные» статьи. Администратор одной группы мне даже популярно объяснил, что в их группе о политике и власти не говорят, хотя «хорошие новости» от администрации самоуправления там льются потоком.

Висагинцы не хотят нормальных СМИ, а по своему опыту знаю, что СМИ — это всё-таки бизнес и, как и все другие виды предпринимательства, этот бизнес должен хоть отчасти отвечать спросу потребителей.

В висагинском «гетто» нет спроса на настоящие новости. Поэтому там не было и, наверное, ещё какое-то время не будет нормальных русскоязычных СМИ.

Но я оптимист и уверен, что так будет не вечно. Ведь Висагинас, несмотря на его этнический состав — это Литва, а в Литве есть спрос на настоящие новости. Я знаю, что он появится и в Висагинасе.



© Художник Елена Любович

О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ



© Художник Елена Любович

Лада Пузыревская (Россия, Новосибирск)

Родилась в Новосибирске, в семье поэтов – наверное, поэтому стихи писала всегда, но не всегда относилась к ним всерьёз. Автор трёх поэтических сборников. Лауреат Григорьевской (Санкт-Петербург, 2016 г.) и других премий. Стихи печатались в журналах «Сибирские огни», «Нева», «Дети Ра», «Эдита» (Германия), в «Литературной газете», «Петербургской газете», «Камертоне» (Иерусалим) и др., в бумажных и сетевых сборниках и альманахах. Большую часть жизни мечтала о море, хотела стать моряком или рыбаком, а получилось – часовщиком. В 1995 г. Закончила Новосибирскую Академию управления и экономики. Попутно со стихами и дайвингом занималась управлением производством. Долго жила в Санкт-Петербурге, но вернулась в Сибирь, потому что мороз отрезвляет.

Там, где нас нет

* * *

там, где нас нет, и не было, наверно,
где даже сны — пиратский фотошоп,
и воет ветер в брошенных тавернах —
там хорошо.

где нас уже не будет — там, где мы
в нелепых позах,
не лишённых шарма,
взлетали с арендованной кормы,
карманную прикармливая карму.
и уплывали в ночь неправым галсом,
где рыбы мрут от съеденных монет —
о, как же ты блистательно ругался,
что счастья нет.

верстая стих запальчиво запойный,
смерть прогибалась радугой-дугой —
ты про меня, пожалуйста, запомни
другой, другой.
на расстояньи наши взгляды вровень.
так хорошо, что дальше — не сослать,
а то, что мы одной бродячей крови —
так не со зла.

мело во все пределы по полгода,
бросались тени замертво на снег —
ты глянь, какая выдалась погода
там, где нас нет.

Приснился мне город

Здесь всё не случайно и всё — уже,
здесь музыка сбилась на вираже,
чем крепче и слаще яды, тем сны нежней —
для каждого спящего свой Коринф,
истоптанный берег невольных рифм,
поверишь к утру — не тлеем ещё, горим.

Но тень, как ни гни, попадает в кадр,
подстрочник молитвы дождю не в такт,
и снится привыкшим падать лицом в закат
блистательный город чужих костров,
где всякий нальёт нам за пару строк,
да будь он хотя бы пьян и не слишком строг.

Все птицы вернулись, куда ж ясней,
не каждый аккорд приведёт к весне,
и ты ни в одно из окон не выйдешь с ней —
чем сны беспробудней, тем слаще яд,
смотри, не сотри между делом взгляд,
который не снится пятую жизнь подряд.

Враз гончие псы сорвались с цепей,
не хочешь проснуться — тогда не пей
попынну смесь ветров из чужих степей,
шаги не считай по чужим псалмам,
в потёмках чужих за углом — тюрьма,
здесь под руки много смелых свели с ума.

Где замок посажен — взойдёт острог,
хоть как поливай, но всему свой срок,
знать, нужен садовник саду, а не пророк —
пусть кто-то пасует звезду, как мяч,
но ветер под вечер, и плачь, не плачь —
здесь слово на вырост, каждому свой палач.

Все птицы вернулись — чего хотеть,
глазами, пристрастными к темноте,
сличаешь по форме крыльев, не те, не те,
но ловишь на взлёте звенящий звук —
бликуй, не рискуй выпускать из рук —
который не снится пятую жизнь, а вдруг.

ниоткуда никто умирать не пришёл
на Васильевский остров.

Не волей небес

Я был послан через плечо
граду, миру, кому ещё?
Денис Новиков

Пусть шаткие крыши уносятся влёт,
и снег на лету превращается в лёд,
крепчает слезящийся панцирь —
умри на задворках свинцовых кулис,
но выучи роль, а не вышло — молись,
дыши на застывшие пальцы.

Подмётная повесть солёной слюды
стирает незваных прохожих следы,
и прячется смерть в занавески,
и город дрейфует, циклоном несом,
и повод проснуться весне в унисон
совсем невесомый. Не веский.

Не волей небес, отходящих ко сну,
вольётся в казнённого ветра казну
туман, умножающий скорби —
гляди, сколько песен чужих намело,
любое крещендо сойдёт на минор,
всплывая под «urbi et orbi».

И сердце не камень, и что ни долдонь,
но лишь разожмёшь Бога ради ладонь,
и — атеп, до слёз изувечь, но
ни голос на бис не взлетит, кистепёр,
подснежного свиста неверный тапёр,
ни эхо. И эхо — не вечно.

А лёд полыхнёт — да хоть как нареки,
но вплавь здесь всегда середина реки,
и с берегом берег не вместе,
барокко по-барски заносчивых льдов,
твой город, который не помнит следов —
не стоит. Ни мессы, ни мести.

Брату

Мы вышли из города, полного смутной печали
и ясных надежд,
застревающих в божьем горниле,
но мы говорили слова и за них отвечали,
и ветер, качающий землю, с ладоней кормили.

На стыке веков солнце вечно стояло в зените,
дымящийся купол полжизни держать тяжелее.
А помнишь, как верили — хоть на бегу осените,
и счастливы станем, совсем ни о чём не жалея.

Но ангел-хранитель то занят, то выше таксует,
а наших, как жемчуг, таскает небесный ныряльщик.
Привычка грешить так всерьёз, а молиться так всеу
любую судьбу превращает в пустой чёрный ящик.

Не плачь же со мною про эту безхозную пустошь,
где редкая радость букет из подножных колючек.
Мы пленные дети — случайно на волю отпустишь,
бесстрашно теряем от города новенький ключик.

Снег без причины

вальсирующий февраль блистательно-неучтив
и... раз-два-три —
ты всерьёз, что снегу нужна — причина?..
которую ночь мистраль в скрипичный речитатив
сливает дорожных слёз просроченный капучино
беснуется завирально в такт, но весна — почти

летейские льды в разлив уже подались — финал
подспудного па планет, пускающих в небо корни,
а ты говоришь — выросли, а ты говоришь — вина
и-раз-два-три —

нас здесь нет нежнее и непокорней
февраль, как его ни зли, всех помнит по именам

из полымя да в огонь закружит «padam... padam»
на белый билет в метель до талого — стопори же
не пойманных нот вагон в горяющий Notre Dame
не то — потеряться в Тель-Авиве, не то в Париже
устав от шальных погонь по сбившимся проводам

по белому норовишь взметнуться — снега, снега
по спинам хрипящих лет скользнувшая мостовая
мой сумрачный нувориш, куда нам теперь в бега
и... раз-два-три —

в ночь балет закончится, застывая
а ты говоришь — Париж, а ты говоришь — Дега

Никто никогда

1.

Битый час, как зачахшею розой ветров
бредят гончие в кольцах Сатурна,
мы с тобой остаёмся в ослепшем метро,
беспризорники мы, десантура.

Сквозь краплёное эхо никак напролом,
но залётная, будь ты неладна,
бледнолицая полночь встаёт на крыло,
намотала нам впрок Ариадна.

Вьются блики заманчивых гиперборей
в запылённых витринах Пассажа —
молча сдайся на милость и переболей,
на реликтовый сумрак подсажен.

Не блажи, не пойдут блиндажи на дрова,
крепче крепа созвездий короста,
и всего ничего — лишь конверт надорвать
и прощай, разлинованный остров.

Вместе скинемся — станет нам архипелаг,
и Мальдивы считай, и Спорады,
поднимая на флаг запыленный good luck,
восставая чуть свет из парадной.

Где выходишь в народ, понемногу живой,
завещая другим — да авось им
будет проще тащить свой ковчег гужевой
вещих песен, прописанных в осень.

2.

Хоть какую судьбину с весны замастырь —
к ноябрю, всё едино — сплывёт за мосты,
где в законе сквозняк ледовитый

беззастенчиво крошит асфальт и гранит,
мой хороший, хоть тысячу слов оброни —
пропадут ни за грош. Не дави ты

не согласные буквы — хоть чем их секи,
только нам не с руки забивать в косяки
безударные сны на панно там,

где кислотный залив, сам себе падишах,
бронзовеет бесстыдно в чужих падежах
помертвевшей воды, как по нотам.

Всё едино — небесный смотрящий де Сад
нас на пару отправит в последний десант —
сколько можно сидеть взаперти, но

позывной твой, запальчиво отшелестев,
не взметнётся искрою на жёлтом листе —
сорван голос. Не плачь, Робертино.

По охрипшим звонкам двери не нумеруй,
пусть последнее дело краснеть на миру,
пусть настырно теряю ключи я,

пусть не ссудят тепла ни Сенат, ни Синод
но последняя страсть не сорвавшихся нот —
колыбельная. Santa Lucia.

3.
Засыпай же. Большой засыпает проспект
белым шумом почти тополиным —
ни закат не распят, ни рассвет не распет,
но не время читать тропари нам.

Пусть вовеки серебряных век не поднять,
не вписавшись в чужие полотна,
но бывало, по-братски подбросишь огня —
и вскипит под асфальтом болото.

Здесь фехтуют с тенями вслепую, сиречь
в пику всем словарям и канонам
вольно льётся под камень невольная речь,
только нам не дано. Не дано нам.

Город гулких чернильниц и метких тавро,
пядь за пядю по памяти сдан ты,
тонет ветреный шёпот в колодцах дворов,
то не дремлют стихи-секунданты.

Рифму на посошок не сотрёшь в порошок,
льнут к колоннам покладисто ростры —
Никогда?.. Никогда. Хорошо?.. Хорошо.
Вряд ли в сумерках дело — да просто

ниоткуда никто умирать не пришёл
на Васильевский остров.

Веллокаменное

Раскалён добела третий лишний по цельсию Рим,
кто горит у парадного, кто — возле чёрного входа,
до ожоговых снов не впустивших нас благодарим,
и при чём тут погода?..

Перекатная боль неприкаянных улиц и лиц
в безутешной надежде звенит до утра медяками,
если ты отразишься хотя бы в витринах, Улисс —
первым брось в меня камень.

Не добросишь — не плачь, не такие промазали, но
непутёвые хроники павших до бури в пустыне
не прочтут погорельцы, чьё стрельбище разорено —
пусть сначала остынет.

Тут попробуй не пить на разлив, несмотря на жару,
и не жить на развес — до зимы бесконвойные судьи
соберут нас в тома, безучастно содрав кожуру
перегревшейся сути.

Безымянные искры прицельно витают в ночи —
от щедрот их горстями сметают с небесных столешниц,
слишком много пожарных, да только кричи, не кричи —
ни воды нет, ни лестниц.

* bell (англ.) — звонок

Не сегодня

словно нитку в иголку вдену —
слово за слово — посуровой.
бой без правил, стишок не в тему,
мы рифмуем до первой крови.

что за город — бетон и пластик,
голоса из-под грузных арок —
грохнуть эхо не в нашей власти,
так прими его как подарок.

да какая там меркантильность —
ни огня, ни крестов нательных.
кто за тридевять укатил нас
безымянных, смешных, отдельных.

мы не здешние, не готовы —
вечер чёрен, рассвет муаров.
люди добрые — что вы, кто вы?
ветром сброшены с тротуаров

между прачечных и котельных,
храмом, оперой и мусарней
мы опознаны здесь как тень их,
с каждым выдохом лучезарней

улыбаемся всем и машем —
беспризорная срань господня.
этот город не будет нашим,
не сегодня так не сегодня.

Танцы на плацу

I.

Поправив звёзды, рухнувшие ниц,
раскинув над вселенной руки-реки,
Бог растерялся — странные калеки
украдкой смотрят в небо из бойниц
закрытых окон. Страшно, человеки?..

На славу, видно, роковых яиц
восстав из пепла, Феникс снёс. Вовеки
не угадать, кто нищий тут, кто — принц.
Все преуспели в танцах на плацу —
нет слуха, но хотя бы — чувство ритма.

И пусть разит торговлей их молитва,
пусть им везёт, как в карты — подлецу,
всё — до поры... По воинам — и битва.
Всё — до поры... Но каково — Творцу?..

II.

Достанет Бог надежды из петлиц —
«Я их дарил на память разве?.. Но
в любой цепи есть слабое звено —
и это — ты... Подобных мастериц
в искусстве нарушения границ
я не встречал уже давным-давно».

Полусухая полночь, как вино,
затопит мой родной Аустерлиц —
холодный город вечных сквозняков,
где русские дороги — смерть подвеске,
где вечны на заборах, словно фрески,
послания потомкам — дураков —
о том, что мир, подвешенный на леске,
войны не лучше — без обиняков.

III.

И усмехнётся, не смывая грима,
но временно сменив репертуар,
из подворотни беженец — Икар:
«Да не умрёшь ты, не увидев Рима
и Город на воде — туда, вестимо,
ведёт и этот грязный тротуар,
и все пути-дороги, но в разгар
сезона не ходи — неумолимо

проступит из воды Армагеддон
сквозь мусор переполненных каналов,
Рим сам своих не вспомнит идеалов,
а колокол Сан-Марко сменит тон
с молитвы — на набат... И Рима — мало.
Рим Риму рознь, как песне — обертон...

Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон — осьминог.
Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца.
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок...

Иосиф Бродский

IV.
Венеция... Сон, набранный курсивом — затем,
чтобы запомниться, наверно.
И жизнь, и смерть до жути соразмерны,
застыли в реверансе терпеливом,
и мир глядит на танец суеверно
в безумии своём благочестивом...

Течёт вода скупым речитативом
туда, где автор «Нового Жюль Верна»
всё так же ищет капитана Немо...
Или — не ищет?.. Нас у Бога много,
потерянных впотьмах у осьминога,

А по воде протоптана дорога
на остров мёртвых, там Иосиф... Где — мы?..
Никто не ищет нас. Все ищут Бога.

V.
А под водой идёт на дно незримо
блистательная вечности тоска —
так смутное предчувствие виска
становится подчас неумолимо.

Не оглянувшись, проплывают мимо
открытых окон рыбы-облака — туда,
где сны сбываются пока —
к рассвету, где пока мы исцелимы.

И Лета тоже, стало быть, река,
раз дважды не... А что здесь не случайно?..
Наш выбор между вискасом и кофе?..
Асфальт сродни истоптанной Голгофе,
когда смотреть на нас издалека
и исподлобья... Остальное — тайна.

Часовщик

Сергею Малофееву

1.
Здесь Сибирь и холодно, не до жиру,
и какой там компас — хотя бы карту
вечно безбилетному пассажиру —
проводник недобрый,
вагон плацкартный,
и пурга метёт чисто в стиле ретро,
и зиндан мерещится в каждой яме.
Лечит только времени ход дискретный
в городе твоём, где зима — с дождями,
в праздник новогодний — чудес кварталы,
вечер отгорожен сплошной двойною
от путей железных, и ветер — талый,
и звезда звезде не грозит войною.

2.
Здесь теней моих ледяной гербарий,
из альбомов улиц глядящих жадно —
разве вспомнишь, как они погибали
или жили-маялись в рамках жанра.

Я и рада бы им судьбу иную
подарить, заложникам знаков ложных,
но ведь всех нас тоже поименуют —
пусть чуть позже —
в сумраках каталожных.
А сама-то?.. Чем бы ни вышивала,
кем бы ни прикрылась — кровит заплата.

Спросишь — не отвечу, как выживала
на просторах мёртвого циферблата.

3.
Ну, а если спросишь, а был ли город —
что ответить?..
Что, обойдя полмира,
ощущаю всех своих родин голод,
хоть и снится северная пальмира
или что из, южным крестом горящих,
на разрыв исполненных, снов-стаккато.

Обнимаю чёрный пандорин ящик,
а вокруг — бескровные эстакады,
стынет снег, и только
следы, как ранки,
в город, не приученный к укоризне.

И дрожит рука, поправляя анкер,
в часовом заклинивший механизме.

ТИК-ТАК

видишь, город наш огорожен
по периметру вечным льдом,
говори со мной о хорошем,
раз даются теперь с трудом

сны, зависшие на треноге —
не томи, нажимай на спуск.
пусть не дороги нам дороги,
дураков не засветишь. пусть

ноша тянет и не легка мне,
но богата — глаза не три —
я за пазухой камнем-камнем
с чем-то тикающим внутри.

вот повяжут нас, как воришек,
и не скажешь — продешевил.
говори со мной, говори же:
не про этих, про тех живи —

что колдобины кроют матом,
а потом за рулём уснут,
захлебнувшись этим мартом
не хватило пяти минут.

пусть не правы ни те, ни эти —
не последний, поди, диктант.
но выходят на площадь дети.
и срабатывает: тик-так.

Этот город мне нужен

На каком-то этапе сольются и шёпот, и крик
в безупречное эхо, потянет из прошлого гарью,
и никто не ответит — за что и на что нам подарен
обесточенный город, где даже рассвет не искрит —
дело к осени, darling.

Дело снова к дождям, научившим нас страх кабалы
сонно путать с прогнозом погоды, и истово мёрзнуть,
не оставив следов, уходить в гуттаперчевый воздух,
что беда, что вода, да по-прежнему жмут кандалы —
заменить бы, да поздно.

Прорастая Сибирью, сбиваясь с разменных «увы»,
постояльцы кедровых закатов, привычные к кляпу
нарицательных истин — вы поздно снимаете шляпу
перед звонким безмолвием, раз не сносить головы,
раз пошли — по этапу.

На какой — посошок?.. Наугад бы разбавить вино —
не живой ключевой, а обычной водой из-под крана,
вряд ли это побег — из себя, по-московскому — рано,
по-сибирскому — самое то... Слышишь, вызови, но —
не такси, а охрану.

Что бы там ни версталось впотьмах, а не спят сторожа,
стерегут, опрометчивых, нас — и от взмахов напрасных,
и от звона кандалного — видишь колонну на Красном?..
до последнего за руки держат, а руки дрожат —
здравствуй, город мой, здравствуй.

Там — не верят слезам, здесь чужим не прощают обид,
Старый мост от влетевших по встрече всё уже и уже,
приасфальтовый ветер с сомнением смотрится в лужи,
но залётные сны быстротечны — как солнце в Оби...
Этот город мне нужен.

Что ты знаешь

Что ты знаешь о жизни заснеженных тех городов,
где секундная стрелка годами стоит, как влитая,
и короткая память не стоит напрасных трудов,
и хрипят самолёты, с саднящего поля взлетая.

У остывшей земли на краю без причины не стой —
прибирает зима в ледовитом своем фетишизме
выживающих чудом в местах отдаленных
не столь.

Что ты знаешь о жизни?..

Родом из отмороженных окон — куда нам таким?..
И тебе не понять,
постояльцу нарядных бульваров,
отчего так бледны одолевшие брод седоки
и не смотрят в глаза, отпуская своих боливаров.

Что ты знаешь о жизни, немногим длиннее стишка,
где случайным словам
в изувеченном ветром конверте
до последнего верят и крестятся исподтишка —
что ты знаешь о смерти

искромётных свечей, позабытых у пыльных икон,
где Господь раздаёт векселя в неизвестной валюте
и всё так же один — налегке по реке босиком
отправляется в люди.



© Художник Елена Любovich

Сергей Шиянов
(Россия, Екатеринбург)

Шиянов Сергей Петрович. Родился на Урале в 1964 г. Окончил школу в Северном Казахстане. Получил высшее образование в Челябинском университете. Работал на Сахалине, в Сибири, на Урале, в Казахстане. В данный момент работаю в государственном учреждении.

Мячик

Утром он опять ждал, когда хозяин выйдет из избушки, и он сможет к нему подбежать, лизнуть ладонь, подставить морду, дать себя погладить и потрепать за ушами. Хозяин вышел еще затемно. Он дождался своей скупой порции ласки и внимания. Ухо болело, и он взвизгнул от боли, но не убрал голову, не хотел, терпел, ласка была нужнее и заглушала боль. Он любил своего хозяина и был верен ему. Верен настолько, что готов был терпеть все побои и покусы, которые каждый день получал от Серого.

Серый сидел на привязи. Он был крупнее Мячика, старше него и намного сильнее. Но самое главное — Серый был очень злой и терпеть не мог других собак. Нет, он не ревновал Мячика к хозяину и легко переносил то, что Мячик быстрее ищет добычу и лучше разбирается в следах и прочих хитростях зверей и птиц, на которых охотился хозяин. Он просто люто ненавидел всех собак, которые находились рядом с ним, в особенности кобелей. И, если сукам попадало около еды, вещей или добычи, то кобелей он старался уничтожить везде и всегда. Он так жил. Давно. А Мячик был кобель.

Вечером хозяин надевал на Серого ошейник, боясь, что Серый может погрызть ночью случайного охотника, и тот до утра был на привязи у своей конуры, которую хозяин ему давно смастерил на своей таёжной избушке. У Мячика наступала передышка. Он моглизать раны, которые получал днём от Серого, и спокойно отлежаться. Мог спокойно съесть заслуженную порцию мяса или каши из своей чашки. Иначе бы Серый не дал ему подойти к еде. Он съедал сначала порцию Мячика и лишь потом свою, а когда Мячик попытался защищать еду, давно уже (тогда он был молодым и считал, что всегда нужно отстаивать свои права и бороться за свою пищу), то Серый его жестоко изгрыз и, схватив за глотку, начал душить, пока Мячик не захрипел и хозяин пинками не отогнал Серого. Хозяин считал, что в стае должен быть один лидер — он. Потом Серый. Когда это все поймут, наступит иерархия, и в стае сам собой наведётся порядок. Всё встанет на свои места, и Серый, подчинив Мячика, перестанет его бить. Но Серый бил. Всегда. Каждый день. С одинаковой жестокостью. Он ненавидел Мячика, хотя Мячик ему во всём подчинялся. Он даже ел в сторонке, вежливо и не спеша, не жадно (хотя иногда очень хотелось есть), показывая Серому, что в любой момент готов отдать ему свою пищу. И отдавал.

Когда Мячик, распутывая соболиные следы, находил зверька, он начинал злобно и азартно его облаивать. Так делают все лайки, когда находят добычу,

и он делал так же, пока не подбегал Серый. Потом отбегал в сторону и от туда повизгивал, не выпуская зверька из виду, наблюдал, как хозяин в него стрелял или выгонял из колодины, а Серый его подавал хозяину. Если соболю удавалось перескочить на другое дерево или прорваться на свободу из колодины или каменных россыпей, Мячик его преследовал и легко находил, загнав в новую засаду. Врождённый инстинкт охотничьей собаки побеждал страх быть избитым и покусанным Серым. Ему очень хотелось самому поймать зверька и придушить его, он знал, как это делать, хотелось самому отдать хозяину, самому получить заработанную похвалу. Но было нельзя. Раньше он пытался так поступать и был покусан Серым. Он скулил и бросал зверька, отбегал, тряс покусанной головой или поджимая побитые лапы. Однажды Мячик схватил ещё живого соболя, когда Серый был совсем рядом. Соболю вцепился Мячику в мочку носа, так бывает иногда, а Мячик продолжал сжимать клыки и задушил бы зверька, но Серый сбил Мячика в ручей и принялся его кусать и трепать. Инстинкт подсказывал, что нельзя отпускать соболя, и Мячик продолжал его держать и держать. Он ждал, а Серый тем временем душил его. Когда подросел хозяин и отобрал сначала соболя, а потом отогнал пинками Серого, Мячик лежал в ручье и у него не было сил даже подняться. В тот день Мячик больше не охотился. Вот тогда он и научился бросать добычу и убегать, когда приближался Серый. Он бросал и отбегал, садился и смотрел на хозяина, ждал, может быть, подзовёт, может быть, отгонит его мучителя. Но хозяин так не делал: или не хотел, или считал лишними эти условности, или было просто некогда. Ведь охотничий день зимой так короток, не до ласк. И Мячик понимал. Убегал в поиск и начинал работать с новой силой. Он же не просто так носил свое имя, весёлый и быстрый, умный и добрый, он почти никогда не уставал в тайге. Она была ему знакома и была его домом. Здесь он никого не боялся. Когда медведь выскочил из берлоги и Серый, не успев увернуться, попал ему в лапы, Мячик вцепился косолапому в ляжку и так рванул, что тот заревел, и Серый успел выбраться из его когтей. А потом они устроили медведю такой хоровод, что хозяин легко смог с ним расправиться. После этого Мячик подумал, что теперь они с Серым станут друзьями, но нет. Серый продолжал его драть. Мячик не боялся медведя и росомahi, не боялся рыси и барсука, он боялся только Серого, своего жестокого мучителя.

Лучшие часы жизни у Мячика были ночью и тогда, когда он вставал на след крупного и опасного зверя. Тогда они с Серым его преследовали, и Мячик был счастлив. Они работали вместе. Он умело и быстро помогал злобному Серому поставить марала на отстой, а потом звонко подзывал хозяина, давая ему понять, где зверь. Ведь хриплоголового Серого было плохо слышно. Серый держал зверя, а Мячик сообщал тайге и хозяину об очередной удаче. Потом снова наступал ад. Мячику не доставалось мяса, пока Серый не ложился, наевшись до отвала. Потом Мячик украдкой подбирал брошенные кусочки, озираясь и не упуская из виду Серого. Мало ли? А так хотелось потрепать добычу и подрать из нее шерсть. Ведь это была и его добыча. Но ему этого делать было нельзя. Можно было, но только тогда, когда зверь за-

щищался и был ещё опасен. А потом уже нельзя. Потом Серый становился хозяином добычи, он был сильнее.

Однажды, когда их привезли на поводках, Мячик увидел большую чёрную с жёлтыми пятнами над глазами и груди собаку. Она была такой же большой, как Серый, и уже взрослой. Они долго преследовали раненого медведя и втроём удерживали его в горельнике, пока не подросли охотники. Когда зверь был добыт и Серый попытался установить власть над добычей, у него не вышло. Большой чёрный кобель не подчинился, и они сцепились. Инстинкт подсказал Мячику, что нужно помогать Серому, они же были из одной стаи, и Мячик напал на чужака. Неизвестно, чем бы всё закончилось тогда, если бы хозяин пинком не откинул Мячика. А потом они разняли собак и остановили драку, в которой Серому было не устоять. Мячика тогда не похвалили. А Серый стал ещё злее.

День шёл за днём, снега становилось всё больше и больше, а Мячику становилось всё труднее и труднее. Он был вынужден убежать с натоптанной тропы, чтобы Серый не схватил его за покусанные уши. Они болели. Прорываясь по колючим кустарникам и выслеживая добычу, он не давал им зажить, раздирая их вновь. Снова и снова. Они болели. На привале, когда хозяин обтапывал снег и садился отдыхать, Серый ложился рядом. Мячик уходил в глубокий снег и долго кружился на одном месте. Потом ложился и отдыхал, выдирая из подушек лап набившийся и смерзшийся в ледышки снег. Лапы начинали болеть. Ему было нельзя подходить. Чем больше становилось снега, тем сильнее уставал Мячик. Он был меньше Серого, и ему было труднее преодолевать глубокий снег, который едва не доходил ему до груди. Не всегда удавалось убежать от Серого. А страсть заставляла его искать. Врождённый инстинкт, доставшийся от родителей, вёл его в поиск, потом по следу за новой добычей. И так каждый день. Инстинкт заставлял не упускать зверька, но в глубоком снегу Мячик стал чаще попадаться Серому в лапы.

Вечером Мячиклизывал новые раны и давал отдохнуть старым. Ему снился двор, в котором он рос, и тёплое логово, где он родился. Снилось ещё совсем недалекое щенячье детство. Снилось, что он спит и во сне вздрагивает, а дочка хозяина берет его на руки и гладит. Ему нравилось это, и он, сонный, лизнув её в нос, снова засыпал. А ещё ему снилось, что хозяин отдал ненавистного Серого, а себе взял того, чёрного с жёлтыми пятнами над глазами и жёлтыми подпалинами на груди, пса. Ведь он его не драл тогда, когда они вместе добыли медведя. Серого посадили на привязь, и они остались вдвоём. Вместе ели мясо, а ночью спали рядом, согревая друг друга спинами под еловыми лапами. Они почти подружились и могли бы вместе охотиться. Мячик хотел такого друга. Он во сне улыбался, собаки умеют улыбаться во сне.

Утром хозяин вышел ещё затемно, но его не встретила собака. Не побежала и не лизнула руку. Не положила лапы на пояс и не заглянула преданно в глаза в ожидании ласки. Не позвала на охоту, не требуя ничего взамен. Может быть, только чуточку похвалы и благодарности, самую малость.

Следы Мячика видели на дороге, которая вела в посёлок, но в посёлок он не пришел. Думаю, что подобрал кто-то.

Владимир Ступинский (Беларусь, Гомель)

Родился в Гомеле почти полвека назад. Здесь и живу, люблю, работаю (пожалуй, именно в таком порядке). Полученное техническое образование не помешало направить впоследствии жизнь совсем по другому руслу, однако помогает до сих пор упорядочивать многие вещи в дизайне, журналистике, фотографии. Служу в театре, автор нескольких пьес, поставленных в Запорожье, Баку, Гомеле и в других городах — в Украине и России. В литературных конкурсах особо не участвую, однако дважды — в 2016 и 2017 годах — умудрился попасть в лонг-лист Кубка мира по русской поэзии. Публиковался в коллективных поэтических сборниках, автор книг стихотворений «Странной музыки следы» (Гомель, 1996) и «Городское время» (Москва, 2003).

Небесная глина

Скандинавская защита

Начнём, помолясь. Итак, e2 — e4.
Замерли стрелки в испуге — удар по кнопке.
...Стоит человек одинокий в огромном мире
На площади, у автобусной остановки.

Открыт горизонт, и пока ясна перспектива —
Восьмая линия обещает блаженство,
Силы и власть. Но кусочку небесной глины
Не даровано знака, ни Слова, ни жеста —

Лишь надежда. Да и та... прозрачней — не дыма —
Дымки утренней над городом спящим.
Вот-вот, и по флангам коллеги прошествуют мимо —
Первый, как правило, первым играет в ящик.

Скоро, ах, скоро, соперники тронут робко
Другие фигуры. В войне, поди, уцелей-ка!
...Стоит одинокий некто на площади.
Кнопка.
D7 на d5. Дернулась тонкая стрелка.

* * *

Третий день идёт дождь. Целую жизнь.
И почти что вечность.
Непрерывность дождя доказывает конечность
И —
как следствие из теоремы —
законченность
Сущего, а также потустороннего...
Закопчённость
Недобитых рифм, поистёртых образов
Подтверждает всё сказанное странным образом...
Тепло. Догорает свеча (нет электричества),
Я чувствую, как добровольно обращаюсь в язычество,
А может, это язычество обращается ко мне...
Ночь рисует на осыпающейся стене
Фрагменты снов Босха и Брейгеля,
Сны получают какими-то пегими
И расплывчатыми.
По прошествии стольких лет
Эти контуры напоминают использованный билет
«Для проезда только в одном направлении»
С заглаженными дырочками компостера...
Осенние
Листья падают с веток июля
(Слышно сквозь дождь).
Верхом на стуле
Просыпаюсь опять. Целую вечность,
Целую жизнь один.
И беспечность,
С которой я всё это осознаю,
Позволяет уже три дня дождю
Стучать по крыше старого дома,
Диктуя забытые теоремы и аксиомы.

* * *

л.

Почти парижская зима,
Вот только ветер.
А мы с тобой сошли с ума —
Седые дети.

И мы срываемся на бег,
Так непривычно:

Кофейня, где Тулуз-Лотрек
С хмельной певичкой.

Кружит под фонарями снег,
Легко и грустно.
И мы срываемся на бег
Под снегом Пруста.

Фантазия со снегом и трамваем

Луна глазела, белая и злая,
 В полночное окно. И падал снег.
 На улице высокий человек
 В предчувствии последнего трамвая
 Докуривал коробку папирос
 И улыбался карими глазами...
 А мы в окно смотрели, нарезая
 Вчерашний день на тысячи полос —
 И этот невесомый серпантин
 Ложился человеку на ушанку,
 Струился по плечам... Тебе не жалко? —
 Шептала ты, — похоже, он один
 На целом свете. А его трамвай
 Ползёт в депо окольными путями.
 Ах, этой полуночной мелодраме
 Не достаёт нюансов. Так, давай
 Разбавим белизну...
 И сквозь молчанье
 Прорвались перестук и тихий звон,
 А вслед за ними заискрил вагон,
 И незнакомец наш полуслучайный

 Исчез внутри.

Ворон Макаров

На снегу меняется походка —	Полночь. Спят усталые игрушки...
Воспарил от стылых тротуаров	Я не твой пока ещё, Макаров.
Плавный, как шпионская подлодка,	
Ворон по фамилии Макаров.	Шаг мой твёрд, уста мои суровы,
	Не пугает шабаш Клар и Карлов,
Режет струи острыми крылами,	Если полусгнившие основы
Сверху нам грозя небесной карой,	Поднебесной держит В. Макаров.
Флаг пиратский,	
анархистов знамя —	Серебрясь в луне декабрьским снегом,
Ворон по фамилии Макаров.	С правильной, здоровой,
	звонкой кармой,
Поспешим, дружище, из пивнушки:	Всё кружит над суррогатным веком
Детки ждут родительских подарков.	Ворон по фамилии Макаров.

* * *

тоска тоска и лист печальный
плывёт над мглой первоначальной
и мокнет шлак
дожди дома чужие лица
червяк в малиннике плодится
и жизнь прошла

В. Певзнер. «Дачный вальс»

Жизнь становится прозрачней, Словно роща в ноябре. Примешь позу поизящней — Глеет шляпа на воре. И плевать, что воровал-то У себя у одного... Светится закатной смальтой В сад раскрытое окно. В виноградном заоконье Жизнь трагично далека.	Нас, небесной глины комья, Держит божия рука, То прилепит, то разрежет, Бросит на гончарный круг, То загонит в сердце стержень Неминуемых разлук. И становится прозрачной Жизнь, как роща в феврале. Вальс транслируют чер-дачный, И черешня на столе...
---	---

* * *

Черти, черти таинственные знаки
На школьной разлинованной бумаге,
Когда из мрака щерится Судьба —
Не просто там какая-то богиня,
Что ночью полусонной, полужимней
Случайно обнаружила тебя

В секретном схроне от людских ухмылок
(Аквариум, но без воды и рыбок,
Вполне приличны сервис и метраж).
Жестокая усмешка мрачной гостьи
Разделит на мгновенье плоть и кости —
Забытый декадентский антураж.

Ты абсолютно наг под абажуром,
В мерцаньи тусклой лампочки дежурном
Аквариум напоминает морг:
Вокруг непогребённые надежды
И строки нерождённые, а между —
Узлы звонков, конвертов и дорог.

Но незаметно ночь вырастает в утро.
Звонком будильник превращает в брутто
Бессонных откровений чистый вес...
И, натянув свежайшую рубаху,
Зенонову догонит черепаху
Спортсмен и неудачник Ахиллес.

* * *

Что ж, давай согласимся, все кошки серы
В пыльных сумерках. По канве атмосферы
Вышивает местного эйфеля шпиль.
Это странный город, где запах серы
Ощутимей у входа в центральный храм.
(Полагаю, сей взгляд — изначально скверный,
Ибо город все также заведомо мил.)
Впрочем, это вопросы рифмы и меры,
И изменчивой розы ветров по утрам.

* * *

Я — мальчик, что, расставив руки-крылья,
Себя поочерёдно представляет
То лётчиком, то вовсе самолётом,
Пикирующим в городской фонтан.

У радуги сидят отец и мама.
Мать с Тютчевым, а папа — с неизменной
Газетой «Правда»... Оба в чём-то летнем
И легкомысленном. И живы. Влюблены.

А я, раскинув маленькие крылья,
Распугиваю голубей... Но капель,
Завесою парящих в летнем зное,
Не чувствую в своём счастливом сне.

Атака на Дублин

Камикадзе пикируют строем на город вечерний,
Мерцающий электрическим янтарём.
Атака бесхитростна, но технична, как этюды Черни,
Как набросок черепа на крафте углём.

Атака беззвучна. Иероглифов миллионы,
Небесную вату прорвав, валятся вниз.
На прохожих, бродячих собак, на коляски, вагоны.
Город зябнет, укутываясь во fleese.

За секунду до небытия, за мгновенье до смерти —
Картинка замирает. Дальнейшее — как во сне.
Чёрно-белое фото лежит в пожелтевшем конверте.
Дублин. Поздний ноябрь. Падает мокрый снег.

* * *

Нам осень готовит дары —
По вере, по мере, по силам,
До сумречной зябкой поры
Строчит золотистым курсивом

По крышам и стёклам авто,
По лицам бредущих прохожих.
Из шкапа достанешь пальто,
Перчатки и кепи. Положишь

Чекушку в глубокий карман
И спички, и адову «Приму».
И выйдешь «на главный фонтан»
Времён акведучного Рима.

И, шурясь на ярком свету,
В воскресном сентябрьском экстазе
Посмотришь, как дружно метут
В оранжевом дворники. Разве

Тебе ни фи́га не свезло
Так запросто взять и родиться? —
Не гипсовой бабой с веслом,
Не рексом на страже границы,

А просто — таким вот собой —
Под осень заточенным малым
С усмешкою грустно-хмельной —
Поэтом, шутом и нахалом.

...А осень готовит дары,
Да так, чтобы не отвертеться
От еле заметной искры,
Нацеленной в самое сердце.

* * *

Ползи солдатиком усталым
По минным городским полям,
По влажным сумрачным подвалам,
По огородам-чердакам.

Война проиграна, ей-Богу,
Да и была ль она, война?
Труба ль, кричащая тревогу —
Осколок борхесова сна?

Елена Костандис
(Россия, Москва)

Родилась в 1972 году в городе Тбилиси. Училась в Тбилисском государственном университете и Еврейском университете в Иерусалиме. Публиковалась в газете «Литературная Россия», журналах «День и ночь», «Дети Ра», альманахах «Ориентация на местности», «Форма слова», «Лили Марлен». Лауреат литературной премии «Слово-2015». Живёт в Москве.

Несколько старых писем

Сколько я себя помню, мир всегда состоял из запахов. Запахи эти были неожиданными, сохраняясь в памяти навсегда. Мокрый снег и по сей день для меня пахнет персиком, а волосы ребёнка — июньским закатом. Карамель пахнет одиночеством, а шелковый шарф деревянной шкатулкой. Менялись не запахи — менялась я сама. Чувственный призыв кофе был непереносим в девятнадцать, когда мир катился в бездну, а в тридцать девять стал привычен, приятен, лёгок: остроумная беседа, шорох страниц на веранде кафе, кивок и полуулыбка, всё хорошо.

Но есть один запах, пронесённый через всю жизнь; запах, который я хотела бы встретить в раю, если доведётся проснуться именно там; запах, без которого впадаешь в тоску и отчаяние — запах книг. Книг разных — старых, новых, неразрезанных и прошедших века, запах их пыли и типографской краски, и особенный запах бумаги, который вдыхаешь, глядя страницу, прежде чем начнёшь читать. Ведь ты сознательно оттягиваешь удовольствие, чтобы оно ощутилось ещё полнее.

Тот букинистический магазин на Большой Грузинской, в полуподвале, был началом счастья. Почему-то меня к нему неизменно подгонял дождь — пока добежишь от Зоопарка или Пресни, промокнешь насквозь: зонт, как всегда, остался дома, ведь с утра была такая чудесная погода. А внутри — полутемно, и пахнет самым любимым на свете — книгами; и свет неяркий и какой-то очень приветливый. Сейчас возьмёшь в руки первую попавшуюся книгу — хоть изданный в 1951 году философский словарь, полный классовых борьбы и буржуазных предрассудков, хоть затрёпанная до полусмерти этюды Черни, которые ты играла тридцать лет назад; неважно, что возьмешь — в душу сразу прольётся удивительный покой.

— Душечка, Елена Викторовна, — говорил владелец магазинчика Борис Александрович, — библиофилия, наверное, грех: уж слишком привязывает нас к объекту нашей страсти, но кто ж без греха, скажите?

Борис Александрович являл собой тип русского барина, который должен был остаться лишь в мемуарах эмигрантов первой волны: прекрасно образованный, щедрый, великодушный, понимающий красоту мира,

с бородой а-ля Константин Леонтьев и неизменной трубкой. Аромат её табака был источником удивительного наслаждения — с моей-то помешанностью на запахах. Происходил Борис Александрович из хорошей старомосковской семьи, носившей фамилию из «Бархатной книги»: род его дал миру военных, профессуру, государевых людей; дал спокойно и достойно, не вакая царских сапог и не предавая присяги. И даже в старом свитере Борис Александрович выглядел лучше господинчиков, наскоро сляпавших себе нелепые гербы: их опереточные галстуки-бабочки и эспаньолки на его фоне казались ещё смехотворнее.

— А вот вам, душенька, то, что явно порадует — с трудом отыскал, но посмотрите, какая сохранность! Иллюстрации Боклевского к Гоголю в издании Готье. Хоть себе оставляй такую ценность.

И мы долго ещё говорили о мистике «Мёртвых душ», потягивая чай, и сумерки заполняли Москву, а время шло незаметно и останавливалось внезапно.

И запах старых книг оставался запахом времени.

Тем летним вечером Борис Александрович был задумчив и невесел. Протянул мне рот-фронтальную коробку:

— Друг моего покойного отца, Пётр Николаич его звали... Похоронили на прошлой неделе, вещи разбирали. Это вот семье не нужно оказалось. Я лишь заглянул, там письма. Не стал читать. Вам отдать решил. Вы сможете сохранить их? Вы их сохраните.

Это не был вопрос. Я кивнула.

— Они вместе воевали. Второй Украинский. Освобождали Вену... Вы позволите, я закурю?

Борис Александрович каждый раз спрашивал у меня разрешения закурить, хотя знал, что запах его трубки я просто обожаю.

— Вы сохраните их.

И я снова кивнула.

Любопытство раздирало меня, но я всё же дотерпела до дома: читать эти письма в метро вдруг показалось мне таким же диким, как заходить в церковь, засунув руки в карманы. Вроде бы и нет никаких предписаний, но ведь невозможно.

Во всей моей квартире осталась зажжённой только одна настольная лампа, и телефоны я отключила.

31/VIII-1944 г.

Дорогой мой, любимый Петя!

Письма от тебя не успевают доходить так быстро, как я узнаю о твоих перемещениях из сообщений по радио. Сегодня сказали, что наши войска заняли город Бухарест. Я смотрела на карте — ты уже далеко от нас, за пределами нашей Родины, и все же — такая радость! Теперь мы все чувствуем, что войне скоро конец. В Москве был салют, но они теперь часто бывают. Настроение у всех приподнятое...

...Наташа завтра идёт в первый класс. Еле уложила её спать, так она волнуется. Мы с Верой Семёновной сшили ей платье из моего коричневого — помнишь, оно тебе ещё не нравилось? Получилось хорошо, ткань почти новая, такой плотный заграничный фэй. А на передник пошёл отрез поплина, из которого я думала сшить себе платье к твоему возвращению. Но ничего, вместо платья хватит на блузку, зато у Наташи передничек очень хороший. Она будет самой красивой первоклассницей в Москве — так жаль, что ты её в этот день не увидишь...

... Я всё время думаю о тебе, мой дорогой. Мне почему-то кажется, что в тот момент, когда я думаю о тебе, с тобой ничего не может случиться. Никакая пуля, никакой снаряд тебя не заденут. И потому я думаю всё время, пока не сплю. Но даже и во сне я вижу тебя и говорю с тобой — вот уже три года. Я верю, я знаю, что ты вернёшься с победой.

И пусть тебя всегда хранит моя любовь.

Целую тебя крепко-крепко.

Твоя Надя.

28/XII-1944 г.

Мой любимый, единственный Петя!

Ты пишешь, чтобы я не волновалась о тебе. Как такое возможно, когда я знаю, что бои за Будапешт идут очень тяжёлые? Муж Лизы Новицкой воюет там же, и Лиза сегодня нам читала вслух его письма. Я верю, верю в нашу победу! Я знаю, что враг будет разбит!

Но я не могу не беспокоиться, мой родной. Это моё предназначение в жизни: думать и беспокоиться о тебе. ...

...Вчера мы с Верой Семёновной ходили в кино. Замечательная была картина, «В шесть часов вечера после войны». Мне очень понравилось, как играл артист Самойлов. И ещё я думаю теперь, что война закончится в мае, как было показано в этой картине.

...Наташа учится очень хорошо и прилежно. Она напишет открыточку к Новому году, несколько раз начинала писать черновик, но боится, что выйдет «не так». Я уговорю её, что для тебя любое её письмо — радость.

...Чаще всего вспоминается, как мы гуляли в Нескучном, ещё до рождения Наташи. Я снова иду и держу тебя за руку...

...Посылаю тебе шерстяные носки: совершенно случайно удалось купить немного шерсти, и я их связала за три вечера. Наверное, в Будапеште сейчас холодно. Прошу, береги себя.

Целую тебя очень крепко.

Всегда твоя Надя.

15/II-1945 г.

Мой дорогой, мой любимый Петя!

Мы все так ликовали, узнав, что наши войска наконец-то взяли Будапешт! Я так горжусь тобой и всеми нашими бойцами. Был салют, целых

двадцать четыре залпа, мы с Наташей считали. Она говорила всем во дворе: «Это салют для моего папы!». Спасибо тебе, родной, и спасибо всей нашей Красной Армии за ваши победы. ...

...Была в гостях у Синицыных. Я не видела их с тех пор, как они вернулись из эвакуации. Иван Аркадьевич постарел, но держится молодцом и передаёт тебе поклон. Говорил, что надеется продолжить вашу с ним работу после окончания войны. Ольга Алексеевна сильно сдала. По словам Ивана Аркадьевича, это после того, как Котьку убили под Сталинградом. Она почти всё время молчит, и я не знаю, чем её можно утешить...

...Посылаю тебе Наташин рисунок. Эти цветы она нарисовала в школе специально для тебя.

Люблю тебя больше всего на свете.

Твоя Надя.

20/V-1945 г.

Здравствуй, Петя.

Мне невероятно трудно писать тебе сейчас. Мне всё ещё кажется, что твоего письма, которое пришло сразу после Победы, не было. Может, оно мне приснилось? Так хочется, чтобы это было сном. Но нет, оно лежит передо мной на столе, зачитанное-перечитанное уже почти до дыр, потому что я так и не могу понять до конца, что же с тобой произошло.

...

...Это не злость оставленной жены, это именно непонимание. Как, как ты так можешь? Неужели эта твоя медсестричка оказалась тебе важнее нас с Наташей? Ты пишешь: «Это не ППЖ, а настоящая любовь на всю жизнь». Но ведь о том, что ко мне у тебя любовь на всю жизнь, ты тоже говорил восемь лет назад. ...

...Ты пишешь: «Война всё изменила». Нет, я не могу согласиться. Война изменила многое, но заставила понять, что же самое главное для нас. Для меня, по крайней мере. Петя, я ведь пыталась оберегать тебя: я не писала тебе всего, что мы пережили с Наташей в Москве за эти годы. Конечно, нашу жизнь тут невозможно сравнить с передовой, где был ты, но поверь мне, многие знакомые, уехавшие своевременно в эвакуацию, ахали, узнав, как было тут. Я не писала тебе, как у меня украли карточки в трамвае, в самом начале месяца, и чтобы хоть как-то накормить Наташу, я продавала вещи, и давали за них копейки, а сама пила с утра горячую воду с сахарином и так шла на службу. О том, как у меня зимой срок третьего распухли ноги, и я ходила с трудом, но ходила — я почему-то думала, что я не имею права болеть, пока ты на фронте. И оно потихоньку прошло само ...

...Что я скажу Наташе? Что её папа жив-здоров, но к нам не вернётся? Как мне ей это объяснить? Она каждый день спрашивает о тебе, а я теперь не знаю, что ответить...

...Петя, а может, мне это письмо всё же приснилось? Ведь бывают дурные сны. Сейчас я проснусь, а его не будет. И мы с Наташей будем ждать твоего звонка в дверь.

Твоя жена Надя.

10/VI-1945 г.

Петя, не нужно было писать: «Прости, что предал тебя и Наташу». Это — лишнее. Если ты твёрдо решил, что тебе мы больше не нужны, слова о прощении становятся пустыми.

Ты знаешь, я читала в журнале рассказ об одном бойце, который попал в плен и перешёл на сторону врага. Он решил, что так ему будет лучше. Я не хочу показаться злой, но этот рассказ мне вспоминается сейчас. Ты ведь тоже решил, что так будет лучше для тебя. А предать Родину или семью — разница не очень большая.

...Самое ужасное, что я не могу разлюбить тебя. Слишком сильно мы друг в друга проросли. Я не хочу убеждать ни себя, ни тебя, что ты ещё можешь одуматься и вернуться. Но разлюбить тебя я тоже не в состоянии. Это уже выше меня самой.

Постарайся беречь себя, Петя.

Прощай.

Надя.

Ночь окутала столицу тёмным бархатом. Где-то во дворе подростки стучали баскетбольным мячом. В носу у меня щипало. Хотелось встать, умыться, приготовить чай.

Я осторожно сложила письма по датам, думая, как рыжели такие чернила со временем. В коробочке была фотография девочки в старой школьной форме, с огромным портфелем. На обороте почти выцветшая надпись: «Дорогому папе от Наташи. Гор. Москва».

От свежего чая пахло почему-то горячим металлом и солью.

А букинистического магазина больше нет. Городским властям он показался невыгодным. Арендная плата стала неподъёмной, Борис Александрович закрыл магазин и сел дома — писать исследование о «Пиковой даме».

На том месте сейчас ресторан с официантами из Средней Азии, которые, по мнению руководства, должны изображать японских самураев.

День рождения мамы

Апрель; солнце припекает всё сильнее. Последние островки снега в тени — и те растаяли. «Скоро всё будет зелёное», — думает Ася, идя домой из школы. Весна. Птицы заливаются так, что звенит в ушах.

Ася любит это время года. Особенно апрель — в апреле день рождения мамы. Сегодня. Ася после школы идёт домой медленно, глаза на воробьёв, на собак, которых выгуливают пожилые дамы, на молодёжь с колясками — обычно эти гуляют по две: подруги обсуждают что-то очень, наверное, интересное и таинственное, потому лица серьёзные и даже торжественные. Ася мечтает лет так через десять тоже гулять с коляской, рассказывая подруге с другой коляской что-то такое же важное и загадочное. Вот только кому? Даша говорит, что думать об этом рано. Лиза вообще считает, что выходить замуж, пока не получишь диплом — глупо. Я буду одна гулять, решает Ася. С коляской вот такого нежно-бежевого цвета. С загадочной улыбкой на лице.

Ася вообще мечтательница. За это её хвалит учительница музыки — Ася, как никто другой, умеет рассказать, что она увидела в короткой музыкальной пьесе. За это же её ругает учительница математики: «Вечно ты считаешь ворон, Кудрявцева!». Но как же их не считать, если они так важно раскачиваются на ветках... А в тетради в это время — дроби и деление в столбик, непонятное, пугающее.

Хоть бы мама не спросила про оценки сегодня, думает Ася. Так не хочется её расстраивать. Всё-таки день рождения, нужно радоваться. Утром Ася маму не успела поздравить — та ушла на работу, едва Ася проснулась. Крикнула: «Сделай себе бутерброд!» — и хлопнула дверью. Наверное, торопилась. Ася решает, что поздравит, когда мама вернётся с работы — поздравит по-настоящему, как следует. Она даже подарок приготовила.

Дома Ася разогревает себе сосиски в микроволновке — это её обед. Сосиски не очень вкусные, Ася заливает их сверху кетчупом, чтобы стало вкуснее. Но сосиски — ерунда. Ася за едой всегда читает. Читает всё подряд — что найдёт на книжных полках.

«...Старушка вязала. У её ног, мурлыча, сидела большая кошка. Словом, это был совершенный идеал домашнего уюта. Трудно было вообразить более успокаивающую встречу для вновь прибывшей молодой гувернантки; здесь вас не угнетало никакое великолепие, не смущала никакая пышность...»

Тут Ася замечает, что поставила пятно кетчупа на страницу. Пытается его слизнуть, но желтоватая тонкая бумага рвется от ее стараний, и Ася испуганно захлопывает книгу. Она не хочет больше знать, что там было — книгу нужно спрятать подальше, а то влетит.

Ещё год назад, когда жива была бабушка, Ася любила, придя из школы, обедать с ней вместе. Какой вкусный парок тогда поднимался от щей!

Как было интересно слушать бабушкины рассказы обо всём на свете — не нужны были никакие книги.

Ася вздыхает, прячет книгу в самый низ книжных полок и начинает мыть посуду. Посуды не очень много — после завтрака, да вот ещё тарелка от сосисок. Мысли Асины далеко. Что же всё-таки ждало Джейн в Торнфилде? Так интересно! Будет ли она счастлива? А в конце книги она должна выйти замуж — Ася считает, что любая хорошая книга, любой хороший фильм должны заканчиваться свадьбой. Это неременное условие. Ведь без этого не получится потом гулять с коляской, важно и счастливо.

Полив цветы (этому тоже научила бабушка — всегда поливать цветы в середине дня), Ася садится за уроки. Быстро делает задание по русскому, это легко. Читает слова из английского учебника — это ещё легче. И только потом со вздохом берёт учебник математики. Она не поняла объяснений учительницы. Как теперь делать задание...

Я ещё немножко почитаю, решает Ася. Только одну главу. Я только хочу узнать, что было дальше. Она вытаскивает с полки засунутую туда книгу и забывает обо всем на свете.

Наталья Сергеевна сильно уставала на работе, однако домой её не тянуло. Она втайне завидовала тем своим бездетным и незамужним сотрудницам, которые вечером из проектной конторы могли отправиться в спортзал или на свидание, а каждую пятницу заканчивали в баре. Если бы Наталью Сергеевну спросили, какое её самое большое желание на свете, она бы ответила: «Бросить всё и убежать!» — но ответила бы так, зная, что её никто не слышит.

Сегодня она особенно сильно хотела убежать. Это был ужасный день рождения. Премию, на которую она рассчитывала, ей не подписали. Коллеги подарили самый идиотский из возможных подарков — корзиночку с гелем для душа, мылом и мочалкой. «Жмоты», — подумала Наталья Сергеевна, вымучивая улыбку в ответ на подарок. Мысли о том, что в тридцать четыре ты одинока и никому не нужна, не оставляли её весь день. Хотелось плакать. А тут ещё этот звонок...

Домой она пришла взвинченная.

— Что это такое? — спросила она, увидев читающую Асю. — Почему ты не делаешь уроки?

Почему Тамара Николаевна мне сегодня снова звонила и отчитывала меня? Почему я должна это слушать в свой день рождения?

Ася замирает. Что ответить маме? Что она не понимает объяснений Тamarы Николаевны? Когда была жива бабушка, Ася готовила уроки с ней, и математика была тогда понятна. Но бабушки больше нет.

— Mamочка, с днём рождения... — наконец отвечает Ася. — Я тебя очень люблю! Я тебе подарок сделала.

— Да, в виде звонка Тamarы Николаевны! Она опять говорила, что если у тебя будет двойка по математике, то тебя оставят на второй год! — повышает

голос Наталья Сергеевна. — Ты лентяйка! Ты не хочешь заниматься! Ты меня совсем измучила, из-му-чи-ла!

— Мамочка, вот... — тихо говорит Ася, протягивая сверток.

— Лучше бы ты уроки делала, чем ерундой заниматься!

В свертке рамка для фотографии. Эту рамку Ася сама клеила и украшала в кружке рукоделия. Все говорили, что вышло очень красиво.

— Что это? — спрашивает свистящим шёпотом Наталья Сергеевна, и Ася пугается окончательно. Такой она мать никогда ещё не видела: губы сжаты, а ноздри раздуваются от ярости. — Я тебя спрашиваю, это что?!

В рамке фотография Асиных родителей в день свадьбы. Какая тут мама красивая! Как принцесса, — так думала Ася, вставляя фото в рамку. Фотография лежала в бабушкином альбоме, Ася её случайно нашла.

— Ты нарочно, да? Ты чтобы меня позлить, да? Ты, дрянь такая, думаешь, что это смешно, да? Чтобы мне харю этого подонка Кудрявцева видеть, да?

Асины родители развелись семь лет назад. Отца Ася почти не помнит — он уехал куда-то далеко. Мама называет его всегда только по фамилии, а порой — «этот подонок». Бабушка сказала, что это слово хоть и не ругательное, но не очень хорошее, так говорить про людей нельзя. Но мама говорит.

— Ты, дрянь, мне испортила день рождения! Что ты за чудовище, а? Вот хоть один день, хоть один день можно было меня не мучить? Хоть один-единственный день! Чтобы я не слышала жалобы от учителей! Но нет, нет! Ей этого мало! Она ещё и издевается! — переходит на крик Наталья Сергеевна, и Ася цепенеет.

— Всю жизнь ты мне искалечила, — вдруг тихо и горько говорит Наталья Сергеевна.

Ася чувствует, как по её щеке ползёт слезинка. Она знает, что такое «искалечить». Один раз с бабушкой в электричке Ася увидела странного мужчину — у него не было ног и только одна рука. Мужчина ехал по вагону в инвалидной коляске и уныло тянул: «Граждане пассажиры, подайте, кто сколько может несчастному искалеченному человеку...» Ася с ужасом думает, что мамина жизнь похожа на этого мужчину — такая же страшная. И виновата в этом она, Ася...

— Так, уходи, — резко говорит Наталья Сергеевна.

— Ку...куда уходить? — шепчет Ася.

— Куда хочешь! Иди гулять! К подружкам! Куда угодно! Дай мне успокоиться, я видеть тебя не могу! Иди уже! Иди!!!

Ася быстро натягивает розовую свою курточку. Рукава немного коротки — курточку покупала бабушка два года назад, с тех пор Ася выросла.

— Я в сквер пойду, — говорит она.

— Хоть к черту на рога! Отдохну немного от тебя!

Апрель; темнеет уже поздно — сейчас солнце только касается крыш домов. В сквере людей почти нет — мамочки с колясками разошлись по домам, пенсионеры с шахматами тоже. Это хорошо, потому что Ася не хочет ни на кого смотреть. У неё есть одна игра, о которой никто не знает. Ася достаёт из кармана курточки двух куколок величиной с мамин указательный палец. Куколки скручены из лоскутков — их Асе бабушка тоже купила на одной ярмарке и рассказала, что раньше в деревнях девочки играли только такими куколками. Ася их любит, этих кукол. Называет «мои лялечки». Кукла в синем сарафанчике — это мама. Кукла в красном — это Ася. Куклы ведут между собой длинные разговоры о хозяйстве — говорит за них Ася. Это её любимая игра, в неё она может играть часами.

— Они очень славные, — вдруг слышит Ася. Поднимает глаза — к ней подсел мужчина в серой куртке. — Я таких только на картинках видел. А тут, смотрю, ты играешь. Можно мне тоже с ними поиграть?

— А разве мужчины в куклы играют? — спрашивает Ася.

Незнакомец смеётся. Смех у него добрый. От смеха возле карих глаз появляются морщинки, и это Асе очень нравится.

— Я вообще кукол люблю. Разных. Фарфоровых, пластмассовых, из соломы куклы бывают, деревянные... Я думаю, что у каждой куклы есть своё сердце, как у человека. А ты как думаешь?

Ася робко кивает. Какой он странный. И сразу видно, что хороший. Он даже знает, что у кукол тоже есть сердце. Он не смеётся, как другие взрослые. Не спрашивает про оценку по математике.

— Как их зовут? — спрашивает он Асю, кивая головой на кукол.

— Эта — Ася, как будто я. А эта — Наташа, как будто мама.

— Хорошие... А папа ваш где, Асенька?

— Он уехал. А бабушка умерла в прошлом году.

Мужчина гладит Асю по голове, а потом спрашивает, наклонившись к ней:

— Ася, а хочешь, я буду твоим папой?

Ася замирает от счастья. Вот оно. Оно пришло. Это то, о чём написано в книгах. Это когда свадьба, и все счастливы. Этот мужчина женится на маме, и мама будет весёлой и красивой, как на той фотографии. Это счастье. Оно пришло. Оно бывает.

— Хочу, — улыбается Ася. — А у мамы сегодня день рождения! Хотите её поздравить?

— Обязательно поздравим. Вдвоём! Пойдём сейчас, купим ей подарок вместе, хочешь?

Мужчина встаёт, протягивает Асе руку. Она кладёт ладошку в его ладонь и так они идут вдвоём по скверу. Асе хочется прыгать на одной ножке, но неудобно — что подумает этот мужчина? Большая девочка, а не умеет себя вести. Ещё раздумает жениться на маме.

Мама, мы будем счастливы, думает Ася. У тебя будет муж, а у меня папа. А может, у вас родится ещё ребёночек, и я буду его очень любить.

Это будет мой брат или сестра, и я буду помогать вам его растить. Я счастлива, мама! Я хочу, чтобы ты тоже была счастлива!

У тебя же сегодня день рождения...

Мама.

Мамочка.

Мама!

— ...Аллё, Жень, свободен? Ну да, тут. Слушай, эксперты выехали уже? Ага... да что тут, больше месяца, думаю... Нет, Серёга пошел на поквартирный — но ты что, этих бабулек не знаешь? Как сериалы про Каменскую смотреть, так они все спецы, хоть каждую на должность важняка. А тут — ничего не знаю, ничего не видели...

...Слушай, глянь, там у меня в сейфе... полбутылки должно было остаться. Есть? Ну лады... приеду — дёрнем. А чего шеф? Чего шеф-то? Пусть приехал бы сам, посмотрел, как оно тут... Да блин, сопьёшься с такой нашей работой нахрен... Ну давай, я тут надолго...

— Что, продолжим... Пиши... Труп девочки предположительно лет девяти-десяти, лежит в неестественной позе. На трупе имеются следы насильственной смерти... Труп был обнаружен в подвале жилого дома работниками РЭУ... Одежда погибшей: куртка розовая...

Май; и сирень в сквере пахнет особенно сладко. Будто хочет весь мир напоить своей сладостью.



© Художник Елена Любович

Лев Либолев
(Украина, Одесса)

О себе: Одессит, 58 лет, образование десять классов и ПТУ. Стихи пишу с лета 2008-го года. До этого никогда не писал и поэзией не интересовался. Есть публикации в сетевых и бумажных журналах и альманахах, а также издано пять сборников стихов..

Страна в квартире

Бот

Как будто в прорву. Вирт глотает враз
обман и лесть, любви и обиды...
Безликий юзер прячет парой фраз
огонь в крови, потухшее либидо,
роман, интрижку. Выдумай никнейм,
укрой лицо под маской аватара.
Соври — пишу, тверди — я глух и нем,
вся жизнь игра, пока сдаётся тара,
в которой был совсем не алкоголь,
а масса всяких выдумок и бреда...
Народу скажешь — истину глаголь,
но голь хитра... Такая привереда,
что хоть в лепёшку, а не угодишь
стихом, рассказом, долгим разговором...
А там глядишь — забвение и тишь
в какой-то миг окутывают форум.
И все посты когда-то шумных групп
листают боты яндекса и гугла...
Сегодня слог не вычурен, а груб,
а почерк не наклонный, а округлый
печатный шрифт. Ну что ж, махнёшь рукой,
привычным кликом вытрешь все контакты...
В сто первый раз подумаешь — на кой?
Писал, пока надеялся, а так-то...
Стихи пусты, хоть не удалены,
но люди начинают сторониться,
как будто мора, глада и войны,
давно не обновляемой страницы.

* * *

Я дома. День. Кофейник на салфетке.
 Страна в квартире, я живу в стране
 довольно старомодной, древней, ветхой.
 Я в ней живу. Ветшаю вместе с ней.
 Её газеты врут, и точно так же
 безбожно врут её календари.
 Темно в окне, планеты в эпатаже,
 метеориты падают, и даже
 не хочется уже кричать — не ври.
 Не ври, уют и снятая берлога,
 оплаченная кем-то, а не мной,
 не ври мне, склон за окнами пологий,
 где виноград, объятый тишиной,
 укрылся в листьях. Зреет, наливаясь
 под солнцем. Вон внизу гуляет шпиц,
 и где-то далеко на крыше аист,
 а крыша, как подсолнечная завязь,
 вся в лепестках из рыжих черепиц.
 Страна во мне, но я стране не верю,
 я врос в неё одной из тех заноз,
 оставленных захлопнувшейся дверью
 и скрипом — кто ты... чёрт тебя принёс.
 Но всё-таки впускают. Постепенно
 становишься частицей бытия,
 как этот кофе, как густая пена.
 И вырваться не хочется из плена —
 страна — квартира. А в квартире я.
 Её жилец, привычный к ароматам —
 Кофейным, и фруктовым, и другим.
 И даже мат не кажется мне матом,
 и карканье ворон, как здешний гимн.
 Страна во мне — исчезнувшая с карты,
 моё тату, наколка изнутри.
 Житьё-бытьё, комедия дель арте,
 и если нет когдашнего фарта,
 о том, что было, и не говори
 ни с кем из местных. Сахар, в чашке тая,
 всё подсластит. Лысея ото лба,
 ветшаю здесь. Обманка золотая,
 что эта жизнь — гульба и похвальба.
 Здесь врут календари, и кофе горький
 немного отрезвляет, знаю сам.
 Здесь всё легко, но жизнь идёт под горку,
 не привыкая к пряничным сердцам.

Царица

Утром она поднимается и бодрится,
 после вчерашнего только и остаётся
 думать о завтрашнем. Женщина и тигрица
 в бешенство хоть не впадает, но в идиотство
 запросто — всё происходит на автомате —
 шарит по комнате, надо бы похмелиться...
 Лучше спала бы... Просила — не поднимайте.
 Дальше комедия в красках, словах и лицах —
 где? Ничего не осталось? Поздняк метаться...
 Сдохну по-быстрому, слышите, домочадцы.
 Трубы горят непрерывно, безумно, адски.
 Сердце колотится. К сердцу не достучаться.
 Муж белоглазый от ярости, любит очень,
 знает — не даст — и не будет допущен к телу.
 Скоро и дети вернутся, а день испорчен,
 сколько же можно... Он выдохся до предела,
 с нею воюя. А выпьет — притихнет сразу,
 но ненадолго. Пройдётся, что королева,
 пользуясь тем, что он любит её, заразу,
 чувствуя — боль хороводится где-то слева
 и не уходит, а копится... Дети, внуки...
 Если на людях, прекрасней не сыщешь пары.
 Оба адепты безумствующей науки —
 схватки семейной и уличного пиара.
 Всё, оклемалась, готовит, стирает, гладит,
 снова красивая, властная, как царица.
 Младший закатит глаза от её оладий,
 старшие с нею не могут наговориться.
 Здесь эрудиция, вкус и ещё — порода,
 не налюбуеться... Вечером в ресторане
 муж, постаревший немного, седобородый,
 выглядит, словно опять молодой да ранний.
 Так и сияет. Какая она красotka,
 всё ей позволено — тихо шуршат банкноты.
 Сотка за сотку. За этой — другая сотка
 булькает в горлышке нечеловечьей нотой.
 Дома ругается — это не слышать лучше —
 мат ультразвуком, солёный, площадный, низкий...
 Дочь, как тигрица, шипит, зажимая уши
 тонкими пальцами будущей пианистки.

Эшафот

Нести не в силах брошенное слово,
 молчанием ударенный под дых,
 смотрю, как дохнут пчёлы Гумилёва
 и лермонтовский Демон ждёт беды.
 Но мне-то что, коль классики в опале,
 мой желчный слог не в радость никому.
 И это называется — попали —
 сказал Творец. Вот я и внял ему.
 Февраль. Зима. Ревнитель Пастернака,
 я вновь курю, окошко приоткрыв,
 ловя в зиме знамения и знаки
 о том, что время сдерживать порыв,
 шутить побольше, кольца выпуская
 в проём окна — давно известный трюк.
 Мой свет, когда манера шутовская
 перо заставит выпустить из рук,
 то даже в страшном сне вам не приснятся
 мои слова — они, увы, мертвы.
 И снег лежит на площади Сенатской,
 и Питер не идёт из головы.
 Всё это сны и незачем виниться —
 прощальный опус — чудо из чудес...
 Опять курю. Зелёная синица
 пирует рядом — я недавно здесь
 оставил для неё кусочек сала,
 пускай клюёт гостинец к февралю.
 Гляжу в окно — составы от вокзала
 несут куда-то тихое — люблю.
 Простое слово. Классика, чего там,
 ма шер ами, как в Питере без вас?
 Стихи поэтам служат эшафотом,
 и только птичка божия резвясь,
 качает нить, цвиринькает игриво.
 И снег идёт, и кажется — вот-вот
 покажет нам на линии разрыва,
 кого из нас на пиршество зовёт.

Матанализ

Это в целом похоже на матанализ,
 в нём я тоже не очень — тупой, как пень.
 Мы в других институтах отзанимались —
 пальцы веером, волосы взъерепень,
 и по улочке узенькой, жлоб опальный,
 прямо к морю — всё просто, как дважды два.
 Загораешь, ныряешь в чужие спальни
 вечерами, попустит жара едва.
 Вот и вся арифметика, банка квасу,
 и в магазине купил шоколадный торт...
 У знакомой нимфетки нарисовался,
 алхимический чёртик ночных реторт,
 Бесшабашный гомункулус из пробирки,
 но совсем не знаток теорем Ферма.
 Через год на ХБ нашивали бирки,
 да учились, как жить, не сходя с ума,
 хороня, убивая... Война не шутка,
 там патроны считай — не возмёшь в кредит,
 а безглазая ночью хохочет жутко,
 не послушаешь — цифрами убедит —
 мало избранных, меньше, чем было званых,
 а по сметам выходит — ни встань, ни ляг.
 Все излишки обратно ушли в Тюльпанах,
 не узнать математиков и стилиг —
 по кусочкам, как будто патроны в цинках,
 да винты отсвистели, как соловьи...
 Из учебников помнятся лишь картинки,
 из девчонок — немногие, да свои.
 Тот, кто выжил, вернулся — и к морю сразу,
 там полно одноклассников, жизнь кипит.
 Математика... помнишь её, заразу,
 ты её ненавидел тогда, пиит.
 Теоремы с потерями — аксиомы,
 и сдаются обычно на тройки...
 А ушедшие рядышком, невесомы,
 нет да нет и коснутся твоей руки.
 А гроза — и почудится канонада,
 а очнёшься, запишется вдруг в тетрадь —
 матанализ не нужен, совсем не надо
 эту лирику алгеброй проверять.

Баязет

Она не в восторге от Пикуля — «Баязет»,
главу прочитает и в книгу кладёт закладку.
А он собирает лишь вырезки из газет
и красным обводит... И всё у них с виду гладко.
Роман у неё под рукой, у него — альбом,
два книжных червя доедают свои бумаги...
Залысины бледные овладевают лбом,
морщины стирают остатки любой из магий —
любовой ли, властной... Он точит карандаши
багряного цвета, ему не хватает рамок.
Она дочитала... Написано без души.
седые глаза, в них читается только амок —
безумная ненависть к чтению мёртвых книг,
к его кумачовым щекам. Про себя — отребье —
шепеляво бормочет... Как будто бы в мозг проник
её черепаховый зубья сломавший гребень.
Влюбился когда-то — и выжила. От кровей
остались манеры и тяга к литературе.
И голос шуршащий, как будто бы суховея,
уносит куда-то остатки любви и дури
вдоль полки с романами... Это картина дня,
прозрачная тема, достойная акварели...
Романы... И с каждой страницы её родня,
и каждый из них повторяет — я им расстрелян.
Он старый служака на пенсии, а она
решает — чайку... или крови его напиток —
и в красную рамку. Война не его вина.
Прижмётся к нему и на ухо шепнёт: убийца.

Укор

Примерить месяц... Будто бы пальто.
Хотя декабрь и всё идёт не гладко.
Тут рыбий мех и тонкая подкладка —
совсем не то, мой свет, совсем не то.
Уже метёт, и Вам к лицу меха,
но где их взять, когда и сам я мёрзну.
На улице свежо, бело, морозно,
хоть пару вёрст по снегу отмахай
в пальтишке куцем — толку что с того,
до Вас намного дальше и дороже...

Акации не прячут мелкой дрожи,
 грохочут крыши жёстью листовой
 и скидывают вниз воротники
 песцовые. А Вы б такой хотели?
 Хотели бы... Да что ж я в самом деле,
 сомнений в этом нету никаких.
 Но где их взять, я нынче на мели.
 Декабрь не по размеру борзописцу —
 велик, увы, приходится крепиться,
 пока ветра совсем не замели
 дорогу к Вам. Что месяц для меня —
 один шажок, а там глядишь — и лето.
 Но ветра незатейливая флейта
 гундосит мне: пальтишко поменяй.
 Парижский шик, парфюмы от Диор —
 цена свиданий, мера нашей встречи.
 Ну что сказать, я ветру не перечу,
 я с ним веду беззвучный разговор
 о Вас, мой свет. Но я храню секрет,
 болтаю с ним, да лишнего не выдам.
 Его смешу своим нелепым видом
 и сизым дымом крепких сигарет.
 Всё лета жду, хотя сейчас зима,
 но мне бы моря, Вам-то с этим легче...
 Декабрь велик, накинутый на плечи,
 сползает вниз. Пороюсь в закромах —
 найду другой, есть месяцев полно,
 двенадцать их, и Вы в любом красивы.
 Ещё до февраля писать курсивом
 и пить любви нездешнее вино
 из Ваших губ. Я чувствую укор —
 забыл, молчит. Я помню всё, поверьте.
 Но я плутаю в снежной круговерти,
 скольжу по льду, мой шаг, увы, не скор.
 Февраль мне мал, я вырос из него,
 а летний месяц — пропасть между нами.
 О, времена, я полон временами,
 как стих словами. Слабый, черновой,
 но настоящий. Сколько ни меняй
 на слово слово, будет только хуже.
 Вы как, мой свет? Мой стих Вам так же нужен?
 Скажите мне, Вы помните меня?

Машина

Всё в машине — и жизнь, и работа, рули давай.
 Что снаружи? Другая реальность, иллюзий масса.
 У него на мази электроника, есть вай-фай
 и привычная фраза: чего же ты, не ломайся, —
 для случайных любовей, таких у него не счесть,
 сколько их побывало в салоне на чёрной коже.
 Там, снаружи, не мир, а мирок, но такой, как есть,
 или вовсе другой, хоть и кажется, что такой же.
 Вот выходишь и с кем-то базаришь о том, о сём,
 а ведь мог из окошка в окошко про всё про это —
 как заказы в «Макдоналдсе» — сделаем, поднесём,
 есть питьё и жратва, и в нагрузку ещё газета,
 правда, на фиг не нужная, чтение за рулём —
 это метод не наш, не хватало ещё аварий...
 Если горькую купим, то даже не разольём,
 лучше дома уже, как положено божьей твари —
 после ужина рюмочку, больше никак, ни-ни,
 слава богу, хотя бы на миг заглянул в квартиру.
 Он в сети, но жене, снизойдя, говорит: взгляни,
 я машина в постели, бери меня и тестируй.
 Утром душ, пара сэндвичей, в термосе крепкий чай
 или кофе, потом по ступенькам в гараж — и выезд.
 Поцелуй между прочим, ненужное «не скучай» —
 всё, конечно, неправда, но это глаза не выест.
 Ключ в замке зажигания делает поворот,
 мир включается, день открывается сбитой псиной...
 И водила кайфует, не ведая, что умрёт
 в пламенеющей луже очищенного бензина.
 Что снаружи — не важно, поскольку в руках айфон,
 всё, что нужно, покоится в недрах автомобиля.
 Он машина в машине, он часть от машины, он
 из таких, что любили его и его убили.
 Убивал вот такой же, на трассе, в дыму, в огне,
 где идут в лобовую, встречая единоверца...
 Где горящий горящего просит: расскажешь ей,
 и уходит в реальность, презрительно хлопнув дверцей.

Все муравьи, влюблённые в стрекоз...

Я знаю, что закончится зима,
пока же —

суть рождественских событий —
сойти с ума немного. Как сама?

Идут бои в домашнем общепите?
В кругу семьи, где каждый сам на сам
подарка ждёт от Санта-Николая?
Уже летят молитвы к небесам,
уже грешим, нисколько не желая
грешить зимой... Она катит в глаза,
стрекоз-певуний редко где увидишь...
И ты, мой свет, сиди, не вылезай
на белый снег. Давай освоим идиш,
а там, глядишь, возьмёмся за иврит —
библейский текст,

он в подлиннике чище...
Твой бог, он по-каковски говорит?
Вот мой молчит и кажет кулачище.
И сыплет снег, поют валторны вьюг,
звенят сосульки длинные на кромке
пологой крыши... Вслушиваюсь в звук,
почти хрустальный,

нежный и негромкий —
ну, как ты там? Рождественских чудес
детишки ждут,

шары блестят на ёлке...
Зима пройдёт, но мы пока что здесь,
нам каждый звук,

надломленный и колкий —
библейский стих...

Замеченные вскользь
самим Творцом, давай заучим слово...
Все муравьи, влюблённые в стрекоз,
давно забыты баснями Крылова
под Рождество. Последнему в роду,
мне трудно ждать рождественского рая,
и лета ждать, словесную руду,
как белый снег, в уме перебирая.

Чёрные вишни

Это яблоко. Яблокопад.
Это якобы сумерки.
Якобы
это Ева идёт через сад,
подбирая опавшие яблоки.

Ефим Бершин

Мир уже не земной, но иной.
Летом низменный,

осенью вышний...

И летят в листовой перегной
перезрелые чёрные вишни.
Это грехопадение. Рай
на земле —

сатанинская шалость...
Бросил вишни, сказал: собирай,
жизнь и смерть

незаметно смешались.
Лето кончится, осень, а там...
Лучше даже не думать об этом.
И крадётся Адам по пятам
за невинным

божественным летом.
Чуть позднее появится Змей,
Осень, сад на пустующей даче
и задумчивый голос:

посмей, —
мир меняется, вот незадача...
Дом уже покосился и врос
в прель вишнёвую,

в слой чернозёма,
и в глазах у Адама вопрос,
на деревьях

листва невесома —
это Ева проходит сквозь сад,
мир земной

изменяя на божий...
Это вишни столетий висят,
чтоб созреть

и осыпаться позже.

Уличный музыкант

Уличный музыкант пилит виолончель,
из-под смычка на снег сыплется канифоль.
Так познаётся жизнь. Кажется — неужель
я бы вот так не смог... Скажешь ему: позволь
тоже сыграть... Подашь гривенник на прокорм,
это не бог весть что — к вечеру и проест.
Он усмехнётся и вымолвит с холодком:
вряд ли слабаешь, брат, каждый несёт свой крест.
Вот инструмент — он твой, и, недоговорив,
станет ладони греть выдохом изо рта.
А у тебя к виску тянется черный гриф,
тронешь смычок — и всё, перейдена черта.
Бездарь... Поймёшь — не смог, нет на тебе креста,
пальцы не разогнуть, и в переходе тьма.
Гривенник твой — фуфло, ноты перелистай,
виолончель верни, чтоб не сойти с ума.
И поскорей на свет, и поскорей домой,
там-то и места нет всяческим чудесам.
Уличный музыкант... Господи, боже мой,
ты присмотри за ним, пусть он играет сам.

Дмитрий Лекух
(Россия, Москва)

Родился в Москве, в семье научных работников. Учился, занимался спортом и музыкой, работал, служил, воевал, опять учился, опять работал. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. В начале 90-х активно пробовал себя в роли журналиста. В 1993 году поклялся себе, что больше никогда не потерпит над собой ни одного начальника, особенно если этот начальник состоит в должности «Главного редактора», и ушёл в рекламный бизнес. С начала 80-х и до недавнего времени — активный участник радикального крыла фанатского движения болельщиков московского «Спартака». В остающееся свободным время, которого мало, старается свалить из Москвы подальше и поглуже и ловит там рыбу, которую ЕСТЬ!..

Костры у дольменов

В горах ходить надо осторожно.
Очень осторожно. Особенно, если одному.

Я как-то пару раз по молодости попадал в истории, потом зарёкся.
Поганое это дело.

Они ведь только с виду твёрдые и прочные, эти горы. На самом деле именно здесь, как нигде, видна непрочность нашего бытия: осыпи, трещины, коварство...

Ставишь ногу на, с первого взгляда, прочно вросший в землю валун, а он предательски проваливается куда-то в бездну. Причём не тогда, когда ты аккуратно трогаешь его носком, а когда переносишь на него весь вес тела и стоящая на этом хреновом булыжнике нога становится опорной. И тут — только успевай руки пошире расставлять, чтобы хоть за что-то схватиться. Неважно за что: корень, ветку, такой же, с виду надежный, камень.

И молись, чтоб тебе повезло...

Причём такие истории, как правило, происходят уже в конце дневно-го перехода, когда тягучая монотонность движения притупляет осторожность, мысли бродят где-то в стороне, а органы чувств, как губка, заняты впитыванием окружающих пейзажей, чтобы потом, когда ты вернёшься домой, преобразовать их в сосущую под ложечкой и заставляющую вновь и вновь возвращаться сюда тоску воспоминаний...

Так что я с этим делом — подвязал.

В смысле, с тем, чтобы в одиночку в горы ходить.

А ведь — хочется...

В горы хочется.

Хорошо там, чисто...

И лишний человек там — помеха.

Потому как очень трудно угадать, примут этого человека горы, или не примут. Хорошо тебе с ним будет ночью у костра жарить на углях только что пойманную форель или захочется сбежать — куда угодно, хоть в город, хоть за ближайший камень, только чтобы не слышать его пустую докучливую болтовню.

Так — тоже бывает.

И, увы, чаще, чем хотелось бы.

Причём один и тот же человек в городе может быть до безумия интересен, а в горах — пуст и докучлив.

И дело не в том, что он плох и «не выдержал проверки».

Это — бред для малолетних романтиков, наслушавшихся Визбора или Высоцкого.

Просто всему — своё время и место.

В том числе и человеку.

Вот, в принципе, и всё.

...С Серёгой Штурминым в горах — хорошо.

В смысле, мне хорошо.

Как другим — не знаю, характер у этого парня не сахарный. С одной стороны, он человек крайне жёсткий, с другой — настолько же ранимый.

До капризности.

Причём, если ему что-то не по душе — никогда прямо не скажет. Будет молчать, дуться.

Прям как девочка.

Если, конечно, подобного рода определение может подойти почти двухметровому гиганту с грубым обветренным лицом и прозрачными неулыбчивыми глазами цвета тёмного бутылочного стекла.

В горах, да и просто по жизни, он абсолютно надёжен, и мне это в нём откровенно нравится.

Что ему нравится во мне — не знаю.

Наверное, то, что я стараюсь ни при каких обстоятельствах его не напугать.

Он это ценит.

А так — нам хорошо вместе, прежде всего оттого, что в походах мы преследуем абсолютно разные цели.

Его интересует процесс, физические нагрузки, вершины.

Меня — конец перехода, усталость в натруженных ногах, неожиданное чувство освобождения, когда сбрасываешь наконец-то с плеч надоевшие до смерти лямки тяжёлого рюкзака.

И, естественно, основная цель моих «выходов» — это даже не столько горы, сколько верховья горных рек, где водится самый мой излюбленный рыболовный трофей — «царская» ручьевая форель, достойнейший соперник для любого, хоть раз в жизни державшего спиннинг или нахлыстовое удилище, человека.

Вот исходя из этой разницы интересов, мы свои вылазки и строим.

Пробиваемся, насколько это возможно, на «уазике», потом идём пешком. Когда приходим в намеченное заранее место, ставим базовый лагерь.

А дальше — по интересам.

Он — по горам лазить, я — вдоль берега спиннингом махать, с камня на камень перескакивая.

Вечером встречаемся, готовим ужин, обмениваемся впечатлениями.

Да и днём стараемся находиться в зоне досягаемости портативных раций, время от времени посылая друг другу сигналы, что всё в порядке.

Мало ли что...

Горы шутить не любят.

Вот и в тот раз...

...Я тогда только-только к этому ручью хоть как-то приспособился. Уж очень необычный рельеф, фактически без «обраток». Да и вода высокая. С поверхности форель брать напрочь отказывалась. Пришлось снимать «сбируллино», ставить «мокрую» муху и огружать её как следует. Через некоторое время начались осторожные поклёвки. По впечатлениям — прямо «со дна».

И тут — защёлкал сигнал вызова.

Выматерился, вынул, балансируя на камне, рацию из кармана.

— Да, — говорю, — слушаю. Что случилось?

— Херня, — отвечает, — случилась, Дим...

И — замолкает.

Голос — внешне спокойный, но, чувствуется, — только внешне.

Сергея в горах — парень опытный, куда опытнее меня.

Альпинист, мастер спорта.

Просто так такими словами разбрасываться не будет.

— А поподробнее? — спрашиваю.

— А поподробнее, — говорит, — голую скалу видишь?

— Вижу, — отвечаю, — с полкилометра выше меня по течению...

— Ага, — констатирует удовлетворённо, — вот я как раз под ней и валяюсь. Ничего серьёзного, но ногу, кажется, всё-таки сломал...

— Твою мать, — выдыхаю обессилено.

А что тут ещё скажешь?

Мы сюда два полных дневных перехода шли.

А до этого почти четыре часа от ближайшего егерского кордона на «уазике» пробивались.

Не ближний свет.

«Уазик» нас, кстати, только через неделю там ждать будет.

Значит — пешком...

Сначала туда, потом обратно.

За ним, с помощью, которую ещё найти надо...

Ой, мама...

— Сейчас, — говорю, — выхожу к тебе. Жди.

А что делать?

Когда я его нашёл, он улыбался бледными от боли губами.

— Херня, — говорит, — Дим, я, кажется, ошибся. Ты, конечно, посмотри, но перелома, похоже, нет. Вывих сильный, растяжение — имеют место быть. А кости, вроде, целы, напрасно я паниковал. Если так — то идти смогу, а это главное...

Киваю, соглашаясь.

Мне, конечно, два рюкзака тащить, да и его самого время от времени.

Но это проще, чем вниз-вверх бегать, да ещё за идиота этого переживать: как он там один в лагере?

А если что не так?

Бррр...

— Ты, — говорю, — откуда летел-то?

Руку поднял, показал на уступ прямо над нами.

Прикинул — метров двадцать будет.

Чтоб для городского человека было понятно — примерно шестой этаж.

Это если в доме потолки высокие...

...Хорошо, что кусты внизу, а не осыпь. Или, того хуже, обломки какие острые. Участок реки-то — скалистым можно назвать...

— Ну, ни хрена себе, — вздыхаю...

— А ты как думал, — улыбается.

Угу.

Ты б на себя в зеркало посмотрел, думаю.

На лице — ни кровинки...

Посмотрел его ногу — кости, вроде, и вправду целы. Но вывих такой, что...

А-а-а...

Махнул рукой, взялся поудобнее за ступню.

— Терпи, — говорю.

Он губу прикусил, кивнул.

Я примерился, дернул.

Как он не заорал — до сих пор не понимаю.

Отдышались.

Я ему ботинок аккуратно ножом подрезал, снял. Содрал носок. Нда, опухло серьёзно...

Достал из нарукавного кармана штормовки пузырёк с йодом и бинт, сделал «сеточку», потом перетянул покрепче.

Он — опять не кричал, только стонал сквозь зубы.

Да капли пота на лбу выступили.

Крупные.

Засунул себе в рот две сигареты, прикурил, одну ему в зубы вставил.

Подымили.

— Ну что, — говорю, — пойдём?

— Пойдём, — кивает...

...До лагеря добрались уже в сумерках. Он, по-моему, пару раз терял сознание от боли.

Но — дошли.

Я сбегал на речку, притащил свой спиннинг, рыбацкий рюкзачок и улов.
Приготовил ужин.
Потом заставил его съесть миску гречневой каши и напоил сладким чаем.
Ночью он несколько раз, забываясь, стонал от боли, но утром выглядел уже почти прилично.

Даже опухоль на ноге чуть-чуть спала.

Значит — все правильно делаем.

Собрал лагерь, распихал всё по рюкзакам, ещё раз осмотрел его ногу, новую «сеточку» йодом нарисовал, перебинтовал заново.

— Значит так, — говорю, — Серёг. Играем с тобой в Чебурашку и крокодила Гену. Помнишь: я понесу вещи, а ты понесёшь меня?

— Помню, — усмехается, — посох мне вырежи, так легче будет...

— Посох, — говорю, — это само собой.

Тронулись.

Несмотря на то, что шли вниз, а не вверх, до вечера сделали только половину дневного перехода. Да ещё и нога у него опять опухла.

Беда.

Палатку ставить не стали, я по-быстрому сварил ужин на костерке, потом засунул Серёгу в спальник, залез в свой и моментально отрубился.

Устал.

За ночь опухоль на его ноге опять спала. Да и сам он сказал, что спал почти нормально, на удивление.

Я сбегал, умылся в ручье, мы позавтракали и пошли дальше.

...Видимо, мы немного ошиблись с выбранным темпом. Да и, к тому же, чем ниже мы спускались, тем сильнее начинало печь жаркое южное солнце. Короче, к обеду вымотались так, что на ногах не стояли.

Правда, прошли прилично, даже местность почему-то не очень знакомой показалась...

Решили, что — хорош.

Нашли живописную полянку рядом с древним, но на удивление отлично сохранившимся, дольменом, я кое-как разбил что-то похожее на лагерь, развёл костерок, сбегал к реке за водой.

— Как ты, Серый? — спрашиваю.

— Да, вроде, ничего, — отвечает, — только устал, как собака, на одной ноге-то скакать...

— Понимаю, — говорю.

— Да херня, — отмахивается, — тут-то дойдём. Какие проблемы. Вот, помню, нас однажды на Эльбрусе буран прихватил...

— Слышь, — смеюсь, — «Буран». Ты меня со своей альпинистской братвой не путай. Я в ваших делах — чайник чайником...

— Да нет, — улыбается, — нормально держишься. А давай, кстати, водки выпьем? У нас же осталась, так какой смысл её дальше вниз тащить. Да и мне «обезболивающее» лишним не будет.

— Давай, — киваю, — сейчас, только пожарить приготовлю...

— Угу, — соглашается.

Процесс готовки, правда, немного затянулся. Пока я перекурил, пока палатку как следует закрепил, пока то, пока сё. Короче, к тому времени как я разлил «по первой», уже потихоньку начало смеркаться. Там, наверху, на заснеженных склонах ещё царил яркий, чуть по-вечернему розоватый свет, а здесь, в лесистой долине, уже всюю наваливалась плотная южная темнота.

Потрескивал, рассыпая искры и высвечивая багровыми бликами высиющийся рядом с палаткой древний дольмен, задумчивый вечерний костёр. Шумела перекатами шальная горная речушка. Дымился, остывая, котелок с заваркой.

Хотелось поговорить.

Но сначала — выпили.

Отдышались, задымили сигаретами.

Он поуютнее устроил рюкзак за спиной, закинул руки за голову.

— А вот интересно, — говорит, — Дим, ты ж, вроде, историк по образованию?

— Да нет, — отвечаю, — филолог. А какая на хрен — здесь и сейчас — разница?

— Большая, — вздыхает, — видишь дольмен этот?

— Вижу, — жму плечами, — и что?

Он опять вздыхает:

— А вот был бы историк, рассказал бы, кто, когда и зачем эту херню здесь построил. Веришь-нет, но я их за свою жизнь столько здесь, на Кавказе, перевидал, — всегда интересно было...

— На этот, — смеюсь, — вопрос тебе, Серый, боюсь, и историк ничего не ответит. А если и ответит, то верить ему — ну совершенно не стоит. Потому как историческая наука до сих пор спорит, считай, — гадает на кофейной гуще, — на кой ляд древние люди эти каменюки друг на друга ставили. Всё что известно — верхний неолит, культура так и называется: «культура дольменов». А что, зачем и почему — непонятно. Кто-то говорит — древние святилища, кто-то — могилы. А как было на самом деле — да кто ж его знает...

Серёга хлопает себя по карманам, выуживает из бокового новую пачку сигарет, задумчиво вертит в руках.

— Да, — вздыхает, — верхний неолит — это ведь поздний каменный век? Я, когда в Долгопу по молодости поступал, думал, физика самая сложная и интересная наука. А человек, оказывается, и сложнее, и интереснее...

— Ты на физтех поступал? — удивляюсь, — и как, поступил?

— А как же, — пожимает плечами, — закончил, кандидатскую защитил. Кому это сейчас на хрен нужно... Хорошо ещё альпинизмом в студенчестве увлёкся. Сделали с парнями бюро путешествий, иностран-

цев по горам таскали. Начальный капитал на этом подняли, это уж потом турагентство раскрутили...

Вот оно как, оказывается...

— И как, — спрашиваю, — не тянет обратно в академическую науку?

— Да нет, — жмёт плечами и снова ворочается, устраивая поудобнее больную ногу, — не тянет. Вот в горы — тянет, а туда — нет. Если б тянуло — давно бы ушёл, денег на жизнь уже нормально заработал... Ты, кстати, давай, разливай ещё по одной. А то мне тянуться далеко...

— Хорошо, — говорю.

Разлил, плеснул, на всякий случай, в костёр — древним духам этого места, передал ему пластиковый стаканчик с водкой.

Он задумчиво повертел его в похожей на медвежью лапу ладони.

— А так, — говорит, — херня она, вся эта физика. Вот смотри — здесь много лет назад люди жили. Такие же, как мы. Так же, наверное, костры жгли, по горам лазили, рыбу ловили. Ну, не совсем так, но это роли не играет. Вот эти дольмены построили. Как построили, с их-то технологией, зачем, почему? Никто не знает... А ведь не прихоти ради они эти плиты тесали да в горы волокли. И что дальше? А дальше — сидят два оболтуса у их древней святын, да водку пьют. Нормальный финал, да?

— Финал как финал, — жму плечами, — бывали и похуже...

Подбрасываю сучья в костёр, достаю оттуда головёшку, прикуриваю новую сигарету.

Блики костра причудливо играют на древних плитах.

— А ты что хотел, чтоб мы здесь по стойке смирно стояли?

Он хмыкает.

— Да нет, я не об этом...

Я глубоко затягиваюсь и выпускаю дым, стараясь, чтобы он шёл колечками.

— Да я понимаю, что ты не об этом. «Суета сует и все суета». Знаешь, сколько веков назад эта фраза написана? Так что твоя меланхолия тоже свою историю имеет. И, думаю, не в одно тысячелетие длинной. Вот ты тут о «людях культуры дольменов» переживаешь, что они так же, как и мы, костры жгли. А откуда ты знаешь, о чём они у этих костров разговаривали? Может, о том же самом...

Он улыбается и опрокидывает водку из стаканчика в рот, явно призывая меня сделать то же самое.

Подчиняюсь.

И не могу сказать, что без охоты.

Остатки снова выплёскиваем в огонь.

Традиция.

Сколько веков, интересно, этой традиции?

— Ничего-то ты, Дим, не понял, — выдыхает, занюхивает рукавом, улыбается, — мне фиолетово, о чём они у этих самых своих костров думали. А вот то, что я здесь и сейчас думаю и чувствую — это для меня

жизненно важно. Для меня, не для них, понял? И куда всё это денется после того, как я умру, — тоже важно, понимаешь?

— Понимаю, — вздыхаю, — что ж тут непонятного-то... Наливать?

Смотрит на меня, мотает башкой, кивает каким-то своим мыслям.

— Ну и жук же ты, Димыч, — смеётся, — наливай, конечно...

...На следующий день мы напоролись на конный разъезд егерей заповедника. Знакомый егерь дядя Саша обматерил нас как следует за легкомыслие и вызвал по рации транспорт. У Серёги действительно не было перелома, хотя пару недель поскакать на костылях ему всё-таки пришлось.

Жена, когда он домой, в Москву, на костылях вернулся — пригрозила убить и больше в горы никогда не пускать.

Ну, это — ерунда...

А вот то, что мы потом так никогда и не смогли найти этот самый «заветный» дольмен, у которого так славно просидели — это уже как-то немного настораживает. И я его искал, и Штурмин, и вместе ходили. Да и дядя Саша говорит, что нет в этом месте никаких дольменов. Вот там, за перевалом — до хрена и больше. А здесь, да ещё и в такой сохранности — никто не видел.

Да, и самое смешное, — мы же по долине вдоль речки шли. Ну некуда ему, заразе, деться.

Прямо мистика какая-то...



© Художник Елена Любович

Ольга Старушко
(Россия, Севастополь)

Родилась и выросла в Севастополе. Это многое объясняет.

Материк

* * *

Послушай, тебе говорили
взахлёб и почти не дыша,
про мачты, ревущие крылья
и тонущий солнечный шар,
про вытертые башмаками
ступени, что к пирсу ведут,
про то, что разобран на камень
твой Лазаревский акведук,
про то, как внезапно и резко
хватает жара за плечо,
про стайку девчонок соседских,
что лазают за алычой,
про чаек, гогочущих с крыши,
про то, как чернеют, тихи,
от павших шелковиц и вишен
отбитых дворов языки,
про то, что затягивать раны
и память узлами нельзя?

А я говорить не устану:
ведь кто-то же должен сказать.

Флаг

Что ж, «Рафаил», гори!
Дымный взовьётся столп.
Это в лучах зари
заполыхал Синоп.
Флот пару дюжин лет
шёл по твоим следам.
Трусам пощады нет.
Прятал тебя султан,
только зола и тлен
всё же настигнут: так
мы поступаем с тем,
кто опускает флаг.

Первый на флоте, кто
сдался, не принял бой.

Был экипаж готов
биться любой ценой.
Порох крюйт-камер сух —
выполни же устав:
если не унесут
сникшие паруса,
не пережить атак —
взрыв! А над нами Бог
и бело-синий флаг.
Мичман, взводи курок!

...Двести пленённых душ
в штиль на чужом борту.
Губы кусают в сушь,
хоть дуновенья ждут,
лишь бы не жёг позор.
С палубы видят: бриг
дразнит собой Босфор.
Ветер в проливе стих.
Два капудан-паши,
злясь, предвкушают месть.
Бриг, уходя, спешит
курсом на норд-норд-вест.

«Пусть капитан-трус
слышит мои слова:
видишь, как я дерусь,
там, где ты спасовал?
Пусть из моих людей
четверо штрафников.
Турки ложатся в дрейф,
видя число стволов.
Это же твой корабль!
Ты его в бой водил,
прежде чем адмирал
дал тебе «Рафаил».

Мне говорил отец:
наше наследство — честь.
Кровью родных сердец,
гарью родимых мест,

смертью отца с сестрой
вспыхнул двенадцатый год.
Я тогда встал в строй,
выбрав морской флот.
И я принимаю бой
и побеждаю страх,
зная, что с нами Бог
и бело-синий флаг.»

...Пленников отдадут:
выжил один из трёх.
Будет позорный суд,
грянет державный рёв:
повелеваем мы
сжечь «Рафаил» дотла —
горечь позора смыть,
коли он предал флаг.
А капитана без

дворянства, чинов, наград —
в матросы и под арест.
Трусов пусть не плодят.

В монастыре жена,
чтоб замолить грех.
Не на сынах вина,
скажет потом Грейг,
но проклянут отца,
сгнившего в северах,
первого подлеца
флота с времён Петра.
Так полыхай, фрегат,
ставший «Фазли Аллах»!
Пепел, зола и гарь
тем, кто опустит флаг.

Забвенье и смерть, как встарь,
всем, кто опустит флаг.

Мрамор

Каким же ветром мраморного льва
внезапно занесло к аэропорту?
Лаская гриву, шелестит трава.
Он дремлет, положив на лапы морду,
и мрамор шёлков, сумраком ночным
укрыт от слишком пристального взора.
Лев нежится. Мы с ним вдвоём молчим,
ловя под лавровишней слабый шорох,
с каким небесный круг в созвездье Льва
приходит, звякнув дверью потаённой.
И волосы мои поцеловав,
застынет воздух.
Пояс Ориона
застёгнут на три дырочки.
Луна,
рождённая вот-вот, перед рассветом
свой парус тонкий выгнула, полна
невидимого солнечного ветра.
При лунном свете мрамор как живой:
не тень скользит — то лев чуть слышно дышит,
касясь августейшей головой
пускай не лавров, ладно — лавровишен.
Прими свой Крым и вечным, и живым,
открыв его небесные ворота,
когда тебя таврические львы
встречать выходят чуть не в зал прилёта.

Глина

Камнетёс завидует гончару:
 мой резец по мрамору твёрже рук,
 слабых рук, которыми месят глину
 Что же нем и холоден мрамор тот,
 что граню я истово, а поёт
 тёплым голосом свисток его соловьиный?
 Жажду я гармонии на века.
 Мрамор отшлифовывает рука:
 чтобы ни погрешности, ни щербинки.
 А у него в руках — прах. Комки.
 У него — безделицы, черепки,
 что едва домой донесёшь от рынка.

Камень устоит. Всех переживёт.
 И граню его я за годом год
 яростнее, чтобы стал совершенней.
 И твержу себе: не напрасен труд.
 Пусть не вдруг, не сразу — когда умру,
 кто-нибудь уменье моё оценит.
 Вспомнит, как я правил свои резцы,
 мерил плиты, чтоб вознеслись дворцы,
 чтобы храмы высились горделиво.
 Только дразнит звук на чужих устах,
 этот свист насмешливый: к праху прах,
 всё одно когда-нибудь станем глиной.

От неё тепло домовой печи,
 из неё и кровля, и кирпичи,
 и свистулька, сделанная с любовью.
 Глина оттого льнёт к простым рукам,
 что сулит бессмертие простакам.
 Мрамор окончателен. Он — надгробье.
 Даже если тёсанную плиту
 водрузят на должную высоту,
 то пропорций, строгости и симметрии
 не оценит ветер, набравший в рот
 праха: посвистит, да и занесёт
 глиной труд того, кто боялся смерти.

...А гончар выходит на солнцепёк.
 Гладят руки глину, берут в комок:
 и готова, точно живая, птаха.
 И в неё достаточно подышать,
 и она поёт, как поёт душа,
 что сильнее зависти или страха.

Мытарства

Помню литые, долгие дни дочкиных тех каникул.
Папа сказал: уж ты извини, нынче я без клубники.
...В Харькове душно. Плацкарт, стомлѐн,
ждѐт обирал. Таможню.
«Сумки видкрыйте!» И тычет он
в банку: «О це — не можно!»
Я же везу три литра всего,
думал, гостинец внучке,
что ещё крымского, своего?
Мытарь царапнул ручкой
строчку в блокноте. Замер вагон:
муху слышать в полѐте.
Я к нему как к человеку. А он:
«Швыдче! Або выходьте!»
И проводник, опустив глаза,
(сам — на базар черешню):
бать, мол, слушай, теперь нельзя...
«Сидячи в Крыме — еште!»
Как сыпану на перрон: да на!
Хочешь — подымешь с полу.
Выронил банку в сердцах: со дна
аж отлетел осколок.

Грядки, куда хватает сил.
Гордость сынов крестьянских.
Ни у кого ни о чём не просил
выросший под Бердянском,
ведавший голод, стрельбу-войну,
суржик и мову: мамо!
Только разбили его страну,
да на осколки прямо,
чтобы из Харькова танки шли
в край, где печѐт подошвы
пласт опалѐнной степной земли,
где, отзываясь прошлым,
снова грохочет беда-война,
и паренѐк загорелый
горстку клубники возьмѐт со дна
банки под артобстрелом.
Грядки в пороховом дыму.
Сколько, бабуль?
— Нисколько!
Внуку гостинец бы своему...
Сладкая. Без осколков.

Песиголовцы

Этот страх с малых лет знаю.
Книжка та на мове — от мамы:
вон выходят ночами

з гаю

люди с волчьими головами.
Как по воду пойдёшь к речке,
слева-справа шуршит сорго.
Вроде дом твой и недалече,
ну а если почувешь волка?

Мама слышит своих старших,
тёмный шёпот их о Волыни:
тихо, тихо кажи! Нащо?
Зачекай, не лякай дитину...
У моей бы спросить свекрови —
это после войны было —
как жених захлебнулся кровью
и нашёл в тех лесах могилу.

А они чёрта с два сгинут.
А они обойдут капканы —
и воткнут топоры в спину,

если помните про Галана.
А они уползут в схроны
да и пересидят где-то.
Выйдут оборотни в погонах
или даже при партбилетах.

Матереют теперь, звереют,
воют в городе и в деревне.
Не таятся ни днём, ни ночью,
и рисуют крюки волчьи.
Не смотри, что они сами
называют себя псами.
Брешут, точно, да что толку?
Видишь: волки — и есть волки.

Кто щадил их и кто плодил их,
столько лет охраняя норы?
Кто им дал осквернять могилы?
Кто им пули даёт и порох,
смолоскипу
и керосина?
Хто бажав створити як краще?
Тихо, тихо кажи! Нащо?
Де загине твоя дитина?

Дядя

Скажи-ка, дядя самых честных правил —
ты за моей спиной стоял вторым
и, шаря в кошельке, вопрос поставил —
не дорого ли, мол, мы взяли Крым?
«Не по зубам клубника и черешня.
Смотреть Бахчисарай-сарай-фонтан?
Ну съездить отдохнуть — оно, конечно...
но так себе. Куда ему до Канн...»
Нет, я вчера себя вела не грубо
и ни за что сегодня не виню.
Не оставлять же за спиною трупы,
пускай и пересчитывают зубы
отчизне, как дарёному коню.
Чтоб избежать желудочных вопросов,
мы, так сказать, уроки повторим.
Поведай дяде, Константин Философ,
как в Сирию ходил ты через Крым.
Азы забылись? Не молчи, Владимир,

уже не до молчанья, вот те крест:
напомни-ка наследникам, во имя
чего ты брал за Анну Херсонес?
Туманный колокол, промолви слово
как отголосок замысла Петрова:
зачем из пушек взятого Азова
тебя отлили, чтоб поставить здесь?
Суворову, Берсеневу, Мекензи,
что основали город мой и флот,
была бы непонятна суть претензий
того, кто так вопросы задаёт.
Прости, Казарский, их, прости, «Меркурий»,
потомков, отрицающих родство,
слепых и ненасытных голотурий,
урчащее утробой меньшинство.
Не слушай, Пирогов или Тотлебен:
у вас бомбят, опять идут на штурм,
а в нашем веке поднимают шум,
что держатся лишь на воде и хлебе.
Ахматова, скажи, ответь, Папанин,
родные ваши в Крымскую войну
дрались за деньги или за страну?
За то, чтоб Крым и впредь остался с нами?
Мне у родных и спрашивать неловко,
но если уж начистоту и в лоб:
скажи, мой дед Иван из Григоровки,
зачем в двадцатом брал ты Перекоп?
Здесь на Сапун-горе у обелиска
не вздумайте у Вечного огня
считать потери: не они — и близко
сегодня в мире не было б меня.
За всех бойцов, за партизан, десанты,
что в ледяной воде на гибель шли,
ответь-ка, дядя с кошельком — а сам ты
что смог отдать бы для своей земли?
За возвращенье к прежней общей жизни,
за кровь, что в нас, пульсируя, течёт,
за честь, за верность, за любовь к отчизне,
За «Кузнецова» и за Апакидзе —
да как вы смели предъявлять нам счёт?
В ответе не за страх, а лишь за совесть
не взяли, нет — мы возвратили Крым.
Он вам не по зубам. Но вы готовьтесь:
мы в зубы за подобные вопросы
дадим — и если надо, повторим.

Матюхин

Матюхин ждёт: поближе подойдут.
 Уже два дня, как взят в кольцо Малахов.
 Две пушки бьют оттуда, где редут
 француза бил без промаха и страха.
 Почти сто лет назад — а как вчера
 держали эти самые высоты...
 Теперь вот навалилась немчура,
 с лица земли стирая Севастополь.
 Форсирована бухта, и тылы
 отрезаны. И пали даже стены.
 Когда-то с «Трёх святителей» стволы
 здесь сняли, как с эсминца «Совершенный».
 Сойдя на сушу, он зимует тут,
 весной снаряды вспахивают склоны,
 и помещён его командный пункт
 в донжон Корниловского бастиона.
 Держаться за высоты, как тогда,
 и бить, пока готово сердце биться.
 Декабрьская «Красная звезда»
 июнем полыхнёт в его глазнице.
 Матюхин падает. Удар. Ещё удар.
 И отступление уже неотвратимо.
 Гудит висок: запомни, календарь —
 тот самый день, когда погиб Нахимов.
 «Ты здесь, где затопили корабли,
 с товарищами лёг в одной могиле
 костями за эту землю — пусть снесли
 твой памятник и склеп твой разорили.
 А я уже не в силах направлять
 огонь из наших взорванных орудий.
 Я так хотел остаться здесь, земля,
 где даже праха моего не будет...»
 Когда-то уходили через рейд.
 Матюхина бойцы несут посменно
 к последней из упорных батарей
 сквозь город. От контузии до плена.
 Когда весной взрывается миндаль,
 когда сирень кипит приливом пенным,
 он всё же здесь. Стоит и смотрит вдаль,
 забыв про смерть в застенках Бауцена.

Тридцать пятая

— ...Вы простите, что с личным я:
в списках здесь
тридцать тысяч — без отчества.
Вероятно,
здесь его фамилия.
Имя есть.
Я отца своего тут искал.
Лопатина.
Если можно,
я вот что у вас хотел
уточнить:
способен ли кто в архивах
между сотен фамилий
на букву «Л»
обнаружить,
пока мы помним и живы,
пусть не отчество — адрес,
откуда был
призван он.
И сразу станет понятнее:
там в деревне у нас из любой избы
ты кого ни возьми —
это мы, Лопатины...

Старика провожает экскурсовод.
Солнце в мае слепит глаза,
но не греет.
Двадцатиметровый

бетонный свод.
Тридцать
пятая
батарея.

Этот батюшка,
в чёрном,
седой,
худой,
слушал молча,
лишь горбил сильнее плечи.
И спросил ещё:
правда, что под водой
здесь стояли погибших тела,
как свечи —
вертикально —
что не было места вдоль
берегов,
чтоб не в море,
а в землю лечь им?

— Я о них и у старца
просил молитв:
за отцов,
за бесчисленные утраты
пусть Россию когда-нибудь
бог простит...
Он ответил:
уже простил.
В сорок пятом.

Следы

Последнее дело — идти по горячим следам.
Листва облетела, курчавясь, у стриженных дам.
И город любимый — не мел, а желтушен и сер.
Крошится лепнина с эмблемами эс эс эс эр,
ржавеют и ядра, и якорь, покинувший дно.
И горького яда, и сладкого дыма полно.
Равны ли мы в смерти? Прощён ли, кто гибнуть готов?
Что снится в Бизерте эскадрам из царских флотов?
Ответь мне, отчизна, желательно — прямо сейчас —
что стоило жизни? Так важно ли, чья теперь власть?
Что ярче горело над зеркалом синей воды?
Где красный, где белый в пути от орла до звезды?

Ты видишь: опять надвигается облачный фронт,
и надо стоять, коль последний парад настаёт,
коль два с половиной столетия твои берега
в снарядах и минах, и мир — от врага до врага,
орлы бастионов и звёзды у братских могил,
кто был непреклонней и кто тебя крепче любил,
зачем эти звенья цепи, чей тут след по водам,
кому здесь отмщенье? И аз, многогрешный, воздам.

Чувство дома

Когда на нас спускают всех собак,
взыскупая покаяния и плача,
и наизнанку, словно абырвалг,
историю страны моей иначат,
шельмуют нас с оттягом и с посолом,
я думаю о маме и отце:
станочный папин вспоминаю цех
и мамины при заводские школы.

Они детьми увидели войну:
бомбёжки, холод, голод, страх. И фрицы.
Они ту пору до сих пор клянут,
какое там — простить и примириться...
И мама помнит бабушку в слезах,
когда вернулся дед-связист из Праги
со старшим сыном. Папа помнит, как
другую бабушку спасли в крутом овраге,
когда вели в германский эшелон,
как дом горел, как выжгли всю деревню.
И их зовут фашистам бить поклон?
Страна моя, откуда эти бредни?

Бить будут нас! Да, будут. В гриву, в хвост.
Смотри на них. Вот Виктор, вот Мария.
Война их наградила в полный рост:
ему — туберкулёз, ей — малярия,
но радовались солнечной поре,
когда страну отвоевали деды.
Отец студентом на Сапун-горе
встречал десятилетие Победы.
В вечерней школе мама аттестат
парням из заводских цехов вручала.
Букет на выпускной великоват —
не обхватить и в две руки. Начало

семейной жизни согревало их:
 пусть общежитие, построят дом — и двушка.
 Всего-то скарба было на двоих:
 два чемодана, чайник и подушка.
 Живи, работай! Что за времена:
 растить детей и персики для внучки,
 идти домой не с пузырьём вина,
 а с новой книгой каждую получку.
 И не его, и не её вина,
 что в одночасье рухнула страна,
 когда не о труде, а о деньгах
 людей вокруг призвали думать резко,
 и сразу стал первейший олигарх
 последний из директоров советских.

Давно не слышно заводских гудков,
 и корабельный винт не пенит воду,
 и лишь тяжёлый мат крановщиков
 витает над разграбленным заводом.
 Наследье разом обратилось в прах,
 тут выжить бы, да как? Да хоть убейся.
 Коллеги умирали в отпусках
 бессрочных — лишь бы капал стаж для пенсий.
 А тот, кто выжил, молча в трюмы лез,
 жёг лёгкие волокнами асбеста
 на сухогрузах греческих: в ЕС
 таким судам не находилось места.
 Их тени всё стоят у проходной.
 Родители мои пока со мной.

Не дай Господь мне снова испытать
 те дни, когда очнёшься вдруг со стоном,
 в чужой стране твои отец и мать,
 и родина отрезана кордоном.

Я содрогаюсь, думая о маме:
 ей правда повезло с учениками:
 они её медсёстры и врачи —
 все те, кому теперь её лечить,
 но ни кровинки на её лице.
 Я беспокоюсь о своём отце:
 о каждом миокардовом рубце
 за каждый с мясом вырванный станок,
 за каждый цех, причал, за каждый док.
 Когда на части разрывают псы,
 страна моя — и на тебе рубцы.

Когда мои пошли голосовать
 на референдум вежливого марта,
 отец отрезал: нет пути обратно.
 Да хоть солому есть, сказала мать.
 Мне кажется, ты всё ещё больна,
 очнувшись ото сна, моя страна.
 А вдруг наш дух пока ещё не смог
 воспрянуть после стольких испытаний?
 Так сублейкоз съедает костный мозг
 фиброзной, ни на что не годной тканью,
 и организм убьёт любой пустяк.
 А тут ещё и спляшут на костях.

Нам никогда спокойно не дадут
 мечтать о мире, где в почёте труд,
 растить сады, чтоб по весне цвели,
 учить детей и строить корабли.
 Наш дом и так был взорван и расколот.
 Нас будут бить наотмашь и под дых,
 нас будут бить за парус и за штык,
 за якорь и за крест, за серп и молот.

Мы застим небо, как ни назови
 страну, простёртую на пару континентов.
 Мы столько раз всходили на крови.
 Мы знаем боль последнего момента,
 когда, казалось, вдребезги и вдрызг,
 и сразу пот и слёзы, дым и порох.
 Нас будут бить в любой удобный миг:
 как бьют в Донбассе, бьют — в домах и школах.

За дедов, за отцов и матерей,
 за всё, что есть, за раны и мозоли,
 нас бьют за веком век — пойми скорей:
 нас будут бить, пока мы им позволим.
 Нас будут бить по самому больному,
 и нам нельзя утратить чувство дома.

**Виталий Винтер
(Германия)**

Родился 24 июля 1983 в городе Харцызске Донецкой области УССР (сейчас ДНР). Учился в ОШ №19 г. Харцызска, затем в Донецком Национальном Техническом Университете на факультете геотехнологий и управления производством, по специализации разработки полезных месторождений. После переезда в ФРГ в 2002 отслужил в Бундесвере в сапёрных войсках, затем окончил бакалавриат по логистике в городе Йене. В настоящее время работает в сфере логистики.

Писать начал в начале 2010 г., публиковался в крымском альманахе «Фанданго», журналах «УФО», «Порог», «Мир Фантастики» и «Уральский Следопыт», в сборниках рассказов «Антология Мифа 2013», «Крымское приключение 2016» и «Крым романтический».

Дед и терриконы

Сегодня будет жарко. Это стало понятно уже утром, когда сквозь потрескавшиеся стёкла, заклеенные неровными бумажными полосами, стал проникать в комнату сухой и пропитанный пряными запахами летней степи воздух. Наверняка к обеду будет жарить похлеще, чем где-нибудь в Мадриде.

Нужно было вставать, хоть и не получилось нормально поспать. Всю ночь не прекращалась перестрелка. Одиночные выстрелы перекликались с короткими очередями и далёкими разрывами мин. Лежишь и прислушиваешься всю ночь к какофонии ночного «перемирия». Местные же, которым мы с напарником привезли собранные в Ростове посылки и гуманитарку, беспечно храпели. Привыкли давно.

Наскоро выпив кофе, отправляемся через тихий посёлок шахты 6/7, что под Горловкой, на передовые позиции. Экскурсия для приезжих... И обычная жизнь для уставших от войны местных жителей.

Проехав с километр на завывающем задним мостом, попятнанном осколками с уже замазанными шпаклёвкой шрамами, уазике. Быстро доехали. Остановились на тихой, запылённой и неживой улице. Дальше только пешком.

Повсюду брошенные дома с заколоченными окнами, а то и с торчащими, словно рёбра, стропилами из развороченных балок крыш. Высокая трава повсюду пробила изгрызенный старый асфальт и тянулась к голубому небу.

Вчетвером, нагрузившись сумками, пошли к позициям сквозь безлюдный посёлок.

Возле одного из перекрёстков словоохотливый прежде, но теперь молчаливо-сосредоточенный Лёха, загоревший дочерна и худой, как палка,

«ополчен» с лета четырнадцатого, ткнул пальцем в подобие мемориала у дороги. Пустая кассета от «урагана» с обнажёнными ребрами пустых осколочных контейнеров была воткнута вертикально у самой дороги. Туда, куда и упала, а вокруг неё была насыпана маленькая горка частью уже ржавых осколков самой причудливой формы. Леха поднял один, ещё чистый от ржавчины, и ни к кому конкретно не обращаясь, пробубнил:

— От стодвадцатки. Свежий совсем...

Следы от этого памятника-«урагана» и прочего добра видно было на каждом доме.

— Кто памятник-то соорудил?

— Дед тут один, местный. Иваныч. Сейчас около его дома пройдем. Увидишь. Он один на всей улице живёт. Кремень, а не дед.

Так и было. Дед сидел неподвижно на лавочке у своего двора, густо заросшего вишнями. Крыша в доме была заметно побита осколками.

— Добрый день.

— Утро доброе, ребята.

— Это вы памятник сделали на перекрестке?

— Да, я. Всем погибшим соседям и тем, кто больше не вернётся сюда...

— А вы почему не уезжаете?

— Я смотрю за животными. Своими и соседскими. Да вот ребятам помогаю, как могу.

— Вот как! — сказал я, не совсем понимая, как он тут один живёт.

— А как по-другому? — удивлённо пожал дед плечами и зачем-то вытер об затёртые штаны большие рабочие руки, испятнанные синими следами от вьёвшейся навсегда в царапины угольной пыли. — А как животных бросишь?! Две козы и кошка. Курицы ещё от соседки остались.

Он перекрестился, и стало понятно, что случилось с соседкой.

— Вы тут один совсем? А семья? — спросил я его. Парни молча курили.

— Все разъехались, — дед устало махнул два раза рукой в сторону террикона, где были позиции, и ещё раз на только взошедшее солнце. — Строят свою жизнь. Мне-то уже поздно. Да и незачем. Я там никого не знаю. А тут всё родное.

— Здесь всё же опасно. Нельзя оставаться, — сказал я. — Может, вам помочь их найти?

— Они знают, где меня найти. Всё хорошо. Не беспокойтесь.

Напоследок мы щедро угостили деда сигаретами и, неловко помолчав, заторопились в дорогу.

— Здоровья тебе, дед. И чтоб дети вернулись...

— Возвращайтесь, ребята... Возвращайтесь. — уже нам в спины тихо сказал дед. И отчего-то наши рюкзаки внезапно стали ещё тяжелее.

Мы, молча и не торопясь, внимательно глядя под ноги, шли к позициям. Вдалеке уже показались три террикона шахты 6/7. Словно древние курганы, охраняющие покой степей. Плохо охранявшие... Даже тех, кто их создал...

Дед стоял возле заросшей травой дороги. У разбитого дома. Сам. Один. И смотрел нам вслед. Помочь ему было совершенно нечем. Только и того, что день обещал быть тёплым и солнечным, — вот и всё, что будет хорошего сегодня. Был пятый день сентября и четвёртый год войны.



© Художник Елена Любович

**Анастасия Приедниеце
(Латвия, Саулкрасты)**

*Родилась 13 ноября 1981 года в Юрмале, живёт в Саулкрасты.
По образованию химик, по профессии — переводчик. Стихи пишет с
двенадцати лет, нормальные стихи — с двадцати.*

От большой любви

* * *

От большой любви рождаются лучшие дети,
ну, а то, что Юрис женат — ничего, не страшно,
ты давно привыкла счастье держать в секрете,
ты ещё посмотришь, кто тут — заблудший третий,
Юрис чётко и ясно сказал — разведусь однажды.

От большой любви не скроешься, и не пробуй,
всем известно — чувства не снабжены штурвалом,
а когда тебе тридцать, зеркало смотрит строго,
пахнет воздух предосенней смутной тревогой, —
знай бери что дают — и не жалуйся, если мало.

*

Как-то неловко, неаккуратно вышло:
Юрис сгорел от рака, да не развёлся.
Но ведь дарил — пускай не кольцо, а кольца,
да и живое наследство — хмурится, дышит,

что-то поёт — почему про другое солнце,
ты покупаешь ей всё, ты рада стараться!
«Ну, ничего, — утешаешь, — потом ещё посмеёмся,
звякни лучше подружке, сходи на танцы».

Это несправедливо — растишь принцессу,
ждёшь короля ей, замка да платьев ярких —
выросла зверь с наследственным лишним весом,
пачкой стишат и Снейпом на аватарке.

Ты, чёрт возьми, сдаёшься. Читаешь Роулинг.
И нанимаешь старенькую поэтессу.
Та говорит — не рифмуйте «крови» и «кровли».
Детка шипит — мне иначе не интересно.

*

И не то что хвастаться нечем —
дочь уехала за границу.
Только всё не по-человечьи —
ни карет, ни дворцов, ни принцев.

Что там принцы — тебе бы внуков,
только дочь не выходит замуж.
В ставни Юрис стучится глухо —
просыпаешься со слезами.

Это Юрис, конечно, Юрис,
собрала отцовские гены.
Нет чтоб жить, как мама — не хмурясь,
ведь любовь — одна — неизменна!

Вспоминаешь: хотела сына.
Получаешь книгу по почте.
Осень. Дымно, темно и сыро.
Ничего не понять. Ни строчки.

* * *

Аде

О ты, кто дальше уходящих лодок! —
Тебе — вся эта малая страна:
луна, в заливе ищущая брода,
и плоская приливная волна,

и тихий вереск у заросшей тропки,
и дикий виноград у стен глухих.
Тебе — мой взгляд: и радостный, и робкий,
тебе — мои рисунки и стихи.

Возможно, ты себя когда-нибудь
сквозь временно-пространственную муть
увидишь — в дайнах моего народа.

Но как я ощущеньем поражён:
ты — только за недальным рубежом,
а кажется — за стенкой небосвода!

* * *

Длинный лес песчаной косы — и туман над большой водой.
Стой же об руку с тишиной — по колено в сухой траве.
Пусть напомним тебе опять этот берег необжитой —
стало: угли, обломки, пыль — то, что было: твой летний свет.

Только голос тебя манит, безответный, — на глубину.
Чей? — мелькает в тумане тень, слишком быстрая тень крыла.
Вспоминай, вспоминай других: кто послушал — и утонул;
лодка друга лежит на дне — сплошь ракушками поросла.

Но оплавит стёкла волна, соль морская разъест металл —
и сотрётся память песка о любом, кто навек уплыл.
Кто тоскует на берегу, кто парит из последних сил?
Кто бы ни был — закрой глаза. И поверь, что слишком устал.

* * *

И вот теперь не смей! — никогда не смей говорить со мною,
не представляйся собой, я тебя не знаю.
Как эти долгие рельсы тебя ко мне приводили,
как я молился словами твоими, — ничьё, не твоё дело.

Пусть всё, что будет, — по твоему неверию будет.
Как вечерела над нами — тень огромного дуба,
длинная белая лестница — с плоской волной смыкалась.
Не говори, что это — тоже твой голос.

Я ненавижу тех, за кем — обо мне поёшь ты,
я презираю знаки общности на одежде.
Как туман оседал на плащах, боках заржавелой лодки,
ландыши сад обступали: али тебе не сладко?

И вот теперь люби! — военные гимны, дымные ночи.
С тобой всё случится, когда я тебя оплачу.
Как по утрам разгорались окна маленького костёла.
Как ты была со мною — в беде и болезни, в здравии — не хотела.

* * *

О, что за волны, друг мой, что за лес, —
и что за валуны, и что за небо!
И, может, мы однажды жили здесь,
когда мой город назывался Нейбад.
И был другим — латышский мой язык,
и был другим — немецкий мой язык,
и русский твой — меня — не числил в нерусях.
Tā, kuru esmu mīlējis, ir mirusi¹.

О, что за соль, о брат мой, что за йод:
и жгут — равно, и жалости — ни грамма.
Меня от моря за руку ведёт
скептическая пожилая дама —
не смерть и не любовь: моя соседка.
И как ладонь суха, и как тепла, —
и листья, догорая, пахнут едко.
И та, кого любил я, умерла.

Я знаю всё: что память — только схрон
и злу о прошлом — не хватает места.
Что дружественный — наш с тобой — огонь —
совсем не то, что этот свет небесный.
От листьев и бумаг — равно — зола,
и вновь ноябрь — и красота распада, —
и та, кого любил я, умерла:
как маленький фонтан и старая эстрада.

Здесь не было фонтана говорит
Здесь летом на эстраде фонари
И приезжают группы из столицы
Здесь хорошо на Лиго веселиться, —
и смотрит, еле сдерживая крик, —
и говорит тогда: о боже мой,
пойдём домой, скорей пойдём домой!

Здесь будут теплоход и самолёт, —
и за руку опять меня ведёт, —
здесь купят землю и снесут руины,
всё будет навсегда, непоправимо,
от леса не оставят ни ствола, —
но будет легче, будет легче всяко.

И та, кого любил я, умерла, —
и я теперь могу её оплакать.

¹ Та, кого я любил, умерла (латышск.)

* * *

Где кусты жасмина роняют нимбы,
где тепло камням, барвинком увитым, —
я здесь был с тобой, а с другими — не был,
но давно пора — пожалеть об этом.

Где в земле, где в стенах — зияют дыры
и поди поверь — что прошёл сквозь сито, —
я тебе достаточно благодарен:
и за то, что выжил, один из сотен.

И звезда большая взойдёт над башней,
и ответит город: «Бедная, бедный,
не забыт никто — и никто не брошен.
Все давно отомщены.
Все свободны».

* * *

Уплывает по воздуху,
платьем туманным задевая озёрную гладь,
время,
когда тебя ещё можно было позвать
и дозваться.
Говорит: «Извини,
ты вышел».
Уплывает и смыкает цветки кубышек

(О печаль моя: вереск, спутавшийся корнями
с водяными медленными огнями!) —

Говоришь себе: «Кто ты? —
Мелкое озеро, безнадежно желтеющий лес?..»
Или есть ты, есть —
или всё же исчез, исчез,
как в тумане — граница меж городом и водою:
всё одно, одно:
бессмертное, смутное и седое.

(О любовь моя: мир: безветрен и неприветен,
это я тебя обесцветил?)

* * *

И ельник затихает — чернобров.
И влажный запах: мха, грибницы, дров.
И жизнь пройдёт — и от тебя оставит
ничем не омрачённую любовь.

И позабудут звёзды и моря
пролески прах — и пепел янтаря,
и то, чем люди были — и не стали,
когда дороги морщились, горя.

Но это будет, а пока, пока —
смотри, как спят ресницы и рука.
Высокий ветер в ставнях ищет щели,
чадит свеча — бескровна и робка.

И вот когда — и мор, и глад, и бой,
и чёрный лёд ползёт по мостовой, —
закрой глаза. Они уже узрели
мир, уходящий сквозь тебя.
С тобой.

* * *

Лучше дурная память, чем никакой.
Лица соседей, кошек, чужих людей,
дом у болота, мост над большой рекой,
вереск в лесу... и нет тебя, нет нигде.

Нет ничего о тебе — и во мне самом.
Разве что лёгкие волны седых волос.
Смерть для меня до сих пор означает: гром.
Что может быть тревожнее летних гроз?..

Я ли не рвался навстречу грому в окно?
Я ли тебя не видел — во всех подряд?
Может быть, это было моей виной.
Может, меня за это ещё простят.

Может, теперь чуть лучше меня поймёт
та, за кого я больше всего боюсь:
не про неё — темнеющий небосвод
и неизбывная, горькая, злая грусть.

Как бы ни звал я, где бы я ни искал,
всё, что со мною, — старый фотоальбом,
душащая недосказанная тоска —
да стороной уходящий весенний гром.

* * *

Сегодня я верю: мне стоило утром проснуться,
я верю: не будет дефолта и революции,
болезней и злых соседей —
и время пройдёт — со мною и надо мною —
тенистое, озёрное и лесное —
и ты приедешь.
И ты приедешь — на отдых ли, по делам ли —
с транзитной визой, конечно, с транзитной визой,
я буду ждать автобуса у канала,
я сразу тебя увижу.
Я буду особенно толст и неловок, и красен —
ты скажешь «Здравствуйте» —
я выдавлю: «Здравствуй... те».
Я буду тебе тараторить
(глотаю смешное «люблю тебя»)
про душ на автобусной станции, пункт обмена валюты,
про море — конечно, про море.
Ты скажешь мне: «Извините,
не надо так быстро, а то я теряю нити» —
и что-нибудь остроумное — мне на счастье,
чтоб я, наконец, перестал смущаться.

Тогда я немножечко осмелею —
и стану галантный, забавный и новый.
Я покажу тебе все положенные музеи
и Домский собор,
и церковь святого Петра,
и памятник нашей свободе, чтоб её,
а потом покажу свой район обшарпанный,
дом — деревянный, старый,
где лежит на крылечке шатком
полосатый кошачий парень,
подставляя солнцу изодранный тощий бок.
А потом — закончится день-с-тобой —
и время пойдёт — грозовое, а после — звёздное —
сквозь меня.

* * *

Будильник заведён на пять,
но Ты приходишь к четырёх
и говоришь: ну дай пожрать!
Ну дай, ну дай, ну дай пожрать!
Подъём, подъём, подъём!

Я говорю: заткни хайло,
о мой прекрасный друг!
А Ты в ответ: уже светло,
совсем, представь себе, светло,
желудок бедненький свело,
умру, умру, умру!

Когда Ты ешь — Ты так красив!
(Затем что глух и нем.)
О, райская в глазищах синь!
— Поел, поел, мерси, мерси,
гулять, поел, поел!

Соседкин пухленький брюнет
подходит, говорит: привет!
Что этот большеухий шкет,
гляди, каковский я!
Ты злобно шуришься в ответ
на этот бред — бесспорный бред! —
и говоришь: моя, моя,
моя, моя, моя!

О, бежевый блестящий фрак!
О, маска на лице!
Изранен, убегает враг —
дурак, дурак, какой дурак! —
а Ты, конечно, цел!

И все ручьи бегут к реке,
и мир цветёт — и Ты
идёшь на тонком поводке
и нюхаешь кусты.

* * *

Плывёт полуденный янтарный жар,
ложится птица в пыль на полдороге.
С тобой мои языческие боги —
ты приезжай, ты только приезжай.

Исполнит с ходу все твои желанья
нечестная махровая сирень.
Я, друг мой, стала строже и смелей —
таков удел стареющих жеманниц,

которым надоело врать себе —
и зеркалам, от времени ослепшим.
Отяжелели, опустили плечи,
а руки стали твёрже и грубей.

Я не боюсь, что я тебе смешна,
что не нужна, что хуже, чем казалась.
Ты приезжай — хотя бы в самый август,
все груши и все громы будут — нам.

Лети, что одуванчиковый пух,
когда с утра, как ты, забавно хмурясь,
откроет настежь двери щедрый Юмис —
и колосок поклонится серпу.

* * *

И я ищу, ищу опять
в себе твои черты.
Но не дозваться. Не догнать.
Не станет ближе ни на пядь
посланник высоты.

О, будет, будет ли покой
в моём небытии?
Пусть я оденусь темнотой,
навек останутся со мной
деяния мои.

Но вижу, вижу я во сне,
как тают облака.
И есть прощение вине,
и тянется с небес ко мне
рука, твоя рука.

* * *

И роща, замерзая на корню,
звенит листвою; скажи, как совместить
два этих леса: будущий и прошлый?

И что я — и когда я — сохраню,
где рвутся крики сумеречных птиц,
где мечутся метели заполошно?

Кто после всё расскажет — и кому —
что к горлу розы подступает лёд:
вот так: непримиримо, непокорно, —

и берег мой спускается во тьму?
— О, где теперь, бездумная, поёт
камена: в бархатном, и бронзовом, и чёрном?

* * *

Падает и катится жёлудь,
пахнет город угольным дымом;
свет уходит мимо, всё — мимо, —
ты не существуешь, должно быть.

Яблоки на дереве голом
мёрзнут и всё больше темнеют.
Осень. Что приходит за нею? —
холод мой, душа моя, холод.

Некому и незачем эти
камни, этот высохший берег.
Я тебя любил бы. Я верю.
Больше жизни? — Нет. Больше смерти.

* * *

Аде

Костёр в саду никак не разгорался,
взлетал и падал ветер городской;
незримые — перебирали пальцы
верхушки чёрных сосен над рекой.

Весна меня впервые не пугала,
не загоняла в выстуженный дом.
как будто целой жизни стало мало,
как будто всё — о новом, о другом.

И сонные продрогшие черешни,
и только-только выросший подснежник,
и дворик, полный солнца до краёв.
И ты: кто дальше уходящих лодок:
так — кажется! — за стенкой небосвода, —
Такое же сокровище моё.

Елена Кондратьева-Сальгеро
(Франция)

*Родилась в Москве. Окончила МГПИИЯ им. Мориса Тореза.
С 1989 г. живёт во Франции. Публикуется во многих изданиях
России, составляет и редактирует парижский литературный аль-
манах «Глаголь».*

Бестолочь

У каждого лета в детстве, кроме привычных сладких тайн, была одна скромная и особенно любимая маленькая радость.

Неожиданно вернуться домой, всего на несколько дней, в самом разгаре каникул, между промчавшейся галопом сменой в пионерлагере и скорым отъездом в любимую деревню, выйти из подъезда на огнедышащий асфальт и легко пройти дворами, в тени поникшей от жары зелени, к остановке.

Все разъехались, и город кажется какой-то неожиданной и незнакомой границей, куда попадаешь в полусне.

Внезапное ощущение, что умеешь летать, а до сих пор и не догадывалась, или, можешь быть невидимым, и никто не возражает.

Летняя Москва упоительна каждой мелочью, звуком, запахом, видом, мелькнувшим из окна троллейбуса.

Но самое упоительное место в летней Москве, конечно, остановка «Зельев переулок», на Преображенке, откуда богато заросшими тенистыми дворами можно легко пройти на 2-ю Пугачёвскую улицу, едва касаясь дороги уже побитыми за месяц лагерных приключений сандалиями, когда-то густо-розового, а теперь изрядно поистершегося и ставшего неопределённым цвета.

В одной из пятиэтажек, густо обложенных со всех сторон «подоконными» садиками, живут бабушка Сима и дед Лёня, без которых совершенно невозможен мир.

Там меня ждут всегда, в любое время, в любом виде и состоянии. Собственно, эта особенно любимая маленькая радость и есть самое простое и самое настоящее счастье — приезжать туда в сердцевине лета, между промчавшейся галопом сменой в пионерлагере и скорым отъездом в любимую деревню.

Мне двенадцать лет, мне легко дышится, думается и даже летается мне легко.

С плавающим под московской жарой асфальта я ныряю в душистую прохладу бабушкиного подъезда, на площадку первого этажа и изо всех сил нажимаю на кнопку насморочного звонка, в ответ которому дребезжит стекло подъездного окошка.

Мне совершенно неожиданно открывает мой любимый дядя, по кличке Центнер, заехавший к деду с бабушкой всего за несколько минут до

меня, и я, замирая от осознания неожиданной удачи, узнаю, что сегодня мне повезло, как никогда, и этот долгий-долгий, быстро пролетевший день я буду вспоминать всю свою пролетающую сквозь пальцы жизнь.

Оказывается, сегодня вечером, в девять, возвращается из пионерлагеря, с моря, моя двоюродная сестра Ольга, и отец её, мой дядя Центнер, поедет за ней на том самом голубеньком «Москвиче», который он сам любовно смастерил из утюга и патефона. Тот самый, голубенький и родной, про который моя мама говорит, что тормозить на нём можно, только приоткрыв дверцу, высунув ногу и скребя подмёткой по тротуару.

Но главное, главное совсем не это! Главное, мои родители уже решили, чтобы я поехала с дядей встречать морскую кузину Ольгу, на московский вокзал! Сегодня же вечером! И это вам, друзья мои и недруги, не фунт изюму! Это то самое большое и простое, которое имеет обыкновение сваливаться на вас, когда не ждёшь. Это лучше сгущёнки и ярче «Человека-амфибии».

В ожидании вечера, когда заедет за мной мой дядя Центнер, я целый день изнываю у бабушки с дедом, на конфетах и макаронах.

— Доченька! — дед называет «доченьками» всех особей женского пола, от собственных дочерей и внучек, до кошек и собак. — Доченька! Надо кушать, миленькая!

К деду с бабушкой можно приехать в любое время дня и ночи, в любом виде и состоянии, вас ждут всегда, примут с бездонной любовью, но в любое время дня и ночи вас незамедлительно и безапелляционно посадят кушать.

Макароны с куском тающего масла, размером с детскую ладонь, посыпанные сахаром, по личному рецепту бабушки Симы.

К макаронам обязательный пышный кус белого хлеба, на котором покоятся остатки масляной пачки, из трёх слов.

Ко всему этому жидкий тёплый чай, с тремя ложками сахара. Сахар на дне чашки пускает мутноватые струи отчаяния, не имея возможности раствориться до победного конца в слишком малом для него объёме жидкости.

Если я одолею хотя бы треть бабушкиного угощения, я доставлю всем трогательное удовольствие: в семье я прохожу по разряду худосочных, в отличие от обеих моих кузин, и каждый проглоченный мною кусок воспринимается как победа.

Зато я сильна в конфетах: здесь, без малейших усилий, я всегда всё могу.

Конфеты помогают дню поскорее за вечереть.

В зарослях сирени под бабушкиными окнами я уминаю целый пакет «Масок», мечтая, чтобы время можно было бы прокрутить и перемотать одним махом, как катушки на отцовом магнитофоне.

Вечер подползает густой и душистой патокой: всё цветущее, оживающее со скудной, но всё-таки наступающей прохладой, начинает взахлёб благодухать.

Дед Лёня придумал замечательную систему полива «подоконного» садика: каждый вечер цепляет кусок зелёного шланга к кухонному крану в раковине и обильно орошает востребованную зелень.

Кроме сгущёнки и книги Бриг «Три Лилии», больше всего на свете я люблю поливать всё, что растёт.

Дед отдаёт мне шланг и разрешает крутить им направо и налево сколько угодно долго.

За этим занятием нас и застаёт вернувшийся за мной дядя Центнер.

Внутри у меня всё звенит, гудит и подсказывает от такого неслыханного и всеобъемлющего счастья, такого свежего, такого полного до краёв, что появляется совершенно осознанный страх, как бы его не расплескать. Отчего оно такое, я понять не могу.

Собственно, ведь ничего особенного не происходит: я еду в голубеньком дядином «Москвиче», высунув голову в окошко, открытое в душный летний вечер, по мягко остывающей Москве, смотрю на людей, на зажигающиеся огни, тяну носом московский летний воздух и точно знаю, что в этот самый момент нет ни одного такого же счастливого, как я, человека во всей вселенной.

Куда и зачем ехать, мне, откровенно сказать, совсем неважно. Главное, ехать и ехать, нюхать и нюхать, высунув голову в окошко.

На вокзале счастье зашкаливает окончательно: оказывается, поезд с морской кухней Ольгой и её везучим классом здорово задерживается и ожидается только в полночь.

Нам с Центнером приходится отступить и прикинуть, куда меня девать: везти домой спать или всё-таки разрешить мне переждать и вернуться за кухней на вокзал, вместе с Центнером.

Я пускаю в ход все свои ноющие и кланчающие способности и добиваюсь согласия на меня-полуночицу, с первой попытки.

Везение моё на этом не заканчивается: позвонив из автомата моим родителям и собственной жене, моей тётке Тамаре, Центнер сообщает, что нам велено завалиться в гости к тёткиной подруге, проживающей неподалёку, и там переждать задержку, в приятной компании.

Мы снова едем по всё более вечеряющей Москве, паркуемся во всё более прохладных дворах и оказываемся в какой-то уютной гостиной, за густо накрытым столом, где пьём чай с пряниками, конфетами, пастилой и какими-то особенно вкусными домашними пирожками.

А потом опять катим уже по ночной летней Москве, пахнущей сразу всем, что есть лучшего в этой жизни — даже морем, даже бананами и даже Новым Годом — достаточно закрыть глаза, подставить голову под встречный ветерок и сразу становится понятно, что в мире, где есть всё это, всё всегда будет хорошо.

А потом мы снова оказываемся на вокзале, пробираемся через гроздь снующих завешанных багажом людей на нужную платформу и вместе с другими собравшимися родителями смотрим в ночную даль, откуда

должен появиться этот самый замечательный поезд, везущий с юга тот самый везучий класс с моей кузиной Ольгой.

Я до сих пор вижу, как он подползает, отфыркиваясь, к перрону, пшикает на встречающих, наконец останавливается и гармонью раскрывает двери.

Я до сих пор вижу, как они начинают спрыгивать на платформу и поворачиваться назад за своими оббитыми и потёртыми чемоданишками, такие загорелые, пропылённые, смеющиеся ребята, со следами так и не просохшей и не выветренной соли на локтях и коленках...

Я до сих пор стою в толпе, никем не замечаемая, и смотрю на них, просто смотрю и пропитываюсь невыразимым счастьем каждой секунды, понимая, что вот оно, вот — прямо перед глазами, фотографируй памятью и не затеряй в архивах, это самое важное и, может быть, самое нужное, что будет в жизни.

Именно это и должно не кончаться никогда, никогда: каждое лето должны приезжать с юга мальчишки и девчонки, просоленные морем, пропылённые жарой, усталые и хохочущие, мечтающие о сладком чае, с какими -то особенно вкусными домашними пирожками...

* * *

На этом месте она меня прервала и радостно защёлкала пальцами, как человек, ухвативший главную мысль:

— Вот оно, наглядное подтверждение тому, о чём я твержу и твержу постоянно! Ваше поколение совковых семидесятников — самое невоспитанное из всех! Самое беспорядочное, самое безобразное, в плане культуры еды!

Как вы питались: что это, макароны с сахаром, в любое время дня и ночи?! Чай с килограммами белого рафинированного, в котором ложка стоит! Эти жуткие ломти белого хлеба, промасленные на четыре сантиметра! Эти домашние пирожки, с десяти до полуночи!

Эти бесконечные чае-гонялки и кухне-трепалки! В гостиных, сядешь на какую-нибудь продавленную софу, как утонешь. Сидишь часами, почти не двигаешься. Ешь, пьёшь, заливаешь в себя жир и сахар, сахар и жир... На стене пыльный ковёр, на полу — какой-нибудь линолеум, вокруг — одни полки с книгами и хрусталём, невозможно продохнуть! Всё завалено ненужными вещами, на столе — вредная и лишняя еда!

Ни малейшего понятия о сбалансированном питании, о важности проветривания помещений: пари держу, что все часами просиживали в духоте из страха сквозняков и набивали свои обвисшие животы чёрт знает чем!

А родители ваши, все эти бабушки-дедушки, тёти и дяди и догадаться не могли, какое преступление творили против вашего здоровья. Все эти недоедавшие со времён войны и закармливающие собственных детей, уготавливая им в скором будущем инсульты и инфаркты, дряблые тела и обвисшие животы... Преступление, настоящее преступление!

Вот скажи, стала бы ты сейчас ТАК питаться? Честно скажи!

— Не стала бы.

— А детей своих стала бы так кормить?!

— Ни в коем случае.

— Ну вот видишь. Если поезд приходит поздно ночью, ничего не стоит переждать до утра, здоровее будешь. Дала бы ты сегодня собственным детям нахрюкаться сладким чаем с домашними пирожками после полуночи?!

— Детям бы не дала...

— Ну, ещё бы...

— ...Но сама бы нахрюкалась... нахрюкалась бы сама... пирожками... До отвала бы нахрюкалась. А потом легла бы куда-нибудь в траву или хоть на балкон, смотрела бы в ночное небо и вспоминала бы, вспоминала...

— Ну... завела шарманку... Но пирожками-то хрюкаться зачем?

— Так ведь, без этого не получится ничего!..

Как же она, бестолочь, не понимает, что без этого ничего не получится?!

* * *

Счастье состоит из вороха сумбурных, вредных и незначительных мелочей, каждая из которых совершенно необходима всем остальным и при случайном изъятии может обрушить весь ворох, грудой безвкусных и бессмысленных обломков...



© Художник Елена Любoвич

Андрей Карапетян
(Россия, Санкт-Петербург)

Известный петербургский художник-график, иллюстратор, поэт и прозаик.

Иллюстрировал «Божественную Комедию» Данте, произведения Карен Бликсен, Р.Р.Толкиена, Г.Г. Маркеса, Ф. Дика, М.Успенского, А. Лазарчука, Е.Лукина, братьев Стругацких.

Постоянный автор и иллюстратор альманаха «Глаголь».

Окно открытое как в степь

* * *

Я уже никогда не увижу
флорентийских сияющих крыш.
В эту жизнь ничего не запишет
немигающий дымный Париж.
И уже никогда, мимолётно,
городов, городов, городов
не коснётся душа.
На полотна
отрисованный праздник углов,
кубатуры, пространств, голошенья,
положив, я уже не смогу,
никогда получить приглашение
на своём оглашенном веку
отдышаться над крохотной Темзой,
оглянуться в берлинском окне...

В круг забот завернувшему век свой —
то и воли, что видеть во сне.
Не выдавшему славы и боли —
то и горя, что выйдет сейчас.
Просто ворон не выключет в поле
незакрытых в бессмертие глаз,
просто жизнь разойдётся, как прежде,
под свистки, мельтешенье и гам,
просто — жить в ежедневной надежде,
умирая невидимо там,
где живут и, себя на планете
полагая за что-то в ответе,
и надеясь на что-то потом,
умирают безумные дети,
укрепясь в заблужденье святом.

* * *

Ненасытен восторг. Не имеет
разрешения страсть.
Без конца
бессловесная ненависть тлеет,
вдохновеньем касаясь лица.

Божий мир разрывая на части,
разрывая течение времён,
безупречная музыка страсти
не даёт ни минуты на сон.

Гложет цепи свирепая совесть.
Для войны беспощадной готовясь,
облачается в рубище фронт.

Есть дорога. Есть мельницы.
Всё есть.
Безупречно вступление в повесть:
медный тазик, копьё, Росинант.

* * *

Я — старик.
Я бескровный, беззубый.
Я рассудка лишён. У земли
я всё шарю и тычу в уступы...
Вот — лицо, вот — рука...
Эти трупы —
всё детишки, ребята мои.

Вон их сколько —
нагнитесь, взгляните,
прикоснитесь рукою на миг!
Что мне — мысли высокой обитель
и бессмертные символы книг?!

Что мне — вечные парки Лицея,
что мне — песни
в бессмертной дали,
коль ничем не отбить, не ответить
трупный запах от этой земли?

Я сметаю им с лиц. Я им губы,
я им лбы обметаю рукой...
Вот земля моя — трупы и трупы.
Как мне встать и уйти по такой?

* * *

Окно, открытое, как в степь,
в весну, в рассвет,
в провинциальность,
в прямоугольных улиц дальность,
в замёрзшей грязи дичь и крепь.
Окно, сквозящее в слезах
нездешним холодом, скупую
и неустроенной судьбою
на продирающих глаза
готовых спрятаться и сжаться...

Мы начинаем пробуждаться
от простоты, вранья и войн;
мы видим мир, пока не свой,
пока не склонный с нами знаться,
в котором зябко оказаться
и зябко быть самим собой...
Мир, проникающий в окно
простудным светом хмурой нови...

Быть может снова суждено
Орде увязнуть в нашей крови
и у времён исчерпан ход,
и смяла старость наши лица,
и всё известно наперёд,
и лучше спать, куда спится...

Но жадно дышит грудь, но дальний
неведом мир. Но всё равно —
в чаду и тьме привычной спальни
уже распахнуто окно.

* * *

Как ранней осени движенье
сквозь парк, по кончикам листвы,
как световое раздраженье,
как ветра зябкое сниженье
на затенённые холсты
асфальтовых аллей, и всё же
внезапно, вдруг, издалека,
покрыв листву гусиной кожей,
подкатит смертная тоска.
Подкатит, высветит, немножко
смутится, медля до поры,
и ледяной своей ладошкой
потреплет дружески вихры.

Тонкоголосая сестричка,
я спал, не закрывая глаз!
Чьё имя с дальней электричкой
перекликается сейчас?
Чей взгляд,
как тень от птицы, тронет
дома, деревья, край земли?
Кто на гремящем перегоне
«Прощай!..» — откликнется вдали?
Кто, уходя, оборотится,
над бездной прядку теребя?
Чей голос эхом отразится
и, умирая, будет длиться,
и повторять: «Люблю тебя...»

Из цикла «Петербург»

1*
Тёмно-коричневое золото. Решётка.
Кривой асфальт в чертах и пятачках.
У города сутулая походка
маститой осени в берете и очках.
У города скупой осенний взгляд —
в глаза и прочь,
мгновенно, исподлобья:
и вновь мертвы
бессмертные подобья...
Да, он красив!
Да, он в понятие «ряд»
вложил историю,
послав перед собою
жандармский строй
проспектов и Петра,
и под его чугунною рукою
парад и вытяжку,
и многоцветье строя,
и марсовых потех каре и кивера.

Но город мудрый и больной,
профессорский, упрямый
и несчастный
там не присутствует,
безмолвно-непричастный
окрашенным фасадам над Невой
и нашему поспешному влеченью

к фамилиям, мундирам и дворцам.
Он, этот город, может быть не нам
оставлен был. Его предназначенье
понять ещё, возможно, не пора.
Он померещился,
возможно, со двора,
а может — был,
но больше не вернётся,
поскольку эта модная игра
в отечество нам плохо удаётся...

Возможно всё...
И то, что нам дана
в наследство и владенье не страна,
а так — печаль и восхищенье,
как за любовь угасшую отмщенье.

Бегут по серым волнам письма, и
избегает прошлое сближенья.
Как нищая царица холодна
река Нева, река без отраженья.

2*
Этот город со ересью в лике —
буде выжжен и выщерблен весь —
как прививка от оспы и книги,
только выдумка дьявола есмь,
только, вдруг,
в сплошняке осязанья —
шестикрылая ясность за миг
до того, как исчезнет сознание.

Кто резцом обозначил здесь зданья
и свеченьем сквозь крылья проник?
Кто здесь был и построил всё это?
Чьих кровей обезумевший род?

Мёрзнут львы. Полноводная Лета
под мостами в пространство идёт.

3*
Царевич спит в Неаполе и видит
росой набухший тес на воротах,
косой слушок и брань,
и хохот в свите,
заутреннюю с пеньем и в рядах
молящихся —
не мир, но прелесть гнева...

Царевич плачет сонный на заре...
России нет. Отец неистов. Слева —
царица-шлюха. Мать — в монастыре.

Так — проще, видишь! Срезать, хохоча,
полбороды и сотню душ в болота
списать как есть — что рюмочку с плеча
махнуть в гортань!
Мертвяным оборотом
околдовало, душу извело!..
О, господи, зачем ещё Везувий?
Проснуться бы, а в горнице светло,
светло — и всё. Без моря. Без лазури.
Уметь бы плотничать, да драться, да курить,
да класть людей под брёвна — жить бы звонко!
Но злости нет! За что ж дал полюбить
убогих сих? Уж лучше бы ребёнком,
да — в Углич!
Не по силам!.. Грешен аз!..
Освободи! Вернусь, а там — хоть в петлю!..
Рассвет в окне стоит младенцем светлым.
Глаза закрыты. Слёзы льют из глаз.

*
Мечтой натешившись кровавой,
найдут, смеясь, состав отравы
в метель намешанных стихов.
Ночную сказку мужиков,
чернобородых и лукавых,
в черновики вдохнут,
сплеча
тулупчик выходцу из ночи
пожалуют, для пары строчек
миры в метель и мрак меча —
и увернувшись
снежным танцем,
и улета, стан обвив...

Страна плетей и самозванцев,
и наговоренной любви,
настоянной на тайном слове
и крови немощных царей!..
Как здесь любили упырей
чернобородых, ладных!..
То ли

косматый бог упрям и влюбчив,
кровавой подписью на купчей
в безумье гений ли проник?..
Метель... Шкафы бессмертных книг..
Да черноглазый тот мужик..
Да снег... Да заячий тулупчик...

*
Грушницкий. Мэри. К ним, опять.
Как много в эгоизме детском
прелестных черт!
Дуэль... Наследство..
В альбомы барышням писать...

Уже мы — с ними, мы — оттуда.
От книжных переплётов в наши дни
проходит нить несчастья и чуда.
Мы кружимся, мы счастливы, покуда,
упрямые, так счастливы они.
Мы забываем всё. На день вперёд
хватает нам прозренья с ними вместе.

Кавказ пустынен.
Ясный холод чести
нас вместе с ними к гибели ведёт.
Но чист Эльбрус.

Но близок он и страшен.

...всерьёз влюбляются,
в камине письма жгут,
в заложенном имении живут...

Мы с ними вместе пьём
из этой чаши,
на день забыв кладбища наши,
уснув на несколько минут.

Так улетай скорей за ними всеми!
Так глубже спи!

Покуда наше время,
поднявши лоб,
не взглянет сквозь века —
всё наше здесь: беседки, облака,
драгуны, барышни,
играющие дети,
ленивые насмешки чудака,
дуэль в предгорьях на рассвете...

Горит свеча и — скучно.
Далека
кровавой мудрости великая тоска.
Но как-то зябко в ночи эти.

*

Я этой осенью блаженной
войду в немыслимый расход.
Я буду тратить оглашенно
всё, что скопил за целый год:
слова — на липы, дни — на клёны,
остатки снов невыездных —
на бурый, пёстрый, приземлённый
ракетник пустошей сквозных.

Я примирюсь с убогим слогом
кварталов, сумок и забот;
я вдруг найду забытый богом,
затерянный, как огород
на берегах, за полигоном,

кусочек юности своей,
подробный и тёмно-зелёный, —
и растреплю за пару дней...
Гулять — не жить! Держать ответ,
когда уже полжизни нет —
а чувствуешь всего лишь жженье,
укромной охры отношенье
к кармину крайностей и черт, —
нет, несерьёзно!
Нате — взвесьте!

Так значит — гибнуть в этом месте.
Стоять, упорствуя, на том,
что всех важней из всех известий —
слушок о веке золотом,
о сентябре в полях роскошных,
о пышной раме октября...

Я этой осенью безбожной
наговорюсь благодаря
сиянью, что стоит безгласно
среди невиданных деревьев!
Но целый день с улыбкой праздной
душа чего-то ждёт напрасно,
украдкой слёзы утерев.

*

Последних художников плотная зелень,
последних эллинов безоблачный Феб...
В глубоких дворах отцвели, отзвенели
беззлобность сюжетов

и странность судеб.

Кончается время при солнечном свете
к ушедшим мирам подбирать паспарту.
Вчера был замечен

последний из этих —

бродящим бесцельно
в больничном саду.

Уже начинают гниющие листья
мельчайшею ржавчиной

портить холсты

с тускнеющим городом
мастерской кисти.

Уже на дорогах, предельно просты,
маячат другие, внедряя помалу
гудящих мостов статистический слог,

казённую складность
 бетонных кварталов
 и документальность
 разбитых дорог.
 Последних художников
 сонная прелесть,
 классических парков
 столичный уют...
 Они уже лучше не скажут.
 Согрелись —
 и просто стоят, и не знают, и ждут.
 Привыкнув к роскошеству
 блестящих трав
 и тщательных, как Ренессанс,
 суеверий,
 стучат и томятся
 под запертой дверью,
 последние сказки о солнце собрав...
 Последних художников
 кисти и перья,
 и мягкие шляпы на задних дворах.

*

Парк замкнут осенью в кувшин,
 в овальность тупичков упрятан.
 За поворотом — ни души.
 Сгустившись, замерли в глуши
 листва, стволы и листопадом
 ненарушаемая связь
 безлюдья с дровяной сторожкой.
 Дорожка обогнула грязь,
 чтоб обернуться и пропасть,
 и всё-таки мерцать немножко
 до поворота впереди...
 Свернувшему не вдруг найти
 обход в обратное пространство.
 С неуловимым постоянством
 листва слетает. По пути
 теряешь прямизну мышленья;
 и отвлечённое слежение
 легко очертит пустоту...

Нырок, двойной нырок, круженье,
 исчезновение на лету.

*

Расстаёмся. Кричим:
 «До свиданья!».
 Через стёкла смеёмся:
 «Не хнычь!...».
 Из стены своего мирозданья
 рядовой вынимаем кирпич.
 Мы привыкли к развалинам,
 братцы.
 Нам приятно отбрасывать страх,
 уходить, разрушать, расставаться,
 озираться назад впопыхах,
 на перроне толкаться с вещами,
 с нетерпеньем глядеть в никуда...
 Репетиция смерти — прощанье.
 Поезда, поезда, поезда...

*

Смерти нет.
 Просто так не бывает,
 чтобы сразу не стало всего.
 К бесконечным сомненьям
 вызывает
 заключённое в нас вещество.
 Даже если — решённое дело,
 даже если, на волю спеша,
 проклянёт безнадёжное тело
 изменённая болью душа...
 Даже в полном уже отрешении
 есть упрямства отчётливый счёт:
 что-то есть —
 значит есть продолжение,
 время есть —
 значит будет ещё.

Соберусь как-нибудь и за дверью
 оглянусь на своих — и уйду.
 Смерти нет —
 есть граница неверья.
 Мы бессмертны себе на беду.

Мандельштам

но припомнится

с давней опаской,
как внимателен взгляд палача,
как нечисто отмытою лаской
твоего, вдруг, коснётся плеча
мир прищуренных,

ладных, упорных,
для которых ты — даже не вор...
Подзабыты теперь эти норы...
Ну, а если на смерть и позор
не спеша, подписуясь, сшивая,
сволокут не кого-то — тебя,
и твоя затоскует живая,
эти стены ногтями скребя,
замычит в отчужденьи и смраде
и замрёт в ожиданьи душа?
Как ты жил, соловей, в этом стаде,
умирая, свища и спеша?

Ослепят, перебьют позвоночник,
бросят в яму...

Я знаю одно:

всё равно ты не там, полуночник,
ты на звёзды глядишь всё равно!
И в звездах вся планета ночная,
и горит на окошке свеча...

Как смелы мы, вина и читая!
Как внимателен взгляд палача!

*

Скоро полночь. Шумим.

С Новым годом

поздравляем друг друга...

И вот —

замирает сутулым Нимвродом
над мгновеньем безвременья год
и сейчас будет пожран мгновеньем...

Как татарская тьма на посад,
на планету в слепом исступленье
бесконечный идёт снегопад.

Где страна твоя, скептик и странник?

Где последний твой смертный приют?

Не твои ли то дети, изгнанник,
по снегам, по дорогам бредут?

Где народ твой, пропойца и гений?

Где, забывшись, толпится опять,
в царской дури, в боярской измене
божий промысел силясь сыскать?

Где он, давний,

с которым не помнишь,

не желаешь, не можешь назвать,
безусловно умея одно лишь —
выживать, выживать, выживать...

За окном — бесконечность и клочья,
времена и дела напролом.

Бьёт двенадцать. Кричим и хохочем,
и шампанское медленно пьём.

*

Здесь будет весна, и пока неизвестным
пространством здесь будет горчить по пути.
Здесь будут играть духовые оркестры
в субботу и вторник от двух до пяти.

Здесь будет тесниться в тенистой округе
взыскующий хор мертволиких наяд
и чёрных художников точные руки,
смешливая жизнь и внимательный взгляд.

Здесь будут соседствовать с главкою главка
слепое журчанье скульптурной молвы,
античных камней однорукость и давка
за пачками неба плебейской листвы.

Отдай, не скупясь, это странное чувство
утраты, отъезда, забытых друзей!
Весна — это жизнь и немножко искусства...
Вот — ватман, вот — грифель, вот — жизни твоей

прекрасный отрывок и веточка с горькой,
ещё не отвыкшей от дали листвой...
И — всё. И — не больше. И — хватит. И только —
весна и прощанье, и вслед за тобой

упорного взгляда надежда и тщанье,
и музыки плавный, как сумрак, полон,
и — вальсы до ночи, и — ночь на прощанье,
и первая горечь новейших времён.

*

Там, где блещет в святом водоскате
серебристого слова струя,
там, где купол возвысил создатель,
имена и созвучья роя,
там, где в снежной горсти безучастно
пламенеет начало начал, —
там не жить и не быть нам, для нас там
не готов ни привал, ни причал.
Те места — для легчайших. Да где ж там
различить беспокойство смертей!
Нам достанется только надежда,
нас удержит на смертной черте
только запах уёмный, язычный,
от зверья в этом чёрном обличье
достающийся запах жилья —
в феврале, по бесснежью, бесптичью,
в неприглядности зим, до белья
откровенных и скучных... Но там, где
в бесконечности высших разлук
равнодушьем бессмертия замкнут
многозвучья трепещущий круг,
там, где мир новорожден, и столь же
беспорочен, — нет жизни, прости!
Нету счастья слаще и горше —
только жить, только жить и не больше
там, где выпал из снежной горсти!

*

Опять в полдня расход великих далей
на сундучок безлюдного двора,

который спит гравюрою на стали
с начала снега, с самого утра.

Опять не выбраться к бульвару, словно в область
иного знания и великих рек.

Всё это — сон. Всё лишнее в нём стёрлось.

Подставь ладонь сходящему — это снег.

*

Целый век, целый мир — на прощанье,
этих искоса зим, этих губ
белоснежных безмолвное тцанье —
выпить век!

Безмятежен и глуп
прочитавший сей труд постранично
и ушедший бестрепетно в снег,
целый век отписав, целый век —
на любовь, чтобы взятый с поличным
дурачок, грамотей, человек
не отрёкся от снежного счастья
поцелуя сквозь ткань бытия,
на холодном и нежном запястье
целый миг, словно век обрета.



© Художник Андрей Карапетян

Наталья Черных
(Россия, Москва)

Родилась в Москве, имеет высшее музыкальное образование. Президент Ассоциации деятелей культуры «Открытый АРТ-ДИАЛОГ». Теле- и радио- журналист, продюсер, поэт, певица — лауреат международных фестивалей авторской песни и романса. Автор восьми книг стихов и прозы, в том числе трёх детских. Член Союза писателей Москвы, член-корреспондент Европейской академии искусств и литературы. Генеральный продюсер российско-французского фестиваля «Звучащий глагол» (совместно с Ассоциацией в поддержку русской культуры во Франции «Глаголь»).

Моим голосом

По радио звучала моя песня. Известная ведущая рассказала, что, как обычно, кто-то где-то меня слышал, как это было хорошо, и вот теперь «нельзя ли песню?»

За окном ливень. Сквозь шум дождя звучат слова и музыка. Точно мои!

С ведущей этой дружбы особенной никогда не было. Так, встречались на мероприятиях, раскланивались... и не более. Песен моих она обычно в эфир не ставила.

С чего бы это?

Размышления мои прервал звонок музыкального редактора телевизионных программ Останкино. Эта женщина когда-то привела меня на телевидение, дружила ещё с моим отцом и, естественно, всю жизнь, особенно творческую, опекала и критиковала меня.

— Я зашла к ним на сайт, — голос её звучал нервно, — а там такое! Вот телефон, звони скорей!

— А что случилось-то? Я никогда не звоню в эфир, не участвую в голосованиях и опросах.

— Да там мужик какой-то говорит, что ты — это не ты, и песни не твои, что есть у него диск, изданный в Америке, где поёт их автор — совсем другой человек. Звони!

Ну, поёт и поёт. Сегодня, когда все поют чужое, называя это своим, а известные исполнители десятилетиями судятся за первенство, разборки бессмысленны.

Как говорила бабушка, «знает Бог, и знаю я».

Нет, здесь что-то другое...

— Слушаю! — в трубке звучит немолодой, уставший голос.

Здороваюсь, представляюсь.

— Почему вы поёте её песни? — он почти кричит, — вот, у меня в руках альбом, прислали из Штатов!

— Перечислите песни, пожалуйста.

Порядок треков не изменён. Это мой альбом «Семейная история».

— Кто поёт, вы говорите?

Фамилию слышу впервые.

— Знаете, — говорю я ему, — диск этот вышел в Москве в 2004 году, он лицензионный и зарегистрирован в РАО.

— А эти песни? — он долго перечисляет названия.

— Да, мои. И эта. Все мои.

Голос в трубке из раздражённого становится удивлённым и звучит почти безнадёжно.

— Я расскажу вам эту историю...

Я — профессор, доктор наук, много лет преподаю в МГУ. Она — учительница русского языка из Сыктывкара. Лет пятнадцать назад перевезла свою семью — маму и троих детей — в Штаты.

Нашла работу, дети учились, вроде бы, всё нормально было, но...

Вместе мы быть не могли. Подробности опускаю, не нужны они вам.

Мы оба страдали, часто общались по телефону, в скайпе и ещё как-то.

И вдруг она начала писать песни. Они были чудесные — светлые какие-то. Я просил, и она присылала... Это стало традицией и хоть немного сокращало расстояние между нами.

— Названия не припомните?

Да, точно. Все песни были моими — ранние и нынешние — вперемешку.

— А пела сама?

В трубке пауза.

— Нет, никогда. Всегда присылала записи.

— А с гитарой в руках её кто-нибудь видел?

— Не знаю, детей не спрашивал. Сам подумал, играет-то виртуозный гитарист. Наняла, наверно...

— И давно это у вас? — Чувствую, как тяжело ему говорить. Кажется, начинает что-то понимать.

— Видите ли, дело в том, что её нет.

— ???!

— Она умерла. Год назад. По дороге в аэропорт. В Россию хотела прилететь. Хотите запись нашего последнего разговора?

«Здравствуй, Саша», — звучит тёплый весёлый женский голос. Конечно, она его любит, то есть любила.

«Давай поговорим немного, дорога-то длинная... Хочешь послушать мою новую песню?»

Щелчок. Что на этот раз? Звучит «Песня о вечерней лошади». Одна из моих ранних и часто звучащих на радио. Хорошо, что он не слышал.

— Это наш последний разговор. До аэропорта она не доехала. Сердечный приступ.

После сорока дней её дети прислали большую коробку с надписью «Мамины песни». Сейчас открою.

Аккуратно, медленно и с большой любовью он перечисляет названия моих альбомов. В точной хронологии — как выходили. Кроме последнего, нового, только что вышедшего. Она не успела...

Порядок песенных треков оставался неизменным. Аранжировки — тоже. Песни она даже не перепевала. Просто присылала ему мои песни. Обложки были, как он сказал, с её фамилией и фото.

...Было безумно жаль этого немолодого и очень быстро осознавшего ситуацию профессора. Он любил её. Только не умер бы сам от сердечного приступа.

Она тоже любила его. И лгала. Много лет. Выдавая мою жизнь за свою. Мой мир.

Зачем? Может быть, свой был не очень радостным, и нечем особенно было поделиться с любимым человеком из этой самой Америки?

...Я позвонила своему другу, известному ведущему того же радио и коротко рассказала эту историю.

— Потрясающе! — закричал он в трубку. — Немедленно приезжай, мы обо всём расскажем в эфире. Классный сюжет!

— Нет, не приеду.

— Почему?

Я задумалась...

Даже не зная имени этой женщины (профессор ни разу не назвал его), я очень ей благодарна и уже почти люблю её.

За то, что мои песни пришлись ей впору.

За то, что странным, почти мистическим образом, мы были связаны с ней в этом, а может, и в том мирах.

За то, что пожилой профессор так неожиданно разоблачил эту странную историю, о которой я никогда не расскажу ни в каком эфире.

И даже за то, что эту учительницу русского языка из Сыктывкара никто никогда не видел с гитарой в руках.

За большую коробку, присланную её детьми из Америки, на которой крупно написано:

«Мамины песни».

И за то, что песни эти спеты моим голосом.

Татьяна Кирпиченко (1990–2017)
(Россия, дер. Диюр)

Татьяна Кирпиченко из ижемской деревни Диюр писала на двух языках — русском и коми. Родилась она в Новосибирске и жила там до пяти лет. На коми языке не разговаривала, даже не слышала его. Родители решили переехать в Ижемский район, в деревню Диюр. Таню отправили в детский сад, где никто не говорил по-русски. Ее никто не понимал. Она просто перестала говорить, молчала в течение года, осваивая ижемский диалект, при этом заработала заикание. Смеем предположить, что из этого молчания и родился поэт. Это и подтолкнуло её передавать свои мысли бумаге. Основным литературным языком для неё стал коми язык. Она училась ещё в десятом классе, когда её первые стихи опубликовал республиканский журнал «Войвы кодзув». Окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности «Филология». Вернулась в родной Диюр, где преподавала русский язык и литературу. В 2015 году у неё родился сын и вышла книга «И будет день...». За этот сборник стихов Татьяна Кирпиченко была удостоена премии имени Александра Лужикова. Почти одновременно с вручением премии она узнала о своей страшной болезни — лейкоз крови. Она мужественно сражалась за жизнь. Вот цитаты из её дневников:

«Диагноз — не приговор, а сражение. И так же, как в сороковые, день за днём идут в наступление Лысые рядовые».

«Я всё ещё учусь красиво завязывать платки, но выгляжу в них как доярка, — пишет она. — Однако пока я не выхожу на люди, меня это не особо волнует. Я больше даже не пугаюсь своего отражения в зеркале. Мне кажется, с ёжиком на голове и в очках в тёмной оправе я стала похожа на рок-музыканта. И это круто, потому что я люблю рок (особенно группу "Сплин") и обожаю гитару».

«Я научилась жить с логоневрозом, надеюсь, со временем смогу "подружиться" и с лейкозом».

Можно сказать, что и вся Республика Коми боролась за её жизнь. Около сотни мероприятий было проведено по сбору средств Татьяне на пересадку костного мозга. И деньги были собраны! Но мы полагаем, а Бог располагает. Татьяна с мамой уже находились в клинике Санкт-Петербурга и ждали операции, но произошёл рецидив заболевания. Пришлось вернуться в Сыктывкар и пройти ещё один курс химиотерапии. Спасти Татьяну не удалось. Она ушла из жизни 24 февраля 2017 года. Упокой, Господи...

Андрей Попов

Другой берег

**Стихи Татьяны Кирпиченко,
написанные на русском языке**

Сыну

Моё робкое счастье на склоне дня,
Кем ты станешь, похожим ли на меня?
Мой серебряный лучик в руках зари,
Говори мне хоть что-нибудь, говори...
Ты — мой сон, моё чудо, ты — мой восход.
Всё проходит, и это, поверь, пройдёт.
Я тебе одному расскажу секрет:
Где любовь остаётся, там смерти нет.

* * *

А я вижу небо совсем чуть-чуть,
Оно как обрывок, как лоскуток.
Мне окно так хочется распахнуть
И увидеть маленький городок.
Чтоб с людьми, и с шумом, и с суетой,
Чтоб машины мчались туда-сюда!
А вокруг больницы — лес вековой,
И порой грустна его красота.
Иногда сквозь заклеенное стекло
Робкий луч вдруг падает на кровать.
Я когда-нибудь распахну окно,
Чтобы СВЕТУ больше упасть не дать.

Всё просто

Всё просто. Как солнце встаёт меж дворов,
Как дождь обезумевший ломится в двери.
Легко так живётся с пометкой «ЗДОРОВ»,
Пока не затмит её надпись «ПОТЕРЯН».
А с каждой среды у нас новый отсчёт.
И воду святую мы пьём за победу!
Всё просто. Вот только узнать бы ещё...
Я просто уйду или просто приеду.
А дома... малина, цветы и мой рай,
Побитые горем, согнулись качели.
Встречай меня, ангел, малыш мой, встречай!
К тебе одному мои сны долетели.
Всё просто. И больно. И страшно порой.

Но я не одна. Сотни рук за спиною.
И кто-то знакомый, с чистейшей душой,
Манящий, чудесный, такой неземной
Мне тихо так шепчет: «Иди. Я с тобою».

* * *

А я, быть может, что-то перепутала?
Не свой, наверно, проживаю век.
Израненный, от холода закутанный,
Без варежек и счастья человек.
А мне бы — напролом — своей дорогою!
А мне бы — вопреки — сквозь пни и вязь.
Пускай звалась когда-то недотрогою,
Сейчас спокойно смахиваю грязь.
А мне бы под луной да за околицей
Гармони звонкой подпевать, таясь...
А мне б кудрявый озорной пропойца
Шептал про Джима, на забор садясь.
А я была б красивой и печальною,
Краснела б робко на его хвалу...
И никогда бы туфельку хрустальную
Не оставляла больше на балу.
Да, я, конечно, что-то перепутала.
Не в свой попала день, и год, и век...
Уставший и от холода закутанный,
Без варежек и счастья человек.

2017 год, 7 февраля

* * *

Ну как же можно? Ведь было сказано вам давно:
«Без Его слова и волос не упадёт!»
Люди, скажите, вам правда грустно? А мне — смешно!
Улыбка очень к лицу моему идёт.
Запричитает бабушка: «Сет сылы, Енм, вын!»¹
Да, я покаюсь позже. Или с ума сойду.
А мой единственный, мой кем-то отнятый сын
Матерью вдруг назовёт меркнушую звезду.
Всё так банально и предсказуемо... Как в кино...
Ты наклоняешься ближе, шепчешь: «Что он сказал?»
Я пожимаю плечами. Хватит, мне всё равно.
Хочется одного — просто встать и покинуть зал.

2017 год, 19 января

¹ Дай ему, Бог, силы (коми)

* * *

И никто меня не осудит.
В ярко-чёрный раскрашу дом.
Потому что меня не будет,
Меня больше не будет в нём.

2017 год, 21 января

* * *

Моя песня почти готова,
Не хватает лишь пары нот...
Подари мне хотя бы год...
Подари мне хотя бы год.
Обещаю, я всё успею!
И твой ангел её споёт.
Только дай мне хотя бы год.
Ему год. И он ищет маму.
И все врут, что она придёт.

2017 год, 21 января

Родине

Думай — не обо мне,
Не для меня — свети!
Вижу тебя во сне,
Грежу — не уходи!

Родина — лес да тишь.
Божья ты благодать.
Что ж ты опять молчишь?
Век бы с тобой молчать.

В зорях — немой ответ,
В россыпях звезд — печаль.
Родина — лунный свет,
Тэ менам медся жаль.¹

¹ Ты — моя бездонная грусть

Стихи Татьяны Кирпиченко, написанные на коми языке в переводе Андрея Попова

* * *

Светлый ангел читает осенний псалом
И тихонечко плачет от каждой строки.
Мы обычные люди — и мы не поймём,
Почему так небесные слёзы горьки.
От дождя можно спрятаться. Можно под зонт.
Можно крышу найти. Но от Бога никак
Никуда не уйдёшь. Даже за горизонт.
Отойти не сумеешь ты даже на шаг.
Я хочу, чтобы снова был ветер и дождь,
Чтобы ангел заплакал, упала звезда.
— Что за грусть? — снова спросят. — Куда ты идёшь?
— Это осень, — отвечу. — Иду в никуда.
Не ворчите на дождик, спеша под навес,
Не ворчите на сырость октябрьских погод.
В чьей-то жизни последние слёзы небес,
Дождь последний по жизни последней идёт.
Это Бог рядом с нами — а мы не поймём,
Не поймем, что осенние дни коротки.
А когда я умру, стану грустным дождем,
Только слез накоплю для последней строки.

Другой берег

Жизнь замолчала на том берегу,
Чье же дыхание я слышу во мгле?
Что я не знаю? И что берегу?
И для чего я стою на земле?
И на прибрежных камнях я стою,
Чтобы речную высматривать гладь?
Чтобы печаль снова встретить свою
И ничего снова в ней не понять?
Камень холодный согрею в руке
Чью же судьбу я согреть не могу?
А на забытом давно языке
Что-то мне шепчет на том берегу.

Птица-поэт

Поэт в огромном мире, словно в клетке,
Сидит, как птица редкостной расцветки.
Сидит один, и при любой погоде
Он распевает песни о свободе.

В стихах он пишет: «Тесно взаперти!»
Приходит Бог и говорит: «Лети!
Открытка клетка!» И поэт, как птица,
Летит, чтоб снова в клетку возвратиться.
Он не привык к простору. И ему
Поётся только в клетке — одному.

Тайна

И стала жизнь Иуде не мила.
Подумал он:
— Душе покоя нет. Уйду...
И жизнь тогда Иуду предала —
Не счастьем вечному, а вечному суду.
Мне вера в счастье стала не мила,
И я в стихов своих поверила звезду.
И жизнь меня за это предала —
Не счастьем вечному, а вечному труду.
Я поняла, что тоже предаю.
Как ни смирайся, но опять плохи
дела —
Он предал Бога, я любовь свою.
Бог есть любовь... Кого я кротко
предала?..

* * *

Приходи и сядь рядом, коснись руки.
Небо ясное. Будет и жизнь ясна —
Полетим с тобой вместе, как мотыльки,
В поисках самого короткого сна.
Я твой голос слышу, хоть мы далеки.
Сколько лет уже кануло в пустоту?
Ничего не забыла. Пишу стихи.
Самое короткое тебе прочту.
Ты послушай, всего-то одна строка:
«Жизнь моя без тебя,
как сон, коротка...».

* * *

Тебя не смогу я забыть никогда,
Ничто не сумеет мне в этом помочь,
Последняя в небе погаснет звезда,
А землю накроет последняя ночь,
Последнего воздуха горькая весть
Снесёт города, словно скосит траву,
Но я буду верить, что ты где-то есть.
Ты где-то живёшь. И я этим живу.
Но если на миг хоть почувствую: нет
Той боли незваной,
пришедшей с тобой, —
То пусть никогда не увижу я свет,
И пусть никогда не вернусь я домой.

* * *

Ночь сегодня грустная и злая,
Как душа, что ничего не хочет.
Чёрный лес молчит, не понимая,
Почему вокруг так много ночи.
Не было ещё такого срока,
Тьмы такой не видела планета...
И луна, как люди, одинока,
Ждёт устало утреннего света.
Чёрный лес вздохнёт. И снова тихо.
И луна — как человек пропащий,
У которого последний выход,
Ждёт, что солнца луч прорежет чащи.
Нет от грусти и тоски исхода —
Не было такой на свете ночи!
И луна исчезла с небосвода,
Как душа, что ничего не хочет.

Снова ночь

Снова ночь,
но мне не спится снова.
Не приходит сон, как ни зови.
«Не сбылось» — какое злое слово!
Вьюга в сердце плачет о любви.
А когда во мне умолкнут речи,
Я во сне, пришедшем кое-как,
Совершаю шаг тебе навстречу.

В прошлое хочу я сделать шаг.
Ничего я не забыла. Сколько
Лет прошло —
стремительных времён!
Снова вспоминаю — снова горько.
Снова повторяется мой сон.
У себя я спрашиваю строго:
— Как мне изменить течение дней?..
Но у жизни ровная дорога,
Ни полслова не изменишь в ней.

* * *

Я вышла из дома. А детство осталось в доме,
И не догадалось, что я не вернусь домой.
И в доме теперь никого не осталось, кроме
Сестренки младшей, однажды придуманной мной.

Сестру я себе сочинила — сначала без цели,
Потом чтоб не быть одинокой от грустных дум,
Потом, чтоб оставить детство, как сон, в колыбели,
Оставить в маминой сказке про ижемский чум.

А детство меня потеряло. Порой я слышу,
Как ищет меня — устраивает чехарду.
Нет возле качелей — тогда заберется на крышу,
И смотрит, гадая, когда я домой приду.

Нет возле любимой березки — куда же деться
Могла я? Странно, что нет от меня ни следа...
Сестренка заплачет — и в дом возвратится детство,
Туда, где его я оставила навсегда.

* * *

Можно, я напишу о тебе? Всего только раз!
Верь, никто не узнает, о ком я в стихах рассказала.
Ты говорил, известен заранее каждый час,
Ничего не поправить — ничего не начать сначала.
...Мир без тебя холоден... Станет ещё холодней...
Небом предрешены, говорил, все наши дни и ночи.
Брал ты мою ладонь: «Вот линия жизни твоей...
Длинная-то какая! Смотри! Жить будешь долго очень...»
Жить буду долго-долго?! У твоего я креста
Голос возвысится боюсь. Вопросов во мне слишком много.
Смерть воскресает? А долгая жизнь умрёт когда?
Робкие, как щенки, что мы ответим, представ пред Богом?
Ты по ладони знаки читал последнего дня,
Старательно разбирал рисунки причудливых линий.
Ты линию жизни своей скрыл тогда от меня.
А моя оборвалась, как ты ушёл. Посередине.

Письмо

Привет! Какой же сегодня прозрачный и чистый воздух!
 Говорил: наша жизнь — ветка шиповника на ветру.
 Помнишь, ты хотел собрать и рассыпать по полю звёзды.
 Растоптать их потом.
 Хочешь, я для тебя соберу?
 Как живёшь? И что снится?
 И какие заботы в доме?
 Как душою стареешь ты, встречая в окне рассвет?
 Счастьем в шестнадцать лет снежинка может быть на ладони,
 Пока совсем не отделишься от шестнадцати лет...
 Пока совсем не уйдешь по мосткам молчаливых улиц.
 Смотрела: может, вернешься. И безо всяких причин.
 В доме свет погасили. Шиповника ветки качнулись.
 Привет! Знаешь, а у меня недавно родился сын...

* * *

Жестокой меня называли —
 И я от такой чепухи
 О светлой любви и печали
 Писать научилась стихи.
 — Несчастливая! Видимо, мало
 Забот у тебя! —
 От людей
 Я слышала. Сказки я стала
 Писать про драконов и фей.
 Но сказки становится былью.
 — Ты ангел! — сказал мне. — Земной!
 Вдруг стали тяжелыми крылья,
 И я замолчала с тобой.

* * *

Жизни нет... Как странно: жизни нет...
 Как тебе небесный твой приют?
 И отпустит ли тебя ко мне
 Бог — поговорить хоть пять минут?
 Жду напрасно. Снова тишина.
 Ожидание острее, чем нож.
 А любовь... Кому она нужна?!
 Если ею жизни не вернёшь.



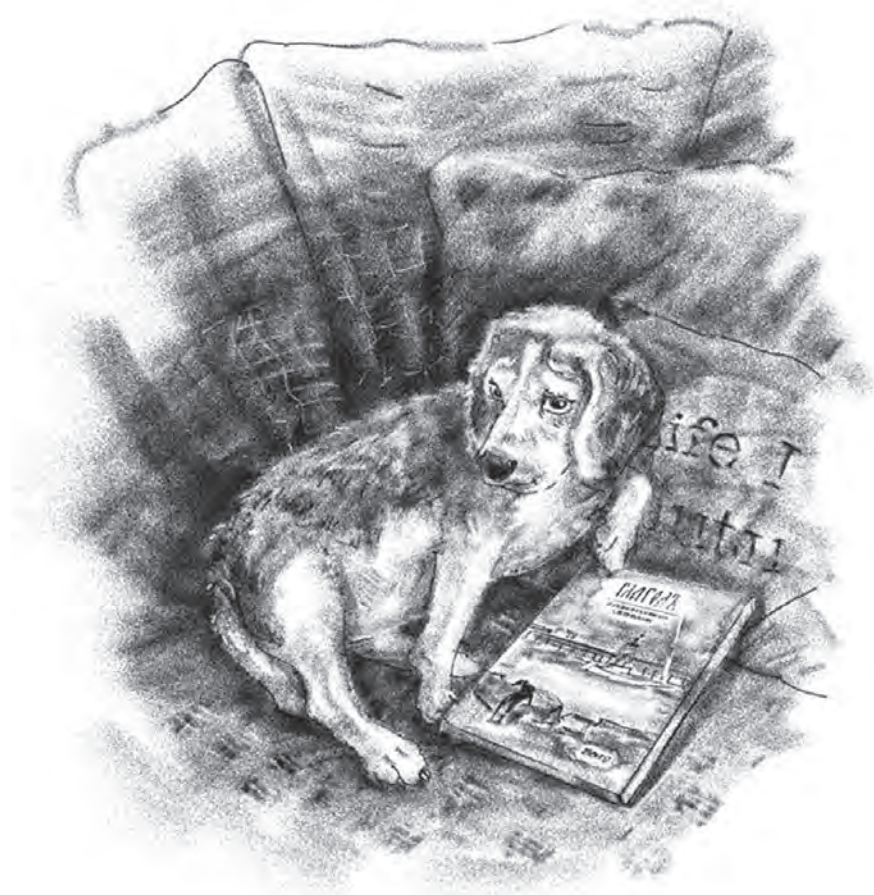
* * *

Есть мудрые книги.
 Листаю страницы —
 Становится жизнь, словно книга, открытой.
 И верю, что может в ней всё измениться...
 Но ты начинаешь от этого злиться,
 На землю меня опуская — до быта.
 Я книгу закрою. И даже забуду,
 Что стать я мечтала когда-то поэтом.
 Помою полы.
 И помою посуду.
 Живу, как и все.
 Тебе нравится это!
 И вдруг замечаю: от счастья такого
 Мне душно —
 Пусть это тебе незнакомо.
 И мудрые книги читаю я снова,
 Я жить не умею, прости, по-другому.

Никто не ждёт

Мне снился сон: в своё село под вечер
 Я возвращаюсь через много лет.
 Но почему нет никого навстречу?
 Никто не улыбнётся мне: — Привет!
 Я узнаю и лес, и птичьи речи,
 Реки я узнаю осенний свет.
 Но почему нет никого навстречу?
 Никто не скажет с радостью: — Привет!
 Уже я вижу, в избах топят печи —
 Из труб дымки. И не найду ответ:
 Но почему нет никого навстречу?!
 Никто не скажет как родной: — Привет!

НЕСКУЧНО О СЕРЬЁЗНОМ



© Художник Елена Любович

Павел Басинский
(Россия, Москва)

Павел Басинский, писатель и журналист, лауреат премии «Большая книга», автор книг о Льве Толстом, Максиме Горьком и Елизавете Дьяконовой.

Горький и Церковь

В казанском музее А.М.Горького на стене под стеклом висит документ. Это не оригинал, а копия. Все оригиналы важных документов, связанных с именем Горького, хранятся в Архиве Горького в Институте мировой литературы в Москве. Но читать этот документ интереснее в Казани, потому что именно здесь произошло описанное в нём событие. Это протокол за № 427 заседания Казанской духовной консистории о «предании епитимий цехового Александра (переправлено на Алексея. — П.Б.) Максимова Пешкова за покушение на самоубийство».

«1887 года декабря 31 дня. По указу Его Императорского Величества Казанская Духовная Консistorия в следующем составе: члены Консistorии: протоиерей Богородицкого Собора В.Братолюбов, протоиерей Вознесенской церкви Ф.Васильев, священник Богоявленской церкви А.Скворцов и священник Николонизской церкви Н.Варушкин при исполняющем должность секретаря А.Звереве слушали:

1) Присланный при отношении пристава 3 части г. Казани от 16 сего декабря за № 4868-м акт дознания о покушении на самоубийство Нижегородского цехового Алексея Максимова Пешкова, проживавшего по Бассейной улице в доме Степанова. Из акта видно, что Пешков, с целью лишить себя жизни, выстрелил себе в бок из револьвера и для подания медицинской помощи отправлен в земскую больницу, где при нём была найдена написанная им, Пешковым, записка следующего содержания: *«В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно. Нахожусь в здравом уме и полной памяти. А. Пешков. За доставленные хлопоты прошу извинить»*.

2) Отношение смотрителя Казанских земских заведений общественного призрения, от 30 сего декабря за № 723, коим он уведомил Консistorию, на отношение ее от 24 декабря за № 9946, что цеховой Алексей Максимов Пешков из больницы выписан 21 декабря, почти здоровым и ходит в больницу на перевязку. Во время его пребывания в больнице никакого психического расстройства замечено не было.

Закон: 14 правило Святителя Тимофея, архиепископа Александрийского. Приказали: цехового Алексея Максимова Пешкова за покушение

на самоубийство на основ<ании> 14 прав<ила> Св<ятого> Тимофея, арх<иепископа> Александрийского, предать приватному суду его приходского священника, с тем, чтобы он объяснил ему значение и назначение здешней жизни, убедил его на будущее дорожить оною, как величайшим даром Божиим, и вести себя достойно христианского звания, о чём к исполнению и послан указ (на полях пометка: «исполн<ен> 15 янв<аря> № 269»). — П.Б.) благочинному первой половины Казанских городских церквей, протоиерею Петропавловского собора Петру Малову».

Протокол подписан 13 января 1888 года. С этого момента Алексей Пешков вступает с церковью в бурные отношения. Но прежде задумаемся о самом этом документе. На современный взгляд, он производит туманное впечатление. Какой-то осколок непонятной цивилизации. В самом деле: «цеховой Алексей Максимов Пешков», да ещё и не местный, да ещё и не своим прямым делом занимающийся, по каким-то причинам вздумал себя застрелить. Ну и что такого?! Одним «самострельщиком» больше, одним меньше. Сколько народу ежедневно приезжало в Казань и уезжало из нее. Сколько людей умирали, и сколько из них неестественной смертью.

М.Н.Пинегин в книге «Казань в её прошлом и настоящем» приводит статистику самоубийств в Казани и губернии в целом. На 100 самоубийств в губернии 34,5 приходилось на Казань. Это и понятно: город, много пьяниц, босяков, наконец — студентов и вообще «умственной» молодёжи, вроде Латышевой и Пешкова. В период с 1882 по 1888 год, пишет Пинегин, в Казани было: самоубийц — мужчин 77, женщин 54; умерших от пьянства — мужчин 120, женщин 28. Мужчины чаще «опивались», чем кончали с собой (быть может, из-за того же пьянства), женщины — наоборот. Пинегин с грустью называет это «тёмной стороной жизни Казани».

Но при этом только номерных документов по поводу поступка Алёши Пешкова было подписано четыре! Это те, о которых мы знаем. Смотритель земских заведений общественного призрения доносит о Пешкове в духовную консисторию. Немедленно собирается синклит из протоиереев и просто иереев, двух настоятелей и двух просто священников. Они выносят постановление о предании юноши епитимий. Непосредственным вразумлением должен заняться священник его прихода по месту жительства. Если бы земский смотритель со слов врачей сообщил, что Пешков пребывает в психическом расстройстве, дело бы усложнилось. Самоубийство (или его попытка) в состоянии помешательства могло рассматриваться не как духовное преступление, а как несчастный случай. Но Пешков в записке специально указал, что он в «здравом уме».

Можно по-разному отнестись к этому документу. Это — Система. Закон. Правило святого Тимофея, архиепископа Александрийского, о самоубийцах было принято ещё в IV веке и неуклонно исполнялось православной церковью. Самоубийц не хоронили на православных кладбищах,

а на выживших накладывали епитимью. Епитимья не наказание, а воспитание. Она могла выражаться в более продолжительных молитвах, в усиленном посте, в паломничестве... Форму епитимьи и продолжительность её назначал духовник или приходской священник. В данном случае это был казанский священник Петр Малов.

Получив от полиции постановление консистории, Алёша отказался идти на покаяние к Малову. Тогда пригрозили привести его силой, но в результате привели уже не в приходскую церковь, а в Феодоровский монастырь. Это было сделано ввиду особого случая. Ведь духовный преступник упорствовал в своей гордыне, а кроме того, нанёс оскорбление церкви.

Горький в письме к Груздеву вспоминал это так: «Постановление суда Духовной консистории было сообщено мне через полицию, и был указан день, час, когда я должен явиться к протоиерею Малову для того, чтоб выслушать благопоучения, кои он мне благопожелает сделать. Я сказал околотовому надзирателю, что к Малову не пойду, и получил в ответ: “Приведём на веревочке”. Эта угроза несколько рассердила меня, и, будучи в ту пору настроен саркастически, я написал и послал Малову почтой стихи, которые начинались как-то так:

Попу ли рассуждать о пуле?

Через несколько дней студент Дух<овной> академии диакон Карцев сообщил мне, что протопоп стихи мои получил, рассердился и направил их в Дух<овную> консисторию и что, вероятно, мне “попадет за них”. Но — не попало, и лишь весной, в селе Красновидове, урядник предъявил мне бумагу Дух<овной> консистории, в которой значилось, что я отлучён от церкви на семь лет».



Казанский университет

Это письмо написано не ранее 1929 года. Возможно, Горький ещё не знал, что в 1928 году в Казани вышла книга местного краеведа Н.Ф.Калинина «Горький в Казани. Опыт литературно-биографической экскурсии». Но в любом случае, он знал о ней в 1934 году, читал её и потому описал своё отлучение от церкви в письме к тому же Груздеву гораздо более подробно.

«Правильнее, пожалуй, будет сказать, что меня не судили, а только допрашивали, и было это не <в> Духовной консистории (как написал И.А.Груздев. — П.Б.), а в Феодоровском монастыре. Допрашивал иеромонах, «белый» священник, а третий — Гусев, проф<ессор> Казанск<ой> дух<овной> академии. Он молчал, иеромонах сердился, поп уговаривал. Я заявил, чтоб оставили меня в покое, а иначе я повешусь на воротах монастырской ограды».

Отсюда становится более понятным довольно тёмный момент в биографии Пешкова, его отлучение от церкви. Как громко звучит: отлучение от церкви! На семь лет! Впрочем, в том же письме к Груздеву Горький пишет: «...в 96 г. протоиерей Самар<ского> собора Лаврский, — “друг Добролюбова”, называл он себя, — сообщил мне, пред тем, как венчать с Е<катериной> П<авловной>, что срок отлучения давно истёк, ибо отлучён я был на четыре года».

Но все равно. Отлучён! Раньше Толстого!

Илья Груздев в книге «Горький и его время» иронизирует над профессором Духовной академии Гусевым: «Какого рода был этот профессор, можно судить по тем брошюрам, которыми он наводнял Казань: “Необходимость внешнего Богопочтения”, “О клятве и присяге”, “Религиозность — опора нравственности” и т.п.».

Александр Фёдорович Гусев служил профессором апологетики христианства в Духовной академии и был автором множества книг и статей: «Дж.Ст.Милль как моралист» (1875), «О Конте» (1875), «Христианство в его отношении к философии и науке» (1885), «Необходимость внешнего благочестия (против Л.Н.Толстого)» (1890), «Л.Н.Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера» (1886–1890), «Нравственный идеал буддизма в отношении к христианству» (1874), «Нравственность как условие истинной цивилизации и специальный предмет науки (разбор теории Бокля)» (1874), «Зависимость морали от религиозной или философской метафизики» (1886) и др.

Следовательно, Пешкова, сироту без определенного места жительства, нахамившего (увы, это так!) в не очень остроумной форме пожилому протоиерею, допрашивал не последний в городе человек.

Что касается работы А.Ф.Гусева о «внешнем благочестии», направленной против Л.Н.Толстого, это было действительно не лучшее из его сочинений. Однако необходимость наводить такими брошюрами Казань, очевидно, была. И тому свидетель сам Горький. Именно он в «Моих

университетах» вспоминает о появлении в Казани «толстовца», который произвёл на Пешкова очень плохое впечатление.

В Феодоровском монастыре Пешкова не допрашивали, а уговаривали раскаяться, принести извинения протоиерею и принять епитимью. Алексей упорствовал, загоня всех в тупик. В сущности, за написанные стихи он мог подлежать и гражданскому наказанию, вплоть до телесного. Тем более что он уже был под подозрением полиции.

Угроза повеситься в монастырской ограде стала последней каплей в чаше терпения духовных лиц. Та мера наказания, которую избрали они, для Алексея была пустяком. На полученную уже в Красновидове бумагу об «отлучении» Пешков откликнулся ехидными стихами:

Только я было избавился от бед,
Как от церкви отлучили на семь лет!
Отлучение, положим, не беда,
Ну, а все-таки обидно, господа!
В лоне церкви много всякого зверья,
Почему же оказался лишним я?

А теперь представьте огромный полиэтничный город. И вот в этой массе людей точно Божий глаз обращается на юного Пешкова. Какая вокруг него свистопляска! Газета «Волжский вестник» помещает об этом сообщение:

«Покушение на самоубийство. 12 декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной улице, на берегу реки Казанки, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков 32 лет (газетчик переврал, Алексею было лишь 19 лет. — П.Б.) выстрелил из револьвера в левый бок» и т.д. Задействованы журналисты, доктора, земский смотритель, протоиереи, священники, профессор Духовной академии, монахи. А до этого ещё и сторож-татарин, пристав, околоточный. Секретари, написавшие все эти бумаги.

До какой же степени ценилась единичная жизнь и душа человеческая в России в эпоху «свинцовых мерзостей жизни»! Насколько внимательной к личности была эта Система. Да, громоздкая, грубоватая. Да, не учитывавшая, что только что отошедшего от шока молодого человека нельзя вести в церковь «на верёвочке». Но это была Система, в которой каждый человек был ценен.

Сегодня самоубийцу отвезут в морг, и никто в городе об этом не узнает.

Из «Практического руководства при отправлении приходских треб» священника отца Н.Сильченкова читаем «Правило о епитимий»: «Все люди светского звания, присуждаемые к церковному покаянию, проходят сие покаяние под надзором духовных их отцов, исключая тех епитимийцев, прохождение которыми епитимий на месте оказалось безуспешным и которые посему подлежат заключению в монастыри».

Вот о чём Пешкова упрашивали в монастыре. Понести монастырское покаяние. Искупить двойной грех: попытку наложения на себя рук и не-



Молодой Горький. 1898-99 гг.

приличный поступок в отношении священника. Вот почему он пригрозил им, что повесится в ограде монастыря. Если они его запрут.

Пешков отделался малым из возможных наказаний. Скорее всего, его отлучили от церкви действительно на четыре года, как сказал ему об этом при его венчании с Е.П.Волжиной самарский батюшка. Согласно «Правилам о епитимий», это церковное наказание назначается «отступникам от веры, судя по обстоятельствам, побудившим их на то», на срок от четырёх лет «до самой смерти». Все гражданские права у Пешкова сохранялись. Через восемь лет, венчаясь в самарском храме с Екатериной Павловной

Волжиной, он формально вернулся в лоно православной церкви.

Но только формально. В 1888 году будущий великий писатель сделал окончательный выбор. Отныне он жил вне церковных стен. Это было его самовольное отлучение — навсегда. Что это означало в духовном плане? Об этом пишет священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий, в книге «Об анафеме, или церковном отлучении»: «Внутренняя сущность последнего (отлучения. — П.Б.) состоит в том, что оно подвергает грешника, и без того разобщённого с Богом, ещё большей опасности и к одному его несчастью прилагает новое несчастье. Ибо оно лишает человека той помощи и благодати, которые Церковь предлагает всем своим собратям. Оно отнимает у него те блага и преимущества, которые приобретены им в Таинстве св. Крещения. Оно совсем отсекает его от церковного организма. Для отлученного чужды и недействительны уже заслуги и ходатайства святых, молитвы и добрые дела верующих... Он исключительно предоставлен самому себе и, лишённый благодатных средств, всегда присущих Церкви, без опоры и помощи, без защиты и обороны, предан во власть лукавого. Таково по своему свойству наказание отлучения, наказание поистине тяжкое и страшное. Будучи наложено на земле, оно не слагается и на небе; начавшись во времени, оно продолжается вечно».

«Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротой куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — зачем он существует? — он мужественно движется — вперёд! И — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба» («Человек»).

В 1888 году Алексей Пешков сделал свой выбор в пользу одиночества и трагедии. А русская православная церковь лишилась талантливого мо-

лодого брата, будущего писателя, «властителя дум» и строителя новой культуры. И в этом была её драма.

Не об этом ли думал профессор Казанской духовной академии Гусев, когда во время допроса он «молчал»?

Горький и чёрт

Был ли Горький верующим человеком? Очень трудно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, он не был атеистом в буквальном смысле. Вопрос о Боге страшно его волновал и был едва ли не главным пунктом его протестного отношения к миру. «Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться...» Эта строка из несохранившейся поэмы молодого Горького «Песнь старого дуба» говорит о том, что его протест распространялся на весь мир как Божье творение.

Но и верующим в Бога Горький себя не считал. Зато можно без тени сомнения сказать: у Горького были какие-то особенные, очень интимные отношения с чёртом.

Многие мемуаристы свидетельствуют, что на протяжении всей жизни Горький постоянно чертыхался. Понятие «чёрт» имело у него множество оттенков, но чаще они были ласкательные. «Черти лысые», «черти драповые», «черти вы эдакие», «чёрт знает как здорово» — обычный способ употребления Горьким слова «чёрт».

Языческое влияние бабушки оказало на него гораздо большее влияние, чем суровое православие дедушки. Горький не был христианином и уж точно не был православным. Но не был он и язычником в точном значении этого слова. Просто всё языческое неизменно притягивало его внимание. Это было характерно для эпохи «рубежа веков».

Вот только один эпизод из последних лет его жизни. С мая 1928 года в семью Горького стала вхожа удивительно красивая, с роскошными длинными волосами и раскосыми глазами, студентка Коммунистического университета трудящихся Востока (сокращенно КУТВ) Алма Кусургашева. Алма происходила из малого алтайского народа — шорцев. Её предки были шаманами.

«Она родилась в год Огненной Лошади, — пишет о ней её дочь Айна Погожева, — и обладала всеми чертами этого необузданного животного, от дикой красоты и порывистости до косящего в ярости глаза».

Стареющего Горького увлекла эта девушка. Он много спрашивал её о шаманизме и проявлял в этом немалую осведомлённость. В последний год жизни Горького Алма гостила у него в Тессели. Рано утром с «тозовкой» вышла в парк, чтобы подстрелить ворона. У Кусургашевой был значок «Ворошиловский стрелок», но ей не верили, что она метко стреляет. Неожиданно возле неё оказался Алексей Максимович. Он взял её под локоть и сказал: «Не надо этого ворона убивать. Он летал над дачей в год

смерти Максима (погибший сын Горького. — П.Б.)).

Кусургашева умирала в возрасте девяноста четырех лет и она была обездвижена. Накануне смерти она, по свидетельству дочери, «сверхъестественным усилием попыталась приподняться, протянула руки и, обращаясь в пространство, чётко и раздельно произнесла: “А-лек-сей Макси-мо-вич!”» Это были её последние слова.

Два ранних рассказа Горького называются «О чёрте» и «Ещё о чёрте». В них чёрт буквально является писателю. Рассказы носят скорее фельетонный характер, но названия их говорят сами за себя. Как и имя главного персонажа пьесы «На дне» Сатина (Сатана). Как и то, что в предсмертной записке Пешков просил его «взрезать» и обнаружить там чёрта.

В книге «Заметки из дневника» Горький рассказывает о встрече с неким колдуном-горбуном, который представлял себе весь мир состоящим из чертей — как из атомов.

«— Да, да, черти — не шутка... Такая же действительность, как люди, тараканы, микробы. Черти бывают разных форм и величин...

— Вы — серьёзно?

Он не ответил, только качнул головою, как бы стукнув лбом по невидимому, беззвучному, но твёрдому. И, глядя в огонь, тихонько продолжал:

— Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, двигаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением скуки. От них исходит кислый запах и на душе делается сумрачно, лениво. Все желания человека враждебны им, все...

“Шутка?” — подумал я. Но если он шутил, то — изумительно, как тонкий артист. Глаза его мерцали жутковато, костлявое лицо заострилось. Он отгребал угли концом палки и лёгкими ударами дробил их, превращая в пучки искр.

— Черти голландские — маленькие существа цвета охры, круглые, как мячи, и лоснятся. Головки у них сморщены, как зерно перца, лапки длинные, тонкие, точно нитки, пальцы соединены перепонкой и на конце каждого красный крючок. Они подсказывают странное: благодаря им человек может сказать губернатору — “дурак!”, изнасиловать свою дочь, закурить папиросу в церкви, да, да! Это — черти неосмысленного буйства...

Черти клетчатые — хаос разнообразно кривых линий; они судорожно и непрерывно двигаются в воздухе, образуя странные, ими же тотчас разрушаемые узоры, отношения, связи. Они страшно утомляют зрение. Это похоже на зарево. Их назначение — пресекать пути человека, куда бы он ни шёл... куда бы ни шёл...

Драповые черти напоминают формой своей гвозди с раздвоенным острием. Они в черных шляпах, лица у них зеленоватые и распространяют дымный фосфорический свет. Они двигаются прыжками, напоминая

ход шахматного коня. В мозгу человека они зажигают синие огни безумства. Это — друзья пьяниц.

Горбун говорил всё тише и так, как будто затверженный урок. Жадно слушая, я недоумевал, что это: болтовня шарлатана или бред безумного?

— Страшны черти колокольного звона. Они — крылаты, это единственные крылатые среди легионов чертей. Они влекут к распутству и даже внешне напоминают женский орган. Они мелькают, как ласточки, и, пронизывая человека, обжигают его любострастием. Живут они, должно быть, на колокольнях, потому что особенно яростно преследуют человека под звон колоколов.

Но ещё страшнее черти лунных ночей. Это — пузыри. В каждой точке окружности каждого из них непрерывно возникает, исчезает одно и то же лицо, прозрачно-голубоватое, очень печальное, с вопросительными знаками на месте бровей и круглыми глазами без зрачков. Они двигаются только по вертикали, вверх и вниз, вверх и вниз, и внушают человеку неотвязную мысль о его вечном одиночестве. Они внушают: на земле, среди людей, я живу только ещё в предчувствии одиночества. Совершенное же одиночество наступит для меня после смерти, когда мой дух унесётся в беспредельность вселенной и там, навсегда неподвижно прикованный к одной точке её, ничего, кроме пустоты, не видя, будет навеки осуждён смотреть в самого себя, вспоминая свою земную жизнь до ничтожных мелочей. Тысячелетия — только это одно: всегда жить воспоминаниями о печальной глупости земной жизни. И неподвижность. Пустота...

Прошла минута, две. Было очень странно. Я спросил:

— Вы серьёзно верите...

Он не дал мне кончить, крикнув звонко:

— Пошёл прочь!»

Насколько правдива эта история? В цикле очерков «По Руси», написанном за десять с лишним лет до «Заметок из дневника», Горький не вспомнил об этом горбуне-колдуне, описывая тот же период своей скитальческой жизни. Память Горького была прихотливой. Примерно в это же время, когда писались очерки «По Руси», в повести «Детство» Горький забавно описывает чертей, которых видела его бабушка. Эти симпатичные чертенята появляются в рассказе бабушки Акулины:

«— Иду как-то Великом постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит чёрный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: “Да воскреснет Бог и расточатся врази его”, — говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, — расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь.

Я смеюсь, представляя, как чёрт летит кувырком с крыши, и она тоже смеётся, говоря:

— Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зелёные, чёрные, как тараканы. Я — к двери, — нет ходу; увязла среди бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапках все; кружатся, озоруют, зубёнки мышинные скалят, глазишки-то зелёные, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячьи, — ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя, — свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!»

Бабушка, с ее «большими светящимися» «зелеными» глазами, подозрительно часто встречалась с нечистой силой. И хотя она прогоняла её самой правильной для подобных случаев молитвой, создаётся впечатление, что дед недаром называл её ведьмой. Вот и ещё случай её встречи с нечистым:

«— А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загибает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчит, и породный такой чёрт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти, свистят, кричат, колпаками машут, — да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они — люди, проклятые отцами-матерями; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела».

У многих русских писателей были свои черти. У Пушкина это водяные, обманутые Балдой, метельные бесы, Мефистофель, искушающий Фауста. У Гоголя, по мнению Набокова, чёрт всегда эдакий «немец», «иностранец», вертлявый, смазливый и вопиюще контрастирующий с широтой славянской природы. У Достоевского чёрт — философ, умник. Какой же чёрт был у Горького?

Прежде всего он многолик. Это и чёрт из бабушкиных быличек, то есть чёрт в народном представлении. Скорее всего, именно его поминал к месту и не к месту Горький, когда чертыхался. Это и чёрт-умник, который сидел в Алексее в Казани и довёл его до попытки наложить на себя руки. Упоминание в предсмертной записке имени Гейне придаёт этому чёрту «немецкий», «иностранный» характер.

Черти постоянно мерещились Горькому в последние годы жизни. Вячеслав Иванов, который тогда был мальчиком, вспоминает, что однажды послал с родителями Горькому свой рисунок: собачка на цепи. Горький

принял её за чёрта со связкой бубликов. Ему очень понравился рисунок Иванова.

Впрочем, есть и другая версия отношений Горького с нечистой силой. Принадлежит она писателю-эмигранту И.Д.Сургучёву (1881–1956), который знал Горького в каприйский период.

Сургучёв прямо считал, что Горький продал свою душу дьяволу.

«Я знаю, что много людей будут смеяться над моей наивностью, — писал он в 1955 году в очерке “Горький и дьявол” в газете “Возрождение” (Париж), — но я всё-таки теперь скажу, что путь Горького был страшен. Как Христа в пустыне, дьявол возвёл его на высокую гору и показал ему все царства земные и сказал:

— Поклонись, и я всё дам тебе.

И Горький поклонился.

И ему, среднему в общем писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой, ни Достоевский. У него было всё: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь».

Однако версия Сургучёва не выдерживает критики. В его изображении Горький — это антихрист. Именно антихрист, подменный Христос, должен явиться в мир с помощью дьявола. Тема антихриста была глубоко разработана Достоевским, К.Н.Леонтьевым и В.С.Соловьёвым. Владимир Соловьёв в «Краткой повести об Антихристе» подытожил это направление религиозной мысли. Антихрист — это «лучший из людей». В этом весь парадокс этой страшной фигуры. Он не просто умнее и талантливее всех, но и нравственнее, совестливее. Именно поэтому за ним идут люди всего мира, не догадываясь, что за «лучшим из людей» стоит «враг человеческий». Благодаря антихристу на земле прекращаются войны и религиозные распри. Горький никогда не был «лучшим из людей». Слишком много было у него грехов, а также врагов и завистников. Творчество Горького не приводит мысль к общему знаменателю. Напротив, взрывает ее. Конец Горького — это не поражение «лучшего из людей». Это последние дни и часы несчастного, запутавшегося человека с грешной, но щедрой душой. Такой, какая была у его последнего любимого героя — Егора Булычова. При чем здесь антихрист?

Из книги Павла Басинского: «Горький. Страсти по Максиму». — М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2018

Игорь Вирабов
(Россия, Москва)

Журналист, филолог. Родился 10 февраля 1959 года в городе Баку. Учился на факультете филологии («русский язык и литература») Азербайджанского Госуниверситета, после чего в 1980 году был направлен на работу учителем средней школы в село Сеидбазар Джалилабадского района (рос крупный виноград, недалеко была иранская граница). В 1982 году перебрался в город Курск, уже корреспондентом заводской многотиражки в объединении «Прибор». Четыре года заведовал отделом культурно-массовой работы в областной молодёжной газете «Молодая гвардия». С 1988 по 2006 год - в «Комсомольской правде», собкором по Среднему Поволжью, редактором отдела культуры, заместителем главного редактора. Потом были «Известия», «Российская газета». Сейчас - шеф-редактор еженедельника «Аргументы и факты». В 2015 году в серии «ЖЗЛ» вышла первая его книга «Андрей Вознесенский», вошедшая в число финалистов главной российской литературной премии «Большая книга». Сейчас в той же серии готовится к изданию его книга об Иване Тургеневе.

И если интересно: однажды обнаружил, что стал вдруг дедушкой...

«Венегрут-нави»

отрывок из книги

Катя, ты здесь?

Часть третья. Восемьдесят первый — семьдесят первый

Глава 1. Какую ночь мы бы провели!

Катя? То есть, Клара?

Миловидова? Милич?

Да нет же, нет, это потом, потом.

То, что случилось с ним за несколько лет до последнего дня жизни, казалось, ни на что не похоже.

Вот май тысяча восемьсот восьмидесятого года.

Через несколько дней Тургеневу — на праздник памятника Александру Сергеевичу, его откроют наконец в самой сердцевине Москвы. Праздник, конечно, — но событие, как ожидают, станет не шуточной, а эпохальной схваткой всех литературных партий. За родину, за Пушкина. Кто перетянет одеяло?

Но вот остались считанные дни, а что Иван Сергеевич? Порхает — судя по тому, какие у него сейчас в голове невообразимые картины. Если б можно было заглянуть...

А впрочем, слаонервным лучше не заглядывать.

«Однако, это ни на что не похоже», — Тургенев бешено строчит письмо вдогонку Марии Савиной. Из Спасского в Одессу, девятнадцатого (31) мая 1880-го.

Он рассекает своё Спасское туда-сюда-обратно. С природой, разумеется, беда. Два слова о природе — как без этого? То всё черно и ливень из ведра. И молнии, как перья, торопливо рвут бумагу. А то шелчок — светло, и краски брызгами. И враслопырку светотени. Дорожки ускользают в парк ужами. Захаров пруд шуршит шелками ряски. За яблоневым садом ласковая белая лошадь, как призрак, тычется в плечо: кто тут?

Здесь, в Спасском, родовом гнезде, воздух хмельной. Позже появится поэт Полонский — удивится: нету комаров. Наверное, и комары хмелеют.

О-о-о, но сейчас Иван Сергеевич неудержим, как никогда. Ястреб курочку когтит. Помогай!

Итак, письмо. «С утра до вечера гуляю по парку или сижу на террасе, стараюсь думать — да и думаю — о различных предметах — а там, где-то на дне души, все звучит одна и та же нота. Я воображаю, что я размышляю о Пушкинском празднике — и вдруг замечаю, что мои губы шепчут: “Какую ночь мы бы провели...”»

Смело. Это он девушке, которая младше него на тридцать шесть лет.

«А что было бы потом? А господь ведает!»

Она назвала его «своим грехом». Но он как раз и сожалеет — что не стал им. Ну, целовались — час пути от Мценска до Орла — но это не считается. Мало ли, паровоз трясло, вагон качнуло на стыке.

Впрочем, не будем возводить напраслину. Известно в точности, что это она, актриса Мария Гавриловна Савина, 1854 года рождения (двадцати шести лет отроду), поцеловала писателя Ивана Сергеевича Тургенева, 1818 года рождения (ему шёл шестьдесят второй). Он оказался очень впечатлён. Не стоит даже думать — как ей это удалось. Мария Савина была юна (не то чтобы, но всё-таки), легка, тонка, резва, притом, к несчастью, умна, всем нравилась, и ей при этом нравилось всем нравиться.

Однажды, много лет спустя, она признается в своём женском коварстве. Но речь, конечно же, не про Тургенева. Вокруг неё всегда хватало обольстителей — Тургенев же был божество! Так вот, она, бывало, над ухажёрами подшучивала: «Я задавала себе задачу: во столько-то времени довести такого-то до последней степени. Услыхав признание, я спокойно звонила два раза, и горничная являлась «проводить», не подозревая, что гость уходит не по своей воле».

И даже если в этот раз в вагоне с Савиной была её подруга-компаньонка, — с Тургеневым шутить она не смела. Но он был весь в своих сомнениях — и она тоже сомневалась. Она ведь маленькая — он гора, при этом топчется и ходит вензелями, глазами сверлит. Она благоговела. Хотя умела быть отчаянной. А это слово — «от-ча-ян-на-я» — ему кружило голову.

Проводив от Мценска до Орла проехавшую мимо милую Марию Гавриловну, Тургенев вернулся в Спасское. Он именно что доведён был «до последней степени». Пишет, сам не свой.

«Этот час, проведённый в вагоне, когда я чувствовал себя чуть ли не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампы».

Он озадачен.

«Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство Вы мне внушили. Влюблён ли я в Вас — не знаю. Прежде у меня бывало иначе».

Вот, кажется, не удержался.

«Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию — и к отданию самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне... Я, вероятно, вздор говорю — но я был бы несказанно счастлив, если бы... если бы...»

Слова — будто камешков полон рот. «Отдание самого себя» — это о чём? «Стремление к слиянию». То есть, хотелось бы. Не так чтобы прямо вот так — но всё-таки желательно. Жаль, если всё пропало. Он уже узнал от Савиной о её «женихе», Никите Всеволожском: тот, судя по портретам, лоснился, как крем-брюле, — князь, лейб-гвардеец Конного полка, отец когда-то был в приятелях у Пушкина — выиграл у поэта в карты тысячу, потом в Висбадене проигрался в пух, тогда же и почил, а матушка сбежала, переодевшись мужчиной. Словом, Всеволожский был жених завидный, из сливок общества, аристократов духа (или вроде того).

Тургенев, знавший тысячу таких историй, привыкший относиться к ним с иронией, судачивший о многих в письмах, — тут вдруг замер. Вытянулся в струнку ожидания. Савина держала его в курсе всех своих перипетий с Всеволожским. Она была к тому же, хоть формально, но ещё замужем: её супруг, Николай Славич пошел в актёры (Савин — сценическое имя), будучи изгнанным из флота за растрату казённых денег (тоже проигрался — и родители его прогнали за этот срам). Савина вляпалась в него шестнадцатилетней. Не то чтобы Марии Гавриловне нравилось обманываться — но ей везло на этот счёт. И Всеволожский, сразу скажем, в будущем, став на некоторое время мужем, тоже приготовит ей сюрпризы: тьму долгов, расплачиваться за которые придётся ей.

Тургенев же предупреждал. В том же письме он прямо пишет, о чём ей стоит всё-таки подумать:

«Глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом... Жаль для меня — и осмелюсь прибавить — и для Вас, потому что уверен, что и Вы бы не забыли того счастья, которое дали бы мне».

Крякнув, дописал, что «мысленно целует», — и вдруг на всякий случай: «P.S. Пожалуйста, не смущайтесь за будущее. Такого письма Вы уже больше не получите».

Ну, как же.

Получит.

И всё-таки, что это?

Что это было? Кто эта Савина?

Скажем сразу. Савина — художественное чудо. Актриса.

Не стоило бы голову читателю морочить — если бы история знакомства с ней седобородого литературного тяжеловеса оказалась ничего не значащей интрижкой. Так вышло — всё случилось на излёте его жизни. Конечно, если б Савина не появилась — ему пришлось бы её выдумать. Уже за год до смерти — он ответит Савиной, приславшей весточку из Сивы, пермского имения Всеволожского, в которое она вступит хозяйкой: «Ваше письмо упало на мою серую жизнь, как лепесток розы на поверхность мутного ручья».

Ну что бы было, если бы она не появилась? Мутный ручей без лепестка. Но ведь она — появилась.

Тут нужно по порядку.

А значит — переносимся ещё на год назад, в самое начало тысяча восемьсот семьдесят девятого.

Мария Савина готовила свой бенефис в Александринском театре — трагическую куртизанку Маргариту Готье. Собирались ставить Дюма-сына, «Даму с камелиями». Героиня, предназначенная Савиной, из-за чохотки не переносит запах роз: задыхается. Поэтому — одни бесстрастные камелии. Это, конечно же, совсем не главное в судьбе Маргариты Готье — но в истории Марии Гавриловны розы ещё появятся, и не вдруг.

Не важно, почему, но знак судьбы — Савина вдруг наотрез отказалась от «камелий». Ну не Готье она. Расхотела. В поисках чего-нибудь «литературного» нечаянно «напала на "Месяц в деревне" Тургенева». Чем зацепила её комедия — интересно.

Десятого января 1879 года писатель получил в Париже телеграмму от актрисы из Петербурга — они знакомы не были — с просьбой разрешить необходимые для постановки сокращения в его пьесе. Иван Сергеевич тотчас позволил ей «какие угодно вырезы и урезы» — и просигналил своему «разведчику», верному Топорову: какая-то, мол, Савина (актриса) просит — «не понимаю я, с какой стати ей пришла в голову мысль взять эту невозможную в театральном смысле пьесу!».

У Тургенева была печальная история: в Малом театре до того пытались ставить тот же «Месяц в деревне» — кончилось «торжественным фиаско».

К тому же, Тургеневу давно со всех сторон твердили, что его пьесы не годятся для сцены: в сюжетах маловато драматических поворотов. А то, что происходит в головах у персонажей, все эти тонкости и недомолвки, — зачем же зрителю гадать, додумывать, дочувствовать? Иван Сергеевич не спорил — отчасти из привычного кокетства — и в предисловии к тому же «Месяцу в деревне» (в первой публикации журнала «Современник», в 1854-м) предупреждал, что «это собственно не комедия, а повесть в драматической форме; для сцены она не годится, это ясно».

И всё же. То в Москве — а это в Петербурге.

«Месяц в деревне» часто сравнивали с «Мачехой» Бальзака (Оноре де). Конечно, не случайно. Драма француза вышла на подмостки в 1848 году — как раз тогда же и Тургенев сел за свою комедию. Бальзаковская «Мачеха» успешно шла в театре — «Месяц в деревне» никак. Хотя в сюжетах находили сходство. И там, и тут всё действие закручено вокруг нетерпеливой страсти двух женщин (хозяйки дома и падчерицы/воспитанницы) к тайному избраннику.

У Бальзака всё, как на ладони, выпукло. Есть подкладка политическая — наполеоман с наполеонофобом. Есть детективные завязки — вынюхивает что-то следственная группа с прокурором. Есть буффонада с репликами в зал. В финале юные герои выяснили отношения — падают на сцену не хуже, чем Ромео и Джульетта. А главное, любовная интрига зрителю понятна: тут победительнице — пусть она коварна — обломится кусок наследства. Зритель считать чужие деньги любит — оценит.

А у Тургенева?

Придётся в двух словах сказать о «Месяце в деревне».

Этой симфонии он задал интонацию — и темп.

И прежде, чем нестись за романтическими перелетами писателя, завернём к самой комедии. Что привлекло в ней Савину? Что в пьесе происходит?

* * *

«Месяц» уместается в три летних дня. По сути, простодушный анекдот из жизни дворянской усадьбы. Никто не отравился, никого не пристрелили. Все топчутся и выясняют отношения. Но что за отношения!

За внешней скукой бытия — разряды электрического тока. Не подойдёшь — не тронет. Сунешь пальцы, перекусишь не тот проводок — шибанёт. Тут экзистенция, однако. Всё напряжение — в пересечениях: чем скреплены друг с другом человеческие смыслы.

Действие формально уносило к сороковым годам. Но, в сущности, о вечном — люди не меняются.

Для самого Тургенева — заглянуть в свою старую книгу — как перелистать страницы своей жизни. Что ни лицо, характер, штрих — за каждым спрятан прототип (а часто сразу несколько) и что-нибудь пережитое. Всё тащит его в годы юности — менялись времена, но именно оттуда, из юности, каким-то чудом он умудрялся всякий раз извлечь «современные типы». Или там найти ответ — откуда они вышли. Так, в сущности, и с «Месяцем в деревне».

С чего Тургенев позже всеми силами будет зазывать актрису Савину — не куда-нибудь, а как раз в своё Спасское?

Про «узнаваемые лица». Конечно же, в комедии — не Спасское, но многое похоже. Те же картишки, вист по вечерам. Непременный учитель-

немец. Сосед приехал свататься — обычные дела. Конечно же, мелькает свой домашний доктор — помнится, маменька Варвара Петровна надолго уезжала с таким же за границу. Причём, его, Андрея Евстафьевича (по фамилии Берс), почему-то подозревали — нет, о нём шептались — но нет, об этом позже.

Жеманничает с доктором в комедии Лизавета Богдановна — компаньонка. В Спасском-Лутовинове была Лизавета Сорокина, гувернантка у «воспитанницы» Биби, «приёмной дочери» Вареньки (которую называли Богданович-Лутовиновой, в замужестве она стала Житовой) — опять же волновала маменьку Тургенева, та Ваничке писала: «Лизеточка всё любит мужской пол и хочется ей полизать мужа, да никто не предлагает», — не научит ли Вареньку дурному?

(Заметим, кстати, в этот свой приезд, как раз в семьдесят девятом, Тургенев встретится — впервые после давних ссор вокруг наследства маменьки — с той самой Варенькой, Варварой Житовой. Попросит управляющего выслать ей денег — и вернуть ей вексель, оставшийся в бумагах брата, — то есть, долг «простить»).

Свекровь хозяйки (Анна Семёновна) без зазрения цитирует письма маменьки автора пьесы: «Я мать твоя, Аркаша. Конечно, ты человек уже взрослый, с рассудком; но всё же — я твоя мать. — Великое слово: мать!»

Студент Беляев, переполошивший женщин (учитель на лето хозяйскому сыну), был у Тургенева сначала Колосовым — как и герой его первой повести («Андрея Колосова» написал чуть раньше, в тех же сороковых). Этот студент в комедии, ни в зуб ногой по-французски, перевел роман бессмысленного Поль де Кока «Монфермельская молочница». Тургенев явно намекал в те годы на Белинского: того когда-то исключили из университета, и будущий великий критик-зубодробитель, не зная языка, взялся за «Магдалину» того же Поль де Кока — и перевод его со всеми ляпами был напечатан.

И вот ещё — об этом вряд ли помнил сам Тургенев. В рукописи, на полях, встречается пометка. Два имени, его рукой — «Эмма» и «Herwegh». Случайно, может быть. А впрочем, вряд ли. С немецким поэтом Гервегом и его женой Эммой — молодой писатель был на дружеской ноге. Как раз в том тысяча восемьсот сорок восьмом году, сев за «Месяц в деревне», он наблюдал в Париже, какие сложные геометрические фигуры образуют на его глазах две тесно слившихся семьи — Герценов и Гервегов. Так что — и эти имена здесь неспроста. «Месяц в деревне» в этом смысле — песнь.

Песнь торжествующих высоких отношений.

Помещик Ислаев (у которого в имении всё происходит) пытается Ракитина (друг семьи!): «Ты ведь любишь мою жену? Ну, словом, любишь ли ты мою жену такой любовью, в которой мужу сознаться... трудно?».

Как честный человек, Ракитин рубит: «Да — я люблю твою жену... такой любовью».

Что же Ислаев?

Счастлив.

Потому что — вот что значит настоящий друг. «Мишель, спасибо за откровенность. Ты благородный человек».

Наконец, сама жена Ислаева, Наталья Петровна. Что она? Тургенев-то уверен: вот — центральная фигура. Ему ли этого не знать. Он и Савиной покажет — конечно, позже, — портрет прелестной женщины, которую имел в виду под Натальей Петровной. Савина из деликатности фамилию её в своих воспоминаниях «забудет». Но что она запомнила прекрасно — восторженно круживший вокруг Савиной Тургенев её заверит: «А Ракитин это я. Я всегда в своих романах неудачным любовником изображаю себя».

В чём «неудачливость» Ракитина? Его же отодвинули на время. Увлеклись студентом Беляевым. Наталья Петровна смущённо чертит зонтиком в песке — и злится на Ракитина: измучил словесами о природе. «Берёзы не тают и не падают в обморок, как нервические дамы». Ракитину на это нечего и возразить.

И тут в комедии все женщины начинают вздыхать.

С женщинами так бывает.

Вздыхает Наталья Петровна (ей за тридцать). Ей замечают: «Вы иногда так глубоко вздыхаете... вот как усталый, очень усталый человек вздыхает, которому никак не удастся отдохнуть».

Конечно, отдохнёшь тут.

Вздыхает и свекровь-старушка («Ах, Аркаша, как будто ты не знаешь, о чём я вздыхаю!»). У неё-то глаз-алмаз.

Но самое опасное, вздыхает и воспитанница Верочка — это в её 17 лет. Студент Беляев ей: «Зачем вы вздыхаете?» — «Так. Как небо ясно!» — «Так вы от этого вздыхаете? Вам, может быть, скучно?» — <...> «Я, должно быть, не совсем здорова».

Что нездорова — это очевидно.

У Верочки, казалось автору, роль второстепенная. Даже когда она вдруг лопнула от злости и выдала хозяйке: «Я, Наталья Петровна, для вас не воспитанница, за которой вы наблюдаете (с иронией), как старшая сестра... (Пододвигается к ней) Я для вас соперница».

Девчонка.

Вот же, Наталья Петровна — женщина-магнит. Всё вокруг неё. Автора, Тургенева, гипнотизирует — как и любовника Ракитина. Дрогнул студент — сбежал, но прежде сдался. Муж на всё согласен. Что ещё женщине для счастья?

Хотя с Ракитиным не всё так очевидно. Надо заметить кстати. Ему, в конце концов, его страдания по-своему приятны. Стоило ему приехать — всё тайное вдруг выплыло наружу, при нём всё завертелось и мгновенно разрешилось: все разъезжаются, все проиграли. Но вот же чудо: сам меланхолический Ракитин, уезжая, мужу Ислаевой — дай, мол, знать, когда мне вернуться. То есть, этот «слабовольный» (как и автор) человек

прекрасно знает — куда ж Наталье Петровне без него. Так в чьих руках невидимые ниточки комедии — по сути?

Но!

Но остаётся Верочка.

Тургенев будто бы её не замечал. Или делал вид, что...

* * *

Пятого (17) января 1879 года Мария Савина сыграла Верочку. В премьере Александринского театра. Землетрясение оваций.

Верочка в спектакле оказалась главной. Чистейшей прелести чистейший образец. Что ей интриги пожилой тридцатилетней женщины? Она уходит замуж в знак протеста — за такого же невзрачного, как муж Ислаевой, соседа. У Верочки всё впереди.

В Париж пришло известие о небывалом. Александринка захлебнулась от восторга. Рыдают все — от счастья. Пьеса Тургенева шла на ура. И Савина была прелестна. И время диктовало: верочки идут.

Что поразило очевидцев-зрителей. Как «выбегала она в коротком платьице, кажется с фартучком»! А «эти проблески зарождающегося чувства»! А «опьянение страстью, и перерождение девочки в женщину в один день, после испытанных разочарований»!

Конечно же, Иван Сергеевич был взволнован.

И через месяц с хвостиком он в Петербурге.

Ну да, приехать у него была ещё причина — действительно печальная. Седьмого (19) января старший брат, Николай Сергеевич, — в родном селе Тургенево, недалеко от Спасского. Иван Сергеевич хотел было приехать срочно — но всякий раз, когда он думал «срочно», выходило месяца через два. За это время он успел к Флоберу — не было во Франции души ему роднее старины Гюстава — тот сломал ногу, всё у него пошло кувырком. Так что брата давно похоронили — и теперь Тургенев окунулся в тяжбу с его наследниками: сколько же на самом деле брат ему оставил?

Но всё это сейчас — побоку.

Пятнадцатого (27) марта 1879 года в антракте шедшего в Александринке «Месяца в деревне» распахнулась дверь в гримёрку Марии Савиной — Тургенев налетел на неё всей своей тяжестью бытия. Картинно, может быть, однако искренне — обхватил ручищами милое лицо актрисы, скорей, к окну, на свет, поближе, в дверях столпились — пусть все смотрят, впился в неё (глазами) — ах, у неё упало сердце (как потом призналась): «Верочка... Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на неё внимания, когда писал, — всё дело в Наталье Петровне. Но вы живая Верочка — какой у вас талант!»

Спектакль доиграли на крыльях. Автор кланялся публике из ложи (смущённо). Савина автора — расцеловала.

Тургенев, человек благовоспитанный, умел держать себя в руках. Умел играть. Да что там — и лукавить. Но тут в нём что-то дрогнуло. Что именно — не так уж важно. Дрогнуло.

Утром того же дня, перед спектаклем, он увидел Савину — впервые. Пригласил через посланца Топорова к себе в гостиницу «Европа» на Невский. Расспрашивал. Разглядывал — она потом напишет — «как диковинную "обезьянку"».

Наконец, сравнил её со «знаменитой французской актрисой Деклэ, умершей от чахотки двадцати четырёх лет» («но у неё не было моей непосредственности»). Что любопытно — Савину как раз за «непосредственность и органичность» в театре сравнивали с «легкокрылой богиней водевиля» Варварой Асенковой, звездой Александринки, умершей тоже от чахотки и тоже двадцати четырёх лет. (Савину судьба убережёт, скончается она в 61 год и назовут её ещё «русской Сарой Бернар» — хорошо, Тургенев не услышит: он-то уверен был, что Сара не годится Савиной в подмётки).

Но реверансы реверансами — а Мария Гавриловна сразу показала Ивану Сергеевичу, что не лыком шита. Что-то в его словах её задело — и она ответила. «От меня не ускользнуло его как бы удивление: "Вот, мол, ты какая, русская актриса" — и это меня задело, задело моё национальное чувство, и досадно было за него. <...> Я забыла свою робость, необходимый такт и выпалила монолог против его западничества и в защиту русского искусства, которым он "не интересуется, как забытой им Россией"».

Тургенев, говоря по-русски, обалдел. «Сидел, откинувшись на спинку кресла, с широко открытыми глазами, с которых свалилось пенсне, и беспомощно разводил руками».

Топоров, кстати, был в восторге. Потом он Савиной шепнул: Тургенев потрясён. «Задели вы его упрёком, и очень хорошо сделали».

После чего Тургенев и отправился в театр на премьеру.

Назавтра утром Савиной записка: буду к четырём, «с особенным чувством целую Ваши обе руки».

Шестнадцатого (28) марта они в два голоса, на вечере Литфонда в зале Благородного собрания, читали сцену из тургеневской «Провинциалки» — о любовном омуте ещё одной «воспитанницы», выросшей в хищницу в ещё одном дворянском гнезде. Сцена начиналась репликой, которую произносила Савина: «Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?». Зал долго хлопал. Даже Щедрин и Достоевский, участвовавшие в этом вечере и слушавшие «из оркестра».

За кулисой Федор Михайлович взял Савину за локоток: «У вас каждое слово отточено, как из слоновой кости...».

И не сдержался насчёт Тургенева: «... а старичок-то пришепётывает». Что есть, то есть: Ваничка с детства пришепётывал.

Однако Савина поёжилась. От склок литературных она держалась подале — в театре своего хватает. Да и потом: «Мыслимы ли партии,

когда сходятся такие колоссы, как Достоевский и Тургенев».

Вот с этих дней между Тургеневым и Савиной пошла метель. Не снежная, конечно, и не тополиная — метель из писем.

В ней даже оказалось что-то пушкинское — правда, правда.

Она, как будто неспроста, тянула с Всеволожским.

Иногда казалось даже, что Иван Сергеевич всерьёз...

* * *

В семьдесят девятом Иван Сергеевич уехал в Париж в страшном томлении духа.

В августе 1879-го Топорову: «Она очень мила — и я чувствую к ней искреннее влечение». И, кстати, тут же: думаю, мол, «провести зиму в Петербурге». Но молчок! Главное, чтобы «это по мере возможности осталось тайной для здешних моих друзей». В переводе: для семьи Виардо. Будто боится чего?

В октябре должна родить его любимица Клоди, дочь Полины, — очень может быть, что в этом дело. Как без него — он должен быть рядом, так заведено. Нетрудно проследить по письмам: если его что-то по-настоящему волновало — он писал об этом в каждом письме, буквально всем адресатам, хоть одной строкой. Когда родит Клоди (3 октября — вторую дочку), Тургенев долго и подробно распишет в письмах, как трудны были роды, как пришлось использовать форсепс (щипцы). Что старшенькая дочь Клоди, пятилетняя Жанна, в то же время подхватила скарлатину. Пишет, как дышит, трогательно — всё это его волнует. Но! Тут же (Флоберу в октябре) про то, что «г-н и г-жа Виардо в понедельник вернулись в Париж — а я не двигаюсь с места, словно старая устрица, которая и на солнце не раскрывается».

Что с ним происходило? С этим чувством одинокой и ненужной устрицы он прожил чуть не все семидесятые. Или скажем так: в семидесятые он чаще, чем обычно, впадал в такое состояние.

В августе семьдесят девятого он уверяет Мопассана и Флобера, что хочет поскорей в Россию — «подышать родным воздухом». Всё, решено, — «это решение вывело меня из того нервного раздражения, от которого <...> я изнемогал».

Не просто собирается — а будто планы строит. Чтоб только не узнали «здешние друзья». Конечно же, Тургенев переменчив, планы меняет по сто раз на дню. И всё же.

Рефреном Савиной: «протяните мне Ваши обе хорошенькие ручки, чтобы я поцеловал их с тем нежным (полуотечески, полу... другим) чувством». Это в октябре. Обещает быть через месяц.

Конечно же, «полудругое чувство» впечатляет. Какая дама сердца устоит. И всё же, всё же.

В ноябре — опять явно секретно — из Буживаля Павлу Анненкову:

«Здесь я — пока — один; все мои переехали в Париж, куда я перееду дней через пять. Я желал этого уединения — чтобы подготовиться к более продолжительной разлуке. В мои года смешно смешно говорить о новом повороте в жизни (нашему брату, собственно, один поворот предстоит: в могилу) — но что перемена будет — это несомненно».

Ага. То есть, Тургенев настроен на какой-то «новый поворот в жизни» — прямо так и говорит. О чём он?

«Я еду в Россию, не зная нисколько, когда я оттуда вернусь. Причины, побуждающие меня к этому поступку, разнообразны: и личные... и другие. Об этом мы поговорим при личном свидании».

Причём, опять — о «принятом решении».

«Не скажу, чтобы принятое мною решение было легко: оно даже очень тяжело... и я даже нахожусь в некоторой меланхолии».

Меланхолически он встретил Новый год — в Париже.

Двадцать восьмого декабря (9 января) — Льву Толстому. «Точно, тяжёлые и тёмные времена переживает теперь Россия...»

В минувшем ноябре приговорили «народовольца» Мирского (о нём мы ещё вспомним — колоритный персонаж). Тогда же взорван поезд императора. Три группы (две из них под руководством девушек) охотились — Софье Перовской удалось: правда, царя там не было и, к счастью, обошлось без жертв. Все эти новости имел в виду Тургенев в письме Льву Николаевичу. Видимо, это и есть «другие» причины, заставлявшие подумать о возвращении в Россию.

«...но именно теперь-то и совестно жить чужаком. Это чувство во мне всё становится сильнее и сильнее — и я в первый раз еду на родину, не размышляя вовсе о том, когда я сюда вернусь — да и не желаю скоро вернуться».

Толстой, недавно помилившийся с Тургеневым, относился к его душевнейшим порывам с осторожностью. Тем более, необъяснимый Иван Сергеевич ему и не обещает из Парижа «насовсем» — а просто он больше не поедет туда... «скоро».

Но — мало ли.

Словом, первого (13) февраля 1880-го Иван Сергеевич, как штык — был в Петербурге.

* * *

Приехав, ровно через час, — записку «милой Марье Гавриловне»: сам не могу («припадок подагры в ногу — правда, слабый») — но жду всенепременно поскорей.

За первые же две недели — двенадцать писем. В каждом целует «хорошенькие ручки». В феврале знакомит Савину со своей давней и хорошей приятельницей Александрой Мухортовой (соседкой по Спасскому): Мухортовой расхваливает Савину, а Савиной Мухортову. Тридцатого

марта (11 апреля) сообщает о своём «горе» — не сможет отобедать у Савиной. Но передаёт с Топоровым подарок ко дню рождения: маленький золотой браслет с гравировкой: «М.Г. Савиной от И.С. Тургенева».

Ближе к маю — температура, близкая к кипению. Уже не про «полудругое» чувство — а про любовь.

Двадцать четвертого апреля (6 мая), из Москвы: «Вчера, поздно вечером, получил я Ваши два письма вдруг — и порадовался (только не тому, что Вы не совсем здоровы) — я почувствовал, как я искренне полюбил Вас. Я почувствовал (и не в первый раз после моего отъезда из С.-Петербурга) — что Вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь».

Зовёт к себе в Спасское. Или хотя бы просит сообщить, каким проедет поездом (Савина едет выступать в Одессу). Целует (руку) «мысленно — и не раз». Надеется, что в Мценске поцелует «въявь».

В тот же день ещё одно письмо — «вот, старый, как расписался!». Уточняет расписание поездов. «То-то я нацелуюсь Ваших прелестных рук».

Савина в сомнениях. Ехать со спутницами или без.

Двадцать седьмого апреля (9 мая) от Тургенева: «От Ваших слов: “Очень может быть, что я отправлю моих спутниц по Варшавской дороге — а сама поеду на Москву” — у меня воображение разыгралось — и я представил себе такие два дня в моём Спасском, какие для меня уж, конечно, не повторятся».

Целует руки «очень нежно и очень долго». И коротко и ясно: «Я люблю Вас».

Савина в Спасское не заехала — проехала мимо, причём, с «Раисой Александровной». Тургенев проводил от Мценска до Орла. Вслед полетели письма — одно другого жарче.

Семнадцатого (29) мая, из Спасского: «Если б Вы были здесь, мы бы теперь сидели с Вами и с Раисой Александровной на террасе — любовались бы видом — я бы говорил о разных посторонних предметах — а сам бы мысленно в порыве благодарности постоянно целовал бы Ваши ножки. Так, по крайней мере, я мечтал... но мечты так и остались мечтами».

Вспомнил про волнующее обстоятельство. Про жениха. Всеволожского. Иван Сергеевич торопится и чувствовать спешит. «Я не успел поговорить с Вами о том “скверном, что должно иметь влияние на Вашу будущность”... Догадываюсь, но желал бы знать нечто более определенное».

Зачем это ему? Он хочет — чего он хочет?

И опять про поезд.

«Вы были у открытого окна — я стоял перед Вами молча — и произнёс слово “отчаянная”... Вы его применили к себе — а у меня в голове было совсем другое... Меня подмывала уж точно отчаянная мысль... схватить Вас и унести в вокзал... <...> Но благоразумие — к сожалению

— восторжествовало — а тут и звонок раздался — и “ciao!” — как говорят итальянцы. Но представьте себе, что было бы в журналах!! Отсюда вижу корреспонденцию, озаглавленную “Скандал в Орловском вокзале”: “Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие: писатель Т. (а ещё старик!), провожавший известную артистку С., ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил г-жу Савину через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки” и т.д. и т.д. Каков гром и треск по всей России! А между тем — это висело на волоске...»

Наверное, и правда, если бы Иван Сергеевич решил вытаскивать Марию Гавриловну в окно вагона — был бы шум и треск. Скандальные журналы, кстати, и без того написали «утку» о прибытии писателя в Одессу. Но — благоразумие.

Хотя на этот раз Тургенев целует уже не только ручки. Он теперь неукротим. «Целую Ваши ручки, ножки, всё, что Вы мне позволите поцеловать... и даже то, что не позволите».

(Надеюсь, это между нами — «con tutta liberta? Т.е. кроме Вас, никто читать этого не будет? Я для этого и припечатываю это письмо пушкинским кольцом-талисманом»).

Всё-таки очень он литературный, Иван Сергеевич. И пушкинское кольцо тут неспроста — конечно же, Тургенев перечитывал и прекрасно помнил Пушкина. Он слишком много знал. Только недавно, в январе семьдесят восьмого, «Вестник Европы» напечатал доселе неизвестную (и наделавшую шума) переписку поэта с женой — её передала Тургеневу младшая дочь поэта, Наталья Александровна, графиня Меренберг. Всё это к чему?

К тому, что по случайному, конечно же, стечению обстоятельств, Мария Гавриловна Савина зарифмовалась с героиней пушкинской повести «Метель». Тургенев точно повторяет жест героини Пушкина, приложившись к письму своим «пушкинским перстнем». Мария Гавриловна в «Метели», «запечатав оба письма (возлюбленному — И.В.) тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, <...> бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно её пробуждали».

В «Метели» ведь жених волшебным образом заблудился в пурге и исчез — так, может, и теперь... Ну что мешает Всеволожскому исчезнуть?

В «Метели» чудом вдруг незнакомец Бурмин становится случайным женихом, а много лет спустя они с Марьей Гавриловной, влюбившись друг в друга, вдруг узнают, что давно уже венчаны, как муж и жена. То есть — почему же и Тургеневу не вообразить себя в таком же вот чудесном образе? Ну будто бы.

Две Марьи Гавриловны, литературная и эта вот, живая, — как сёстры-близнецы. Всё как по-писаному, как по пушкинскому плану. Разве что Савина не так решительна — она в сомнениях. Но он!

В «Метели» Пушкина:

«Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию.

<...> Бурмин впал в такую задумчивость и чёрные глаза его с таким огнём останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка.

<...> «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову ещё ниже.)

<...> — Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...»

Ах, если бы. Если б вместо Бурмина можно было вставить Тургенева.

Тургенев ждал теперь её в Париже. Она — после всего, что между ними было! — приехала, но с Всеволожским. Долго не появлялась. Топоров дал знать Тургеневу. Иван Сергеевич обиженно ответил: всё это в ней «из неистребимой склонности к сочинительству, свойственной — во-1-х) всем русским — а во 2-х) всем женщинам. Впрочем, мне это совершенно все равно».

Нет, не успокоился. Следом — Топорову ещё: «прошу Вас не кланяться ей от меня. <...> она перестала существовать для меня».

В Париже они всё-таки увиделись — Савина не думала расставаться с Тургеневым. Но гадкий Всеволожский! — по тому, как она подала ему руку, Иван Сергеевич «очень хорошо понял, что это если не размолвка, то разлука». Увидимся ли ещё? «Во всяком случае — мы увидимся не как прежние мы».

И больше — никаких ножек. «Дружески жму Вашу руку».

Хотя...

* * *

Хотя, э, нет, история совсем не кончилась.

Вялотекущая переписка перетекла в тысяча восемьсот восемьдесят первый год. Что уж там написала Савина в феврале — но в конце её письма чёрным по белому: «Крепко целую Вас».

Иван Сергеевич почувствовал, как сердце бьётся в упоении.

И всё воскресло вновь — как у поэта.

«Вы мне говорите в конце Вашего письма: "Крепко целую Вас". Как? Так, как тогда, в эту июньскую (ну немного перепутал — дело было в конце мая — И.В.) ночь, в вагоне железной дороги? Этих поцелуев я — сто лет проживу — не забуду. Смею думать, это-то и значит: крепко.

Милая Марья Гавриловна, я Вас очень люблю — гораздо больше, чем бы следовало — но я в этом не виноват».

Писал он из Парижа, с первого по третье (13-15) марта 81-го. Прервался — когда «пришло это страшное известие из Петербурга — и тут уже было не до того». «Народовольцам» удалось убить «царя-освободителя». Об этом с Савиной распространяться он не стал. Она и так недавно побывала на похоронах писателя Фёдора Достоевского и актрисы Елизаветы Левкеевой («С Вашими нервами нужна крайняя осторожность» — что ж это не оказалось рядом «хорошего приятеля, чтобы помешать Вам доводить себя до изнеможения?») Нет, кто о чём — он о своём.

Наверняка — осенило Тургенева — теперь театры закроют месяца на три. А значит — Савина просто обязана приехать к нему в Спасское. Там «и климат хороший — и сад прекрасный — и дом отделан заново — и повар отличный — и я Вас на руках носить буду... (очень приятная мысль). Так как у меня семейство Полонских гостить будет — то и приличие будет соблюдено. Таким образом, быть может, исполнится то, о чём я мечтал в прошлом году».

И снова появились ножки.

«А уж как бы я Вам в ножки поклонился — да кстати поцеловал бы их».

В апреле Марианна Виардо выходит замуж, а свадьба без Тургенева — это деньги на ветер, — сразу после этого он и приедет. Но главный вопрос, который его по-настоящему волнует и на который Савина должна ответить:

«... я вижу, что Ваш развод подвигается... Ведь Вы для чего это делаете, чтобы выйти замуж за г-на Всеволожского? Будьте так любезны — ответьте мне и на это. Или, может быть, Вам только хочется получить свободу?»

Чего он от неё хотел — загадка.

Ну вот а если бы — то что?

Так или иначе, лето подкатило. Как вторая или третья молодость — лето, но осеннее. А с ним и дорога...

Глава 2. Дорогая Марья Гавриловна

К лету восемьдесят первого Тургенев стал готовиться с зимы. Всё распланировал, будто готовил что-то важное.

Ну да, и Савину держал в уме.

Но главное — воображаемое лето развернулось в панорамную картину воображаемого возвращения в то самое воображаемое Спасское, в которое он вечно возвращался. В воспоминаниях, фантазиях писателя и снах. Управляющему Щепкину предписано реконструировать саму идею «гнезда» Тургенева — как дом несбыточной мечты. Сгустить разжиженную атмосферу. Полы, перегородки в доме, и насчёт хорошей ванны, и пройтись по парку, и купальню у пруда, «порядочный рессорный экипаж — вроде 4-местной коляски» и конюшню привести в порядок. «Но вот еще во-

прос: насчет вина? Полагаю, что это можно получить в Мценске. Собственно мне нужно только порядочное красное вино, чтобы пить с водою, да несколько бутылок хорошего марсала (сицилийского сладкого вина — И.В.) или хересу». Словом, чтоб к Николиному дню, девятого мая, было всё уютно и торжественно. Как когда-то было. А там...

Там видно будет.

В феврале Яков Полонский вдруг узнал, что на всё лето со всем семейством едет в Спасское-Лутовиново. Не то чтобы Яков Петрович или Жозефина Антоновна пытались — но попробуй отвертись. «Отныне я считаю тебя и твоих своими гостями». Путь к отступлению отрезан.

Иван Сергеевич не церемонится — как с близкими друзьями. «Если ты не можешь по службе отлучиться — то пусть твоя жена с детьми приедет; воздух там отличный, сад огромный, сообщение самое удобное!»

Как же не ехать — когда Иван Сергеевич «велел отделать заново свой дом в деревне» — специально для того, чтобы с Полонскими «провести там целое лето».

Но почему Полонский — почему именно он? Дело, конечно же, не в том, что у него жена красавица — хотя, конечно, с ней лето виделось приятнее, чем без неё. Притом она умна, хозяйственна (что пригодится) и с обожанием относится к писателю Тургеневу. Но всё это виньетки и оборочки. Тургенева роднило с Яковым Петровичем другое. Они ровесники (Полонский только на год младше), сто лет знакомы. Когда Тургенев в Петербурге вымучил свой выпускной (пересдавал, чтоб получить с дипломом вместо низшей степени «действительного студента» — полноценного «кандидата») — Полонский только собирался поступать в Московский университет (где его ждали муки с «римским правом»). И всё же оба выросли оттуда, из тридцатых и сороковых годов своего века.

Оба они из тех времён...

* * *

Оба они из тех времён, летучих 1830-40-х, когда:

а) мужские моды тихо рифмовались с женским силуэтом — затянутые талии, покатые плечи, расширенные сверху рукава (похоже на рукав «жиги» — «овечий окорок» — у дам);

б) умы по-настоящему смущало мужество Авроры Дюдеван: в самой ходовой петербургской литгазете — «Литературных прибавлениях к "Русскому инвалиду"» — писали, что писательница под неженским именем Жорж Санд ходит по Парижу в «брюках из красного кашемира; широко халате из темного бархата и вышитой золотом греческой феске»;

в) такая гендерная путаница силуэтов будто нарочно возбуждала мысли о скромном. Заманчиво — но это ли не «страшная эпоха»? Так и назвал те времена вампир студенческих кружков, идеалист Николай Станкевич. Он же «болезненный и тихий (как скажет Герцен) поэт и мечтатель», проживший только-то 27 лет. В январе тридцать седьмого года,

как раз когда стрелялся ревнивец и невольник чести Пушкин, Станкевич (вовсе не имея в виду Александра Сергеевича) писал сокурснику-приятелю Януарию Неверову о наболевшем:

«Мы поклонялись чувственности — и в гадком виде. Не знаю, как для тебя — для меня эта эпоха теперь страшна. Если тогда мы не чувствовали большого неудовольствия, то это потому, что гадкие твари, которые служили нам средством к удовлетворению, невольно теряли в глазах наших свой позорный характер <...> Что ж, если бы тебе пришлось связать судьбу свою с пошлым существом? У тебя высокие идеи о жизни, святые понятия о любви — и что ж? Ты проводишь ночи с животным, которое потом назовёшь матерью детей своих? И чему ты научишь детей? Как станешь им говорить о любви, которая есть венец жизни?».

Короче говоря, плоть — профанация, и без любви, исполненной метафизического смысла, «вы оба унижаетесь до животных».

Это практически был катехизис идеалиста. Нешуточное дело. Ничуть не менее серьёзное, чем гоголевский нос, сбежавший от майора Ковалёва;

г) немецкое «философи» (philosophie) в те времена стало таким же непременным в гардеробе светского салона, как модный редингот (узкий, длиннополый сюртук или «пальто для скачек» — riding coat). Монго таинственного Лермонтова лез в окно к танцорке — «и на аршин предлинный свой/ людскую честь и совесть мерил».

Воздух сгустился, как кисель. Хорошим тоном было поболтать (конечно, между нами, антр ну) о покорении соседских жён (лет тридцати, как правило) — и между делом съездив на дуэль — перескочить на разговор о гегелевском «абсолюте» (этот призрак воплощал в себе единство мирового разума, абсолютной идеи и мирового духа).

Всё тот же лермонтовский «Монго» — «И, говоря о том о сем, / Копаюсь, будто бы случайно / Под юбку лезет, жмет корсет, / И ловит то, что было тайной, / Увы, для нас в шестнадцать лет!».

Да что там — странности любви сбивали с толку даже учредителя литературных мод и направлений Виссариона Белинского. В тридцать девятом «Наблюдатель» напечатал его нескончаемую драму в пяти действиях «Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь». Герой его, действительно пятидесяти лет, пылает страстью к своей восемнадцатилетней воспитаннице (очевидно, дочери сводного брата) — и та легко отвечает взаимностью, готова замуж, непрерывно кидается в объятья дядюшке: «дайте пройти только первому времени смущения... <...> да неужели вы думаете, что я <...> не буду в состоянии заплатить вам равною любовью?» Но тут уж выясняется, что дядюшка пуглив (ну как бы вдруг проснулось благочестие: «загубить в цвету её жизнь!») — сбегает, передав «романическую мечтательницу» Лизу её двоюродному братцу. «Дай обнять тебя... поцеловать... в последний раз... (Рыдая)». И Лизанька не может не заметить: «О, какая холодная, эгоистическая философия!»

«Впрочем, — напишет много позже Тургенев, вспоминая о Белинском, — мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления». (Хотя «нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер»). В западной науке искали, например, готовые рецепты от пошлости жизни — «а на какой ступени общества тогда не царила пошлость?». Что же касается плоти — да что там плоть, когда такое растеклось томление духа.

«Мы не решили еще вопроса о существовании бога, — а вы хотите есть!» — справедливо упрекал Белинский заглянувшего к нему на обед юного Тургенева (недавно из Берлина, где два семестра занимался Гегелем!).

д) раздваивались все. «Диалектика» и «абсолют» от Гегеля — заметит позже философ Лев Шестов — в те времена нетерпеливых чувств казались правильным, научным эквивалентом «русского колдуна, который всё может, только не все еще хочет». Казалось: приложить вершину европейской мысли к больному месту — и всё снимет как рукой. Былинный Илья Муромец с печки спрыгнет. Тургенев объяснял такие устремления (как в случае с горячностью Белинского) «тоскливым желанием перейти из области недостижимых идеалов к чему-нибудь положительному, реальному».

Как раз тогда судачили о Чаадаеве. В докторе философии, бывшем гусаре, жила и «совершенная кокетка» (в том, что касалось нарядов и косметических упражнений). Он так и оставался — «между». Россия у него между «двумя великими началами» — воображением и рассудком. Его запретные «Философические письма» ходили по рукам (в тридцать шестом году в журнале «Телескоп» вышло одно из восьми писем — и лавочку закрыли, а Пётр Яковлевич сроком на год был объявлен официальным сумасшедшим). И тут сплошные крайности. Вроде бы, после войны с Наполеоном, завершившейся в Париже, Россия получила с Запада «одни только дурные идеи и губительные заблуждения». Но всё же там цивилизация, а тут изъян физиологии: «в крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс». Так всё-таки, дурное шло извне — или внутри сидело? Он оставлял простор для толкований.

Чаадаев так и умер — в раздвоенности чувств. Время по кругу возвратило к чувственным делам. Помня о женщинах, приятных его сердцу, Чаадаев попросил похоронить «или в Донском монастыре, близ могилы Авдотьи Сергеевны Норовой, или в Покровском, близ могилы Екатерины Гавриловны Левашевой».

е) чудом отвели дуэль между Александром Герценом и приятелем Станкевича, Яковом Почекой. Такой скандал, что Герцена на этот счёт тогда же допросили в Третьем отделении (арестован в тридцать пятом после студенческой вечеринки, по «делу о лицах, певших пасквильные стихи» — тогда же вскрыли их с Огарёвым неблагонадёжную «в конституционном смысле» переписку)!

Речь шла о загадочной смерти милой Эмилии, дочки московского немца-музыканта Франца-Ксавьера Гебеля. Герцен был уверен, что Почека «самым гнусным образом обольстил её, поверг всё это семейство в отчаяние, и дочь Гебеля после 5-дневного сумасшествия умерла. Говорят, что и смерть он ей причинил, давши ей лекарство от беременности». Герцен просил дружище Огарёва прервать с гнусным Почекой всякое знакомство. Впрочем, Станкевич грудью встал за Почеку — доказательств не было, и Герцен позже передумал. Замяли и забыли. Тем более, что Герцена отправили на исправление служить то в Перми, то в Вятке (где его службу оценил наследник, будущий Александр Второй), то во Владимире, — и он был озабочен: как спасти от нежелательного брака кузину, дорогую Наталью Захарьину, незаконнорожденную дочку обер-прокурора Святейшего Синода Яковлева. Романтические времена! Устроил ей побег — и тут же сам на ней женился.

В «Былом и думах» позже написал: «Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край» — и тут же: «я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек серьёзно должен был краснеть».

ж) наконец, тридцатые-сороковые были тем временем, когда и юношам, и девушкам хотелось быть передовыми — и необыкновенными. Одеться по последней европейской моде — и «выпытать (как скажет Лев Шестов) у Европы её последнее слово о Боге». Тургенев был практически «стилягой» — производил на барышень впечатление, надевая синий фрак с золотыми пуговицами в виде львиных головок, серые клетчатые панталоны, белый жилет и цветной галстук. Полонский этого не мог себе позволить — был ограничен в средствах и старался лишний раз не просить ничего у отца (скромного чиновника) — и при этом раздражался от «пустых существ», которые любили заявлять себя «поэтами в душе» и принимать трагические позы. Но вот по части «романических историй» Полонский от друзей не отставал. «Я читаю книгу песен / "Рай любви - змея любовь" — / Ничего не понимаю — / Перечитываю вновь».

Беда Полонского была в другом — он оставался вне литературных партий. Для всех он, как поэт, был уважаем — и всё-таки он был «ничей». Подчёркнуто: «Я никогда не признавал себя ни нигилистом, ни либералом, ни ретроградом; я всегда хотел только одного: быть самим собой». Может ли в литературной жизни такое пройти без последствий? Это ему аукнется особенно — когда пойдёт большая битва «об отношениях искусства к действительности». Не понимал простых вещей. Скажем, в 1860-м он устроит юношу Дмитрия Писарева в «Русское слово» — а через год тот же Писарев и в том же «Русском слове» напишет про «микроскопических поэтиков», которых скоро все забудут. Среди «поэтиков» Писарев выставил Полонского: «Чем вы нас шевельнули, чем заронили искру негодования против грязных и диких сторон нашей жизни? Сказали ли тёплое слово за идею?». Полонский сетовал на жизнь

Тургеневу — тот из Парижа утешал: «Молодые люди плюются; погоди, ещё не так плевать будут! Это всё в порядке вещей — и особенно на Руси не диво, где мы все такие деспоты в душе, что нам кажется, что мы не живем, если не бьём кого-нибудь по морде. А мы скажем этим юным плевателям: "На здоровье!"»

Тургенев, главное, поддерживал. Морально: «твой талант тобою не выдуман — он существует действительно — и, стало быть, не пропадет». Да и материально: в семьдесят третьем, когда Полонскому не на что было ехать с больным коленом на солёные озёра в итальянский Монсуммано (доктора советовали) — Иван Сергеевич: «позволь мне, в силу нашей старинной дружбы, предложить тебе на поездку 350 рублей серебром.<...> Меня это не разорит — а, напротив, доставит великое удовольствие помочь больному приятелю».

Полонский был удобен для битвы со стороны литературных партий — все перегрызлись, он всем симпатичен, как же так. В шестьдесят девятом Салтыков-Щедрин со страниц некрасовских «Отечественных записок» снова ударит по Полонскому концептуально: повторит за Писаревым про общественную безыдейность и про то, что все забудут. На этот раз Тургенев заступился открыто — письмом в «Санкт-Петербургские ведомости». В отличие от Якова Петровича, Иван Сергеевич прекрасно знал закон литературных джунглей — так что не просто справедливо указал, что на поэте Полонском «лежит отблеск пушкинского изящества», но задом и отхлестал (несправедливо, но эффектно) своего бывшего друга, а теперь противника Некрасова, в котором «поэзии-то и нет на грош» (как и в попавшем под руку славянофиле, «почтенном А. С. Хомякове, с которым, спешу прибавить, г. Некрасов не имеет ничего общего»).

Полонский был ужасно благодарен — но вынужден был извиняться перед Некрасовым и честно объяснять Тургеневу: «Благодарность не исключает правды. Выскажу тебе откровенно, что заключение твое о Некрасове меня немножко покорило. Ты скажешь мне, что это твое искреннее убеждение, — но <...> все более или менее знают о твоих более чем холодных отношениях к Некрасову и слова твои сочтут за выражение личной мести. <...> Они на руку нигилистам и всей некрасовской партии... <...> Я с тобой не спорю, но думаю, что одними стихами без поэзии Некрасов не мог бы влиять, не мог бы занять того места в литературе, какое занимал.

Если бы ты сказал, что поэзия, служащая интересам дня, как газета, скоро забывается, что жизнь <...> душит тех художников, которые служили толпе, не служа искусству, — по моему крайнему разумению, ты был бы правее».

Читатель ждёт, что мы вернёмся в 1881-й год, где Полонский давно уж ждёт Тургенева, чтобы наконец поехать на лето в Спасское. Давно пора — и всё-таки вдогонку ещё два слова — без чего читателю никак.

В чём оказался прав Тургенев? Полонский, как поэт, имел своё неповторимое лицо — в общем ряду он не терялся. После Тургенева в

семидесятом о Полонском написал большую статью критик Николай Страхов (в петербургском журнале «Заря»). О том, что нет у нас поэта, который бы «так мало пыжился и топорщился, как Полонский». Что «самый трудный из наших поэтов» одновременно — самый неразгаданный. Со Страховым тогда же согласились — и Достоевский, и Тургенев. Да и Толстой в нём находил «лирическую дерзость», свойственную «великим поэтам». А через тридцать лет в своих «Записных книжках» возмутится Александр Блок: «Публика любит большие масштабы: Полонский уже второстепенность!». Все снежные мотивы Блока вышли, между прочим, из Полонского. Вряд ли это помогло Якову Петровичу выйти в первый ряд литературы — но Полонский вместе с Тютчевым и Фетом составил ту основу, по которой протянулись золотые нити — из загадочных тридцатых, от Лермонтова и Жуковского, к веку серебряному, Блоку. Ну уж, как минимум, любой читатель, вздрогнув, вспомнит (даже если и не знал, что это строки Полонского) его «Песню цыганки»: «Мой костёр в тумане светит,/ Искры гаснут на лету».

А между тем...

* * *

Между тем — первого мая тысяча восемьсот восемьдесят первого Тургенев прибыл в Петербург. Полонскому он сразу рассказал (посмеиваясь) о своих смутных опасениях. Яков Петрович записал:

«Будем мы, говорил он, сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай, и вдруг увидим, что к балкону от церкви по саду приближается толпа спасских мужичков. Все, по обыкновению, снимают шапки, кланяются и на мой вопрос: ну, братцы, что вам нужно?

— Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй... — отвечают. — Барин ты добрый, и очень мы тобой довольны, а все-таки, хошь не хошь, а приходится тебя, да уж кстати вот и его (указывая на меня) повесить. — Как?! — Да так уж, указ такой вышел, батюшка! А мы уж и веревочку припасли... Да ты помолись... Что ж! мы ведь не злодеи какие-нибудь... тоже, чай, люди-человеки... можем и повременить маленько...»

Фантазии, конечно. Но из далёкого Парижа, после известия о гибели Александра Второго, могло привидеться и не такое.

Лето оказалось слякотным. Тургенев, не дождавшись Полонского, уехал в Спасское с его женой Жозефиной и детьми. Приехав, хлопотал безостановочно. Его как будто подменили. Велел от сырости обить возле кроватей стены цветным войлоком — сам бегал с молотком по комнатам: ещё где гвоздь вколотить?

Комнат в доме — тринадцать внизу и две на антресолях, балкон наверху, две крытые террасы внизу, ступеньками в сад на юго-восток и юго-запад. Дом — прежний флигель, где размещалась ткацкая (ткали ковры, холст и сукно). До пожара он соединялся с домом полукруглой галереей. В сгоревшем доме было сорок комнат, зал с хорами. А в другом

крыле жили музыканты крепостного оркестра. Но всё это давно сгорело, в памятный тридцать девятым году.

Теперь же — лето покатилось. В саду работали живописные спасские крестьянки, вечером возвращались — грабли на плечах — и во всё горло пели песни. Чем трогали Тургенева до глубины души. Иван Сергеевич — чай, не в Париже, где он атеист, — ходил по воскресеньям к обедне в свою церковь. Всё будто шло по распорядку, который он запомнил с детства.

Тургенев просыпался раньше всех, ходил смотреть, как перестраиваются конюшни, кормил с террасы воробьев. Затем надолго отправлялся в туалетную. Гостям запомнилась его образцово-показательная чистоплотность: «ежедневно менял фуфайку, белье и весь вытирался губкой — одеколоном с водой или туалетным уксусом». Но самой впечатляющей осталась — процедура причёсывания. Сначала щеткой — пятьдесят раз вправо, пятьдесят — влево. Потом первый гребень — «до ста раз пройтись по волосам». После чего второй — гребень «с частыми зубьями».

Может, он шутит? Так вот — каждый день? Иван Сергеевич, продолжая одеваться, объяснял, что дело в маменьке.

— Когда мать моя еще «носила меня под сердцем», на неё, ни с того ни с сего, вдруг напала мания всех причёсывать. Призывала горничных, сама расчёсывала им косы и сама заплетала. Раз, в Москве, с улицы позвала она какого-то инвалида-солдата, должно быть, нищего (воображаю себе, в каком порядке была его шевелюра!) — усадила его за свой туалет, вычесала, причесала, напмадила, дала ему денег и отпустила... Может быть, эта мания и перешла ко мне от матери.

Ночами он вставал — скажем, когда вдруг вспомнит: забыл положить ножницы на место. Чтобы на письменном столе всё было идеально. Фуражка детская на стуле — тут же на вешалку, зонтик — на место, в угол. В отсутствие Полонских прибирал в их комнате: платья — на гвоздики. Гости старались соответствовать.

И — разговоры. Судя по воспоминаниям, Тургенев беспрерывно говорил. Весёлое, нравоучительное. Куда ни кинет взгляд — всё наводило на воспоминания. Там — тени Лутовиновых. Тут — брат, Николай Сергеевич, с женой, которая в отсутствие Тургенева приехала и увезла всё столовое серебро — ну, не ругаться же писателю. Полонский вспомнил, как студентом заходил в Москве к Тургеневу, читал ему какие-то восторженные стихи, а за дверью — рассказал потом Тургенев — стоял его брат и «помирал со смеху». С поэзией у Николая Сергеевича были отношения непростые.

Вот тут портрет отца: гостям казалось, что изображён «не мужчина, а дама или даже камелия, наряженная в белый конногвардейский мундир <...> Взгляд какой-то русалочный».

А вот у этого окна сидела мать — и, судя по словам Тургенева, томилась в ожидании, когда к окну подойдут несчастные, ссылаемые ею в Сибирь, накануне этапа — чтобы откланяться. За этим следовал рассказ, в каких он рос «ежовых рукавицах».

А вот у этого пруда, а вот по этой тропке... Не заскучаешь. Свои воспоминания перебивал разве что бесчисленными ненаписанными сюжетами — которые роились в голове. Да, вот десять лет назад, в 1870-м, сюда приехал англичанин Рольстон — писатель и тургеневский приятель. Ходили с Рольстоном по избам — он всё записывал. Крестьяне же решили: это такая перепись. Потом приходят к барину Тургеневу — правда ли, что теперь их в Англию перевезут? Разубедить вышло непросто.

Хотя, конечно, мог Иван Сергеевич и тут дорисовать историю в своем воображении — кто знает.

Случился и пожар. Тургенев среди ночи побежал в Спасское: «обязан идти». Полонский проводить не мог — нога больная. Выяснилось, что сгорел кабак, стоявший на окраине. Крестьяне собрались, смотрели, но кабатчику не помогали. Хотя в огне пропали все заложенные ими вещи. Даже возмущались, что Иван Сергеевич дал ему в помощь 25 рублей: он же, мол, спаивал и наживался! А через пару-тройку дней, на деревенском празднике, с песнями и плясками, выпили два многоведёрных чана вина — и возмутились: маловато будет. Отбились тем, что кабака-то рядом нет — взять негде. Плясун в красной рубашке, весельчак, Тургенева насторожил больше всего: случись что — будет самым беспощадным.

Конечно же, с последние год-два Тургенев замечал: в воздухе что-то изменилось. «Молодое поколение», давно остывшее к «царю-освободителю», в самом конце семидесятых стало носить Тургенева в России на руках, как народного «писателя-освободителя». Об этом позже, но сейчас заметим только: нельзя сказать, чтобы Ивану Сергеевичу не была приятна эта мысль — о его решающем участии в освобождении русского крестьянства. И всё-таки не отпускало: страшновато. Кто его знает, что у этого раскрепощённого народа на уме.

Да и погода в это лето была хлипкой.

«Вот ты и живи тут», — ворчал Тургенев.

Будто убеждал кого-то.

Или самого себя.

Мужики перед Тургеневым ломали шапки. Полонский удивлялся: что ж ты не прикажешь им шапки надеть?

— Нельзя, — в ответ Тургенев. — Верь ты мне, что нельзя! Осмеют и осудят. Не принято это у них.

Барин же всё же, что ни говори.

А чтобы отвести вопросы о тех крестьянах, что ломали шапки под окном у крепостницы-маменьки, подумав, уточнил:

— И то уже меня радует, что поклон мужицкий стал уже далеко не тот поклон, каким он был при моей матери.

То есть: теперь все «кланяются добровольно — дескать, почтение оказываем». А прежде совсем не то: «тогда от каждого поклона так и разило рабским страхом».

И снова — будто в чём-то уговаривал себя.

А в чём?

А впрочем — мы забыли главное! — главное в это лето было: он ждал Марью Гавриловну в гости.

* * *

Савину из Москвы взялся сопроводить до Спасского писатель Дмитрий Григорович. Ждал. Савина задерживалась.

Григорович слал тревожные сигналы: опять мешает Всеволожский.

В Спасском Тургенев и Полонский бились об заклад: приедет или нет? Тургенев уверял, что не приедет.

Хотя, конечно, как всегда, хотел, чтобы его разубедили.

Николай Щепкин, управляющий, потом расскажет: в тревожном ожидании актрисы «Иван Сергеевич стал неузнаваем». Сам составлял список вещей для обстановки в комнату для Марии Гавриловны. Из сарая извлекли диван, имевший для Тургенева особое значение: при жизни маменьки этот диван называли «самосон», на нём скончалась Варвара Петровна — потом его уволокли, забросили подальше. Теперь же оказалось, что диван в порядке — только поменять обшивку, кое-что поправить. Тургенев выехал в Орёл с Полонской — за подходящей тканью и необходимой мебелью. Попутно, вспомнит Щепкин, «заехал к нам в с. Катушищёво, чтобы сообщить моему отцу (Александру Михайловичу, сыну знаменитого актёра Щепкина — И.В.) свою радость, говоря, «что ждет к себе из Петербурга гостью, знаменитую артистку Марью Гавриловну Савину, которую по таланту может сравнить только с Рашелью, и что никто после Рашели своей игрой не производил на него такого сильного впечатления, как она».

Уж полночь близилась — а Савиной всё нет.

И «самосон» уже вернули в дом.

И починили бильярд в библиотеке.

В конце концов двадцать седьмого июня (9 июля) приехал, не дождавшись, Григорович.

До этого он в письмах озадачивал Тургенева своими размышлениями о Савиной, перед которой трудная дилемма: театр — или Всеволожский?

А всё-таки нелегко разом отсечь пятилетнюю связь и сказать человеку: ступай себе, дружок, своей дорогой, — я остаюсь! При её условиях надо, чтобы любовь поддерживалась сильной верой в прочность и непоколебимость чувств любовника; сомневаюсь, чтобы она была в этом уверена».

Тургенев — как вошёл в свою задумчивость — так и не выходил.

Григорович к Спасскому готовился по-своему — и перья распушил. Вот что его воодушевляло: воспоминания о том, как четверть века назад, двадцать шестого мая (7 июня) 1855 года, они с Александром Дружининым и Василием Боткиным сыграли в Спасском сочиненный на коленке фарс «Школа гостеприимства» — где были и весёлые намёки на трагикомедию с тургеневским пожаром на пароходе.

Теперь же Григорович — вот удача! — радостно набрасывал сюжет для нового спектакля — нет, водевиля, даже фарса! — который надо непременно разыграть в тех самых декорациях, в парке, у пруда.

Теперь сюжет закрутится вокруг приезда знаменитой артистки Савиной — как она то едет, то не едет, а Спасском ждут, сбились с ног и выясняют отношения друг с другом. Как только ждать отчаялись — известие: приехала! Как только запустили фейерверки — снова телеграмма: гостья перепутала дорогу, проскочила и приехала куда-то не туда!

Сыграют — думал Григорович — все: он сам, Тургенев, Полонский с женой и детишками Алей, Борей и Наташей. И Савина, разумеется.

«Но только непременно фарс!» — стон Григоровича. Чтоб было ржачно и весело, грубо, зримо.

Скажем сразу: фарс на этот раз не состоялся — и настроение не то, да и без Савиной терялась соль.

Григорович прибыл без неё и пробыл в Спасском пять дней. Опять же — разговоры о былом. Тургенев между делом вспоминал с трудом давнишние эпиграммы на своих когдатюшних приятелей. Кого уж не было, кто был далече — да и слова позабывались.

При Григоровиче в Спасском появилась незнакомка. Юная особа приехала откуда-то — за нравоучительным советом. Чему ей верить и за кем идти по жизни. За нигилистами — или за какими-нибудь либералами?

Девушка, видимо, не вдохновила Григоровича — он стал развенчивать эмансипацию. Тургенев больше слушал девушку. Полонский наблюдал со стороны. Дня через три, собравшись уезжать, незнакомка-гостья отчиталась перед Иваном Сергеевичем о проделанной работе. С нигилизмом покончено. Она решила стать «опортюнисткой».

— Ну, это уж все-таки лучше! — выдохнул Тургенев.

После Григоровича в Спасское заехал Лев Толстой. Перепутал дни — так что его не встретили (поскольку ждали завтра). Сам кое-как добрался. Но ненадолго — он проездом. Поехал дальше по своим самарским сёлам.

А Савина?

* * *

А Савина приехала за Львом Николаевичем следом. Четырнадцатого (26) июня. На четыре дня.

Иван Сергеевич порхал.

Водил по дому.

«Когда я вошла в первый раз в кабинет Спасского, то Иван Сергеевич так просто сказал: "Вот за этим столом я написал "Отцы и дети"».

На столе всегда стояла вазочка с розами, которые цвели под балконом. Из сада нёсся запах липы.

Потом «в большом кожаном кресле (его матери) сидел Иван Сергеевич, а у ног его, на такой же скамеечке, сидела я и слушала (счастли-

вая!) "Стихотворения в прозе", которые "никогда не будут напечатаны". Иван Сергеевич достал из стола небольшую зелёную кожаную книжку и читал, читал... а у меня слёзы капали одна за другой. Некоторые напечатаны, но то, которое особенно меня поразило, нет. В нем говорилось о большой, огромной любви к женщине, которой отдана вся жизнь и которая не принесёт цветка и не уронит слезы на могилу автора. На мой вопрос, почему оно не должно быть напечатано, Иван Сергеевич ответил: "Это обидело бы ее"».

Странный, конечно, способ очаровывать молоденькую гостью. А впрочем. Может же большой писатель позволить себе некоторые слабости. Она ему про Всеволожского — он ей про Виардо.

На рассвете, когда ночная темень парка уже подернута белесоватой дымкой, он водит Савину гулять — и «слушать голоса».

Птицы кричат — Иван Сергеевич их отличал по голосу. Или не птицы? Что-то скрипнет, прошуршит, мелькнёт.

Хорошо было гулять, аж жуть.

В Спасском голоса да призраки — будто заждались. Повылезали, будто из его «Записок охотника»: «И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху».

Вот в этих зарослях когда-то Ваничка прятался с дворовым человеком. Тот был грамотей. Читал барчуку «Россиаду», поэму Михаила Хераскова. Захлебывался громадьём шестистопного ямба: вот она, силища.

«Одно слово — Херррасков».

Грассировал — незабываемо.

У пруда ходила тень Базарова с лягушками. За колодцем тень Касьяна из Красивой Мечи. Развилка разделяла Хоря и Калиныча.

Чу! Даже голос ночью — будто сумасшедший резчик из рассказа «Смерть» опять запел о прекрасной Венере и просит встречающих-поперечных, чтобы ему позволили жениться на девке Маланье, давно уже умершей (а сухорукая баба снова бьёт его, заставляя индюшек стеречь).

Навстречу им с Савиной в тумане плыл ветвистый дуб. К такому дубу он прокрался в своём рассказе «Призраки». Под дубом, как мираж, ждала зыбкая девушка Эллис. Хвать его — и ну летать по дальним странам. Он хныкал и просил вернуть его обратно. В конце концов туманная девица испарилась. Автор был в терзаниях. Даже «мучительно содрогался». Лететь в удобные европы — или остаться и сидеть чего-то ради? Вот и теперь — он ходит с Савиной, она готова у него спросить о том же: останется он, наконец? А он по-прежнему не знает, что ответить.

А не сходить ли им к Захарову пруду?

Иван Сергеевич устроил для Марии Гавриловны купальню с деревянным трамплинчиком. «Савина купалась не иначе как в костюме и любила бросаться в глубину, плавая, как наяда», — записал Полонский. Он случайно (ну будто бы) забрёл в купальню, где увидел красоту наяды.

Тургенев страшно, страшно позавидовал — Полонскому. Хотя — мог бы и сам, случайно, будто бы, одним глазком. Но нет.

Марья Гавриловна сказала, что не верит никаким любовным письмам. Одни слова — и только. «Фразы, фразы, фразы».

Тургенев заметался. Нет, позвольте, как же. И вспомнил очень странную историю в ответ.

Однажды к маменьке его приехала знакомая, недавно потерявшая сына. Ваничке с маменькой показалось, что она рассказывает о своём горе слишком картинно. Они между собой над гостьей посмеялись. А та через неделю от горя — «сошла с ума, бросилась в пруд и утопилась».

Что из этого должна была усвоить Савина? Что «иногда и правда облекается в подозрительно неестественные фразы».

Хотел ли он в чём-то убедить Марью Гавриловну?

Но в чём конкретно?

Семнадцатого (29) июля Полонские праздновали годовщину своей свадьбы. Иван Сергеевич был тостующим, шампанское лилось, он чокался и всех целовал. Гулять решили широко, по-настоящему. К вечеру из Спасского за обещанным вином и подарками явились семьдесят «деревенских баб и девок» (мужиков не звали). Пошло-поехало. У Савиной кружилась голова. Тургенев был в восторге. Глядя на неё: «Ишь, расходилась цыганская кровь!». Усадил Полонского за пианино: «Играй, как можешь! Мазурку валяй! Да не важно, что!» Теперь плясали все, включая самого Тургенева, — кто во что горазд.

А поздно вечером Иван Сергеевич читал Полонским и Савиной только что, в Спасском, этим летом написанную «Песнь торжествующей любви».

Здесь, под спасско-лутовиновские шёпоты, песнь обволакивала.

* * *

Шестнадцатый век, указанный Тургеневым в «Песни торжествующей любви», легко мог быть пятнадцатым или каким-нибудь ещё. Два друга с мраморными именами (Муций и Фабий) из Феррары и одна Валерия. Она не знала, кого выбрать, — и вышла за того, в кого ткнула пальцем вдовствующая мать. Той по большому счёту было всё равно (поскольку оба хороши) — решила, что Фабием она больше угодит Валерии. Муций пропал — но появился через много лет с неведомым малайцем: и что-то в нём было странное. Потом всё выяснится: Муций мёртв, его волшебным образом реинкарнированное тело управляется малайцем, — но, видимо, душа жива. А на душе — потёмки.

Муций завораживает Валерию мелодией «счастливой, удовлетворённой любви», которую выводит на индийской скрипке, обтянутой змеиной кожей, смычком с алмазом на конце. Впрочем, не только: он ещё подсыпал что-то и поколдовал над ширазским вином в её чашке. Она, естественно, не наяву — во сне, сомнамбулически — попалась Муцию

во власти всем телом. Фабий выследил дружка, прирезал — а малаец, поколдовав, поставил его на ноги. Замутившие эту историю малаец с Муцием исчезают — но Валерия непроизвольно наигрывает вдруг ту самую мелодию. И тут же чувствует, что в ней, внутри трепещет: «новая, зарождающаяся жизнь». Как так? Посредством музыки? Вроде было всё во сне — и вот. Да неужели...

Фабий, видимо, ни о чём не подозревает. Песнь, в сущности, о том, что давняя, первая любовь сильнее даже умершего тела (не говоря о пространстве и времени). Однако же плоды любви — этой воздушной, музыкальной субстанции — становятся чудесным образом вполне телесными.

Иван Сергеевич вышивал свою «Песнь», пока томился в ожидании Савиной в Спасском — тем самым летом восемьдесят первого. Полонскому ужасно не понравилось, он вдруг почувствовал, что страшно хочет спать. А Савиной наоборот — разве уснёшь после такого. Прониклась. Тем более, что видела (потом в воспоминаниях напишет): Иван Сергеевич взволнован.

Они гуляли долго и сидели на скамеечке в тёмных аллеях. Почти без слов — к чему?

Четырьмя годами ранее, в 1877-м, Тургенев перевёл короткие флорентинские повести с библейскими мотивами — «Иродиаду» и «Легенду о св. Юлиане Милостивом». В своём коротком предисловии предупредил читателей: эти «легенды» необычны для «главы французских реалистов». Но в них есть «яркая и в то же время гармонически стройная поэзия». И о своём труде над переводом: «Это был именно "love's labour" — труд любви».

Буквы от страсти расплывались — как перевести узор магического танца полуобнажённой Саломеи? Мелодия «Иродиады» явно обжигала переводчика:

«Не сгибая колен и раздвигая ноги, Саломея нагнулась так низко, что подбородок ее касался пола, — и кочевники, привыкшие к воздержанию, римские воины, искушенные в забавах разврата, скупые мытари, старые, зачерствелые в диспутах жрецы — все, расширив ноздри, трепетали под наитием неги. <...> Затем она принялась кружить около стола Антипы с бешеной быстротою... и он, голосом, прерывавшимся от сладострастных рыданий, говорил ей: "Ко мне! Приди!"».

Необузданная Саломея требовала у готового на всё Антипы голову Иоканама на блюде — танец любви обернулся танцем смерти. (Но Иоканам «сошел к мертвым, чтобы известить их о пришествии Христа»).

«Песнь» самого Тургенева, если прислушаться, созвучна «Иродиаде» Флобера: мелодия, которую наигрывает умерший Муций, выльется в мелодию загадочной любви — потаённой и возрождённой в отдавшейся страсти Валерии.

Но у Тургенева не Саломея, раздвинув ноги, изгибается — а под смычком изгибается скрипка. «Страстная мелодия полилась из-под ши-

роко проводимого смычка, полилась, красиво изгибаясь, как та змея, что покрывала своей кожей скрипичный верх». И не Антипа от танца Саломеи, а Валерия от вибраций Муция с его смычком — на всё готова. «Его жёсткие руки обвивают стан Валерии; его сухие губы обожгли её всю... Она падает навзничь на подушки...» И не Муций, а муж вдруг кажется ей мертвецом. «"Я видела... я видела страшный сон", — прошептала она, всё ещё содрогаясь».

«Песнь торжествующей любви» осталась делом умственным, фантазией художника.

А что потом?

Наутро Савина уехала.

* * *

А Савина уехала — и среди ночи к Тургеневу в комнату влетела птичка. Он несётся по дому в фуфайке. Будит Полонских: дурная примета! Жозефина Полонская успокоила, птичку поймала — вот же, мелочь пузатая.

Не отпустило предчувствие. Последнее лето в Спасском.

Уехал Полонский. Тургенев оставался с Жозефиной и детьми — рассказывал им поучительные сказки про Самознайку.

Потом уехал и Тургенев.

А переписка с Савиной, конечно, продолжалась. Странно или нет — но эти его письма не похожи на письма Полине Виардо — с церемонным обращениями к «дорогой и доброй госпоже Виардо». Они как будто замещали то, чего ему давно недоставало. Понимал ли он сам себя: чего хотел?

Двадцать второго июля (3 августа) 1881, ещё из Спасского: «Комната, в которой Вы жили, так навсегда и останется савинской. <...> Вчера <Марфа> мыла полы — занятие и положение неэстетическое, с которого, сколько мне помнится, не начиналось еще ни одной чувствительной повести. Представьте себе сцену на театре, в которой *jeune première* («первая любовница» — И.В.) явилась бы в этой позе! Решили бы Вы взяться за такую роль? <...> С другой стороны, мне кажется, что и запачканные Ваши ручки я поцеловал бы с удовольствием; но ведь я, в отношении к Вам, в положении исключительном».

Десятого (22) августа 1881, Спасское: «...многократно целую Ваши неудобозабываемые руки. То, что совершилось накануне Вашего отъезда — помните, на террасе, за обедом, после шампанского — еще труднее забыть; но я едва смею напоминать Вам об этом».

Девятнадцатого (31) августа 1881, Спасское: «... грустный вопрос: когда и где я с Вами увижусь? И чем Вы будете тогда? Г-жой Всеволодской? По первому Вашему письму можно было так думать... а по второму ясно только то, что <...> Ваш роман развеялся прахом... чему я очень рад».

Двадцать третьего сентября (5 октября) 1881, уже из Буживаля: «Вспоминаю наши разговоры и тот — помните? или не хотите помнить? — тот лучистый и жгучий поцелуй, которым Вы и озарили и обожгли меня во время обеда на балконе и т.д. и т.п.»

Двадцать восьмого сентября (10 октября) 1881, Буживаль: «Что же касается до самого брака (с Всеволожским — И.В.), то теперь уже поздно спрашивать моего мнения на этот счет. <...> Отступить теперь, после всего, на что Вы согласились — или что допустили, уже невозможно. Странное дело! в прошлом году, когда... ну Вы знаете, что со мной происходило, я ни минуты не думал о Вашем браке — мне это было чуждо; а теперь я часто ставлю себе этот вопрос — вероятно потому, что я крепче и больше привязан к Вам. <...> (Кстати: о какой это моей влюбленной говорите Вы? Недоумеваю. Не может же быть, что Вы под именем этой подозревали Ж(озефину) А(нтоновну)!) <...> В конце письма Вы говорите, что крепко меня целуете... Если так же, как на балконе спасского дома, так у меня и за 3000 верст закружится голова».

Восемнадцатого (30) октября 1881, Буживаль: «Вы мечтаете — как бы хорошо было убежать потихоньку за границу; а я, с своей стороны, мечтаю, как было бы хорошо проездить с Вами вдвоем хотя с месяц — да так, чтобы никто не знал, что мы и где мы, а потом вернуться каждый к своему делу — или безделью! <...> А представьте-ка следующую картину: Венеция, напр., в октябре (лучший месяц в Италии) или Рим. Ходят по улицам — или катаются в гондоле — два чужестранца в дорожных платьях — один высокий, неуклюжий, беловолосый и длинноногий — но очень довольный, другая стройненькая барыня с удивительными (черными) глазами и такими же волосами... положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквям и т.д., обедают вместе, вечером вдвоем в театре - а там... Там мое воображение почтительно останавливается... Оттого ли, что это надо таить... или оттого, что таить нечего?

<...> И отчего это я не был на месте Якова Петровича, когда он так удачно заглянул к Вам в купальню? То-то и есть: родился я колпаком... так колпаком и останусь.

<...> Засим... (никто ведь этого письма не увидит?) беру в обе руки Вашу милую головку — и целую Вас в Ваши губы, в эту прелестную живую розу, и воображаю, что она и горит и шевелится под моим лобзаньем. Воображаю... или вспоминаю?...»

Хорошо, хорошо — а только быть худу.

«И Ваша мечта, и моя так и останутся мечтами — без сомненья... Но моему воображенью рисуются приятные картины».

Сложилось так, что выйти наконец за бравого Никиту Всеволожского Мария Савина (как она писала, «обожаящая без границ чудного И.С.») решилась окончательно лишь после Парижа и последней встречи с Иваном Сергеевичем — весной восемьдесят второго года — когда она приехала, а у Тургенева как раз в те дни вдруг начались первые кошмарные приступы его смертельной болезни.

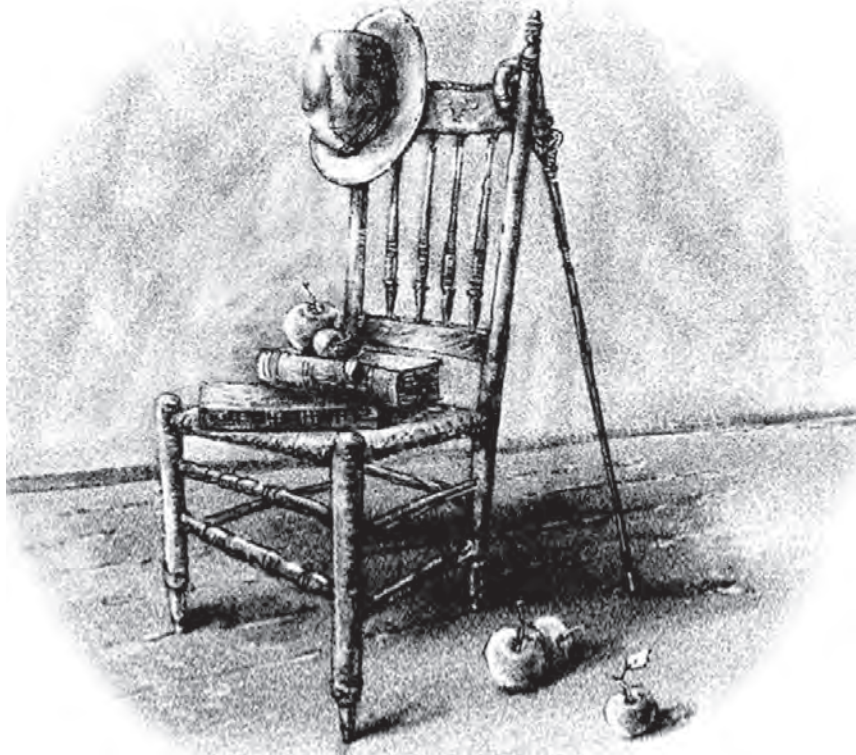
Тринадцатого (25) марта 1882-го он написал ей: «Вы красавица — и не каменная; только согреваетесь Вы не моими лучами. Вам нужен воин — и молодой, и бессмертный. Что ж! Вы правы».

Переписка их прервалась только в самые последние месяцы жизни Ивана Сергеевича — когда он сам уже не мог писать, а под присмотром семьи Виардо продиктовать слова любви к Марии Гавриловне никогда бы не посмел.

«Ваше письмо упало на мою серую жизнь, как лепесток розы на поверхность мутного ручья».

Какой-то месмеризм со спиритизмом. Судя по всему, Тургенев так и продолжал являться ей и после своей смерти — таким Муцием. И вызывать вибрации своей таинственной «песнью торжествующей любви».

А счастья человеческого у Савиной в браке так никогда и не случится.



© Художник Елена Любович

Татьяна Шеина
(Беларусь, Минск)

Родилась и живу в Минске. По образованию генетик, последние три года работаю в натуропатической аптеке.

Стихи публиковались таких изданиях как «Литературная газета», «Европейская словесность», «Белый ворон», «Глаголь», «Берега», «Балтика» и мн.др. Автор пяти поэтических сборников.

В прозе новичок.

Будни аптекантропа (дневники безымянного провизора)

Говорят, гуру дзен-буддизма учат своих учеников терпению, заставляя их сотни раз каллиграфически выписывать иероглифы в полосе прибора. Самые стойкие, не сошедшие с ума за неделю таких тренировок, становятся спокойны и пуленепробиваемы.

В наших реалиях нет ни гуру, ни полосы прибора. Поэтому мы, в юности опрометчиво давшие клятву некоему древнему греку, постигаем свой медицинский дзен, работая с людьми. Самые стойкие, не выгоревшие за годы таких тренировок, могут дать фору даже опытным буддистам. А вместо иероглифов на песке мы оставляем заметки в личных дневниках — о самых заметных ступенях на бесконечной лестнице профессионального роста.

15.01.2017

За год работы в фитоаптеке я, конечно, уже привыкла, что наше заведение многие принимают за некую ведьмину лавку. И желающим приобрести что-нибудь а-ля «три пера из левой ягодицы белого павлина, пойманного в полнолуние на перекрестке пустым ведром» — тоже, вроде бы, не удивляюсь.

Но сегодня просто бинго! С утра у меня успели побывать жаждущие:
— муравьиного яда (пчелиный яд и муравьиная кислота были отвергнуты с одинаковым возмущением, равно как и объяснения, что с ядовитыми муравьями в наше время туго);

— чая «осиновые опилки»;

— перетёртых рогов барана (порошок из пантов марала и рогов северного оленя, разумеется, не подошли);

— жабьего камня, из которого сделана мазь (мазь «жабий камень» у нас действительно наличествует, но, как ни странно, пресловутое средневековое противоядие в её состав почему-то не входит).

А впереди ещё восемь часов работы...

Похоже, в Хогвардсе начались каникулы.

Начинаю всерьёз подумывать о более тщательном изучении потребительского спроса и открытии небольшого магазинчика ингредиентов для зелий.

16.01.2017

Для студентов медицинских колледжей и ВУЗов есть неофициальный диагноз: «синдром третьего курса». Это когда на означенном курсе начинается массированная бомбардировка мозга клиническими дисциплинами (терапия, гинекология, инфекционные болезни etc.). В результате, каждый учащийся начинает с удивлением обнаруживать у себя симптомы разных болячек — от самых банальных до крайне экзотических.

Нас, помню, преподаватель инфекционных болезней на первом же занятии предупредила: дескать, у кого внезапно разовьётся полная клиническая картина сибирской язвы, бубонной чумы или ящура — велкам ко мне, обсудим. Ну или к кому-нибудь с психиатрии, они тоже в теме.

Мы тогда посмеялись, конечно. Но потом стало не до веселья: не смешно ведь, когда в течение семестра одна подруга начинает умирать от рака матки, вторая от мононуклеоза, у третьего самодиагностирована аденома простаты в двадцать лет, а после каждой бурной студенческой вечеринки на потоке прямо эпидемия холециститов, панкреатитов и острой почечной недостаточности!

В разгар этого массового психоза я сдавала кровь для планового медосмотра. И внезапно — опаньки! — лимфоциты 51% (при верхней границе нормы 48). ЦЕЛЫХ три процента превышения! Да ещё и гемоглобин снижен! Придирчиво себя ошупав и осмотрев, нашла несколько увеличенных лимфоузлов. Перечитала конспект, продумала текст завещания, переделалась в чистое — и на дрожащих ногах пошла к участковому терапевту.

— Здравствуйте, у меня лимфолейкоз, прошу предотвратить скорый летальный исход! — в лучших традициях булгаковского буфетчика заявила я с порога, продемонстрировала бланк с анализом и лимфоузлы — и подкрепила истину пулемётной очередью: «волосы выпадают-губы трескаются-сонливость-утомляемость-головокружения».

— А может, просто анемия? — робко спросила врач.

— Нет! — твёрдо и трагично ответствовала я, — вы же видите, лимфоциты 51%!

Терапевт прониклась и назначила экстренную консультацию гематолога в диагностическом центре. К гематологу, надо заметить, тогда попасть было очень проблематично — но лимфолейкоз же! Поэтому после двух бессонных ночей и успешной сдачи семинара по лейкозам (догадаетесь, на какой вопрос мне выпало отвечать) я уже сидела в уютном кабинете и уверенно рассказывала о нашей с терапевтом беде.

Гематолог оказалась дамой недоверчивой — долго ощупывала мою брэнную тушку, придирчиво изучала карточку, а потом отправила пересдавать кровь, делать УЗИ и разбираться с заведующей отделением.

Заведующая — верх скептицизма — сразу же посмотрела на обложку карты и просветлела лицом:

— Третий курс?

— Да, и у меня...

— Конечно-конечно, ко мне в декабре ежегодно ваши коллеги приходят от лейкозов умирать. Да что там, мы и сами такими были...

В подоспевшем анализе лимфоциты испуганно ужались до 36%.

Заведующая с хитрой улыбкой выписала что-то от анемии, «от нервов» и посоветовала не примерять на себя учебный материал).

К четвёртому курсу все наши хроники и «смертники» чудесным образом самоисцелились.

— Дайте, пожалуйста, какой-нибудь мощный иммуномодулятор! Только самый мощный! — замёрзшая девушка в лёгкой курточке, мини-юбке и капроновых колготках жалобно смотрит на меня огромными глазами.

— Вы для себя? Какой диагноз?

— Понимаете, у меня тяжёлая иммуносупрессия!

— Иммунограмму делали? У иммунолога консультировались?

— На иммунограмму кровь сдала, ещё нет результата, ВИЧ сдала, он отрицательный, но всё равно — частые простудные, второй рецидив герпетической инфекции за полгода, — девушка гордо демонстрирует распухшую губу, — волосы выпадают, губы трескаются, высыпания на коже...

— Извините, вы на третьем курсе лечфака учитесь?

— Эээ... Ну да. А как вы узнали?

...Выдала «Стиммунал» и седативный сбор, посоветовала не примерять на себя учебный материал. Временная спираль вышла на очередной виток...

22.01.2017

Помню, в школе мы за глаза посмеивались над учительницей истории — пожилой полноватой дамой — за её привычку на уроке тайком доставать из сумочки шоколадку или конфету и лихорадочно запихивать её за щёку. Странности учителей — чудесный повод посмеяться.

Уже став медиком, я поняла, что ничего смешного в таком поведении не было: видимо, Жанна Георгиевна — типичный «инсулиновый» диабетик. Гипогликемическая кома — состояние, возникающее при резком падении уровня сахара в крови, жуткое по своей скорости развития («посчастливилось» видеть пару раз). То есть, человеку, получающему инсулин, кусочек шоколадки может спасти жизнь — в самом прямом смысле. И счёт тут идёт буквально на секунды.

Заходит ко мне в аптеку пышная девушка бледного вида и с порога выдаёт:

— Гематоген или какой-нибудь энергетик сладкий есть? Срочно нужно поднять уровень сахара!

Бросаюсь к шкафчику с гематогеном, достаю, вручаю, беру её кредитку, шаманю с терминалом — и краем глаза наблюдаю, прокручивая в голове алгоритм экстренной помощи при ГК. Девушка терпеливо ждёт.

— Вы ешьте скорее, не терпите, чёрт с ним, с платежом!

— Ничего, — говорит так спокойно, — потерплю, мне не горит.

— Ну, знаете, с падением сахара шутки плохи.

Она вдруг начинает хихикать.

— Да всё в порядке у меня с сахаром! Это ж выражение такое крылатое — «сахар поднять». Обозначает «повысить настроение». Погода сегодня мрачная, в сон клонит — вот и решила себя сладеньким побаловать. Кстати, дайте-ка ещё глюкозу с аскорбинкой!

— Голубка, — выдыхаю сквозь стиснутые зубы, — Вы это крылатое выражение, пожалуйста, в аптеках больше летать не выпускайте.

Смотрит непонимающе. Объяснила. Посмеялись. Чувствую, как безо всяких конфет поднимается уровень сахара.

27.01.2017

Мотивы человеческих поступков всегда интересны, но, к сожалению, не всегда объяснимы.

Дама в летах приехала из Борисова (70 км, на минуточку!), чтобы предъявить, что на клетчатке, которую привезла ей от нас дочка, не указан срок годности. Вещдок, разумеется, не захватила, ибо — зачем? «В наших краях джентльменам верят на слово».

Когда я показала ей специально выделенный на самом видном месте упаковки контрастный участок, где русским по белому пропечатаны и дата изготовления, и срок годности, мадам ушла в глухую оборону.

— На моей пачке такого нет!

Демонстрирую ещё четыре упаковки разных видов клетчатки — везде есть.

— А на моей пачке нет!

— Не может не быть.

— А я говорю: нету!

— Привезите мне, пожалуйста, свою пачку — поищем вместе, — любезнейше предлагаю, мысленно вспоминая слова мантры покоя.

— Эээ... кгм... ну, может, отлетела по пути? — мгновенно идёт на пятую дама.

— Скорее, вы оторвали её, когда вскрывали пачку.

— Ну ладно. А где она изготовлена?

— В Новосибирске.

— А почему на моей пачке написано, что в Санкт-Петербурге?

— Нет, потому что клетчатка изготовлена в Новосибирске.

— А я вас уверяю, что там написано! Я читала-читала, и мне ещё это очень не понравилось!

— Вот такая пачка?

— Да.

— Пожалуйста, найдите здесь указание на Санкт-Петербург. Изучайте, я не тороплю.

Дама буравит злосчастную упаковку взглядом — я прямо представляю, как между строк, дымясь, проступает написанное молоком тайное «На самом деле — изготовлено в Санкт-Петербурге, только тссс!» Но увы, заветная надпись не появилась — и мадам с явным разочарованием возвращает коварный продукт. Лицо транслирует гамму чувств и напряжённую работу мысли — неужто ж зря 70 км ехала? Наконец, нащупав в рукаве последний козырь, полным подозрения голосом выдаёт:

— А она точно мне поможет?

— От чего именно вы хотите, чтобы она помогла?

— От моей болезни!

Занавес.

(За кадром — десять минут подробного рассказа о свойствах клетчатки и исход крайне расстроенной мадам в сторону обратной электрички).

Резюме: человек потратил три часа и сумму, эквивалентную стоимости товара, чтобы попытаться поругаться. Неужто ближе ресурсы закончились?

29.01.2017

После тяжёлой и продолжительной разлуки ко мне с неофициальным визитом прибыл хан Бо-Дун. Посему сочувствовать человечеству, сидя на работе, лучше всего получалось в лице себя, любимой.

Но вот, неся себя бережно, аки фарфоровую вазу династии Минь, в аптечку всплывает гражданин, с которым вышеозначенный хан явно в более близких отношениях, чем со мной. Остекленевший взгляд устремлён сквозь реальность в бесконечные космические глубины.

Едва шевеля губами, страдалец выстывает:

— Литр пива!

Я на несколько секунд зависаю, потом говорю, что пиво через дорогу.

После долгой паузы и тщетных попыток сфокусировать взгляд на мне, он выдаёт:

— Я хотел сказать, упаковку аспирина.

Узнав, что и аспирин не здесь, человек всю накопившуюся боль вкладывает во фразу: «Тогда зачем всё это вообще?», — разворачивается и выплывает.

Сижу, вот, думаю: а действительно, зачем?

07.02.2017

За прошедшую часть рабочего дня только ленивый пациент не сообщил мне — со скрытым ликованием в голосе — что гомеопатию объявили лженаукой на официальном уровне.

Люди, которые приходят в аптеку с мятыми вырезками «волшебных народных рецептов» из сомнительных газет. Люди, которые собирают-

ся пить ложками косметический берёзовый дёготь, чтобы «почистить кровь». Люди, которые хотят приобрести полкило сухой полыни, чтобы разжёвывать её по столовой ложке трижды в день (!) «от паразитов». Люди, которые возмущаются, что в аптеках не найти цикуту, ибо «это же первое средство для профилактики рака». Люди, благодаря которым у меня при упоминании фамилий Малышева и Малахов начинается нервный тик. Все эти люди радостно вещают сегодня, что «наконец-то разоблачили этих шарлатанов!»

Я не упоминаю заряженную воду от Кашпировского и Чумака, шунгитовые браслеты и нефритовые (стержни *зчркн*) пирамидки. Потому что заряженная вода, если и не поможет, то, как минимум, не убьёт здоровую кишечную микрофлору — в отличие от конских доз дёгтя вовнутрь. Нефритовые пирамидки не обеспечат туйоновый расколбас — в отличие от полкило полыни. А шунгитовые браслеты всяко безвреднее вёха, который цикута. Равно как и гомеопатические препараты при верном подборе хуже сделают с меньшей долей вероятности, чем классический всенародно любимый парацетамол с аспирином.

И нет — я не ярый фанат гомеопатии. Но лично знаю людей, которые её пользуют и результатами более чем довольны. Людей не из легко внушаемых, а некоторых — даже вполне себе скептически настроенных.

И да — я не отрицаю, что шарлатанов хватает во всех сферах (но традиционная медицина, между прочим, не исключение!). Однако, по моему скромному мнению, это не отменяет факта наличия в тех же сферах высококвалифицированных специалистов, буквально творящих чудеса. И вот лично мне не важно, будет ли такой человек кардиохирургом, оперирующим неоперабельные пороки сердца, или гомеопатом, выводящим на многолетнюю стойкую ремиссию ребёнка с тяжёлой формой бронхиальной астмы, от которого «открестилась» традиционная медицина...

Ладно, «официальные разоблачения» — с той же генетикой проходили, там тоже нельзя было потрогать, поэтому не могло существовать.

Но почему же простой народ, путающий гомеопатию с традиционной фитотерапией, так по-детски радуется?

И неужели, если завтра мы вернёмся к тем сладким временам, когда знахарей использовали в качестве топлива для согрева рук инквизиторов — (зачастую — по наветам врачей-монополистов, если кто не в курсе) — толпы желающих погреться у живых костров будут не жиже, чем тогда?

А потом эти люди с чувством выполненного гражданского долга разойдутся по домам запивать полынь дёгтем, лениво переключая каналы между «Битвой экстрасенсов» и «Народным доктором»...

21.02.2017

(18+)

Солидная пациентка средних лет с очень серьёзным видом:
— Ёбодромная соль есть?

- Простите, какая соль?
 — Ё-бо-дром-на-я
 полминуты зависания
 — Вы имеете в виду йодо-бромную?
 — Не знаю, мне для мужа.

18.03.2017

Нет, я не ушла в декретный отпуск, не уволилась и не дожждётесь, как говаривал некто Рабинович. Просто на три недели попала на «спецзадание» в фешенебельный ТЦ. Как водится, погналась за белым кроликом — и очнулась в музее индустрии потребления, среди высокой концентрации экспонатов.

Двенадцать часов над ухом звенит-жужжит-гремит-воет тихая ненавязчивая музыка, перемежающаяся рекламой новых коллекций известных брендов и регулярными тревожными объявлениями типа «Владелец белого "Ламборджини" номер 9999, просьба срочно подойти к своему автомобилю!»

Пришубленно-прилабутенные, силиконово-нарощенные блондинки, явно размноженные на 3D-принтере, лениво ходят вдоль рядов и приглядываются к магазинчикам — словно прикидывая, какой из них купить сегодня. За ними важно шествуют мачо в коже, цепях и тату с черепами, вальяжно выступают завсегдатаи барбершопов, торопливо семенят, блестя полированными затылками, типичные «кошельки на ножках».

Им не нужны перья из ягоды павлина и муравьиный яд. Они чихают ионами серебра и пукают элитной парфюмерией. Они болеют синяками после неудачной инъекции гиалуронки, отёками после пластики левого уха, боязнью морщин с 16 лет и любовью к терминам «органический» и «профессиональный». Они похожи на бурёнок с переполненным деньгами выменем, мученически ищущих, кто их подоит — но при этом предъявляющих к доярке список требований величиной в руку.

Я почти искренне сочувствую полумиллиметровым синякам, отговариваю морщинистых подростков от покупки антивозрастных кремов, терпеливо рассказываю об «органичности» водорослей и кедрового масла и «профессиональности» косметики с пометкой professional cosmetics... Я подбираю арабскому мальчику комплекс для улучшения роста бороды, китайской девочке — антиперспирант для пятилетнего ребёнка, а родной блондинке — органический шампунь от перхоти для ее чихуахуа... А потом выжатая приползаю домой и не могу отделаться от навязчивого ощущения, что весь день занималась какой-то откровенной хернёй. Потому, что моральная задача от назначения среднестатистической бабушке бюджетной работающей схемы для снижения уровня сахара, например, почему-то несравнимо выше, чем от двух десятков псевдобабушек, едва достигших совершеннолетия.

Спасибо понимающему руководству — на следующей неделе я возвращаюсь в свою уютную аптечную норку к сложным, капризным, скандальным, упрямым живым людям.

P.S.: Это не про «классно, когда люди по-настоящему болеют» — скорее, про «грустно, когда люди пытаются решать придуманные проблемы».

27.03.2017

Среди моих постоянных клиентов есть молодой человек лет восемнадцати, приходящий исключительно за презервативами. Запомнился мне ещё в первый визит, когда долго мялся у прилавка, опустив глаза. Вопрос: «Чем вас порадовать?» — вызвал у него внезапный приступ безудержного смеха, после чего юноша таки решился указать на интересующую полочку. Выбрали, пообщались — и с тех пор он приходит регулярно, уже смело и решительно обсуждает со мной достоинства и недостатки «изделий № 2», перешучивается...

Казалось бы, ничего особенного. Но сегодня он поинтересовался, куда я так надолго исчезала. Оказалось, товарищ живёт в другом конце Минска, в тот первый раз забрёл в мою аптечку случайно — и теперь ездит с двумя пересадками, потому что (цитата) «Вы единственная, у кого я не смущаюсь их покупать».

Ну что ж, уже ради этого стоило вернуться.

31.03.2017

При заложенном носе у меня образуется прескверный «фефект фикции»: «р» упрямо не выговаривается, заменяясь на «д». Оказывается, это не только смешно, но и приводит к потере клиентов.

Пришла девушка за успокоительным сбором для мамы, спрашивает российский рассыпной.

Есть, — говорю, — замечательный Кдаснодадский монастыдский чай.

Отходит в сторону, звонит: «Мам, российского нет, но аптекарь предлагает какой-то моносадский из Дании, говорит, классный. А, не надо? Российский поискать? Окей!»

Разворачивается и уходит, игнорируя моё: «Веднитесь!»

Обидненько.

02.04.2017

В очередной раз убедилась, что стереотипы, аки гвозди, вколоченные в людские головы доблестными СМИ, зачастую выдёргиванию не подлежат.

Вчера обратилась дама средних лет за сердечным сбором. Разговорились, как водится, о проблемах и диагнозах — и я неосторожно посоветовала ей в комплексе пропить ещё таурин (кто не в курсе — продукт обмена аминокислоты цистеина, при сердечной недостаточности и аритмиях в комплексе с травами работает отлично, проверено). Взяла, поблагодарила, ушла.

Приходит сегодня, глаза виноватые — с порога понимаю, что сейчас будет просьба что-нибудь вернуть.

— Ой, знаете, я вчера у вас препарат взяла, была без очков, не прочитала, что он мне противопоказан.

На упаковке из противопоказаний — индивидуальная переносимость (как на всём, впрочем), беременность и кормление грудью. На беременную и кормящую дама явно не тянет, аллергии на таурин встречать тоже не приходилось, но мало ли. Начинается выяснение, в процессе которого сразу становится понятно, что «противопоказания» притянуты за уши и являются, скорее, дополнительными аргументами в пользу назначения. Первая мысль: стало жалко денег (такое у нас случается — приобрёл человек импульсивно что-нибудь, пришёл домой, увидел счёт за коммуналку и пустой холодильник — и решил, что здоровье дешевле. А напрямую сказать неловко). Ан нет, истина, до которой таки докопались, оказалась гораздо интереснее. Последним козырем в игре дама выдала:

— Это же БАД! На упаковке так и написано: «не является лекарственным средством!»

Честно говоря, на этом разговор можно было сворачивать, выкупать препарат за свои кровные и желать даме всего наилучшего. Но в мою тихую гавань давно не заносило бадобобов, дама выглядела вполне адекватной, да и вопли задетой профессиональной чести заглушили тихий шёпот рации.

— А подскажите, пожалуйста, чем отличаются БАДы от лекарств?

— Нууу... эээ... по телевизору говорят, что БАДы вредны! И в них нет лекарственных веществ!

— Отлично. Если вы введёте в поисковик, например, препарат «Дибикор», то увидите: действующее вещество — тот же таурин, что и в нашей «КоронаРитм», и точно в той же дозировке. При этом, «Дибикор» зарегистрирован как лекарственное средство. Только в Минске его не достать, поэтому, например, кардиологи отправляют пациентов к нам. И людям — о чудо! — помогает.

— Да я сама у вас постоянно что-нибудь покупаю — вот, чай беру.

— Кстати, чай, который вы вчера взяли — тоже БАД и не является лекарственным средством, о чём написано на упаковке.

— Да, я знаю.

— Тогда почему же не возвращаете чай?

— Ну то ж травы, а это таблетки. В таблетках химия, я их боюсь.

— Таурин содержится в мясе и рыбе. Вы боитесь мяса и рыбы?

— Нет, не боюсь. Я боюсь БАДов.

В общем, беседа длилась полчаса — уже исключительно из спортивного интереса. Но все мои аргументы, объяснения, отсылка к опыту Европы и США («ой, да чего они только не едят в этих Штатах!») разбивались о железобетонную плоскость голубого экрана.

На фразе «Вы абсолютно правы, это у людей в головах, это всё внушение, конечно, деньги можете не возвращать, только заберите» — я сломалась и выкупила злосчастный таурин. Родителям пригодится — они уже перевоспитанные.

А вот хорошее настроение выкупить, к сожалению, труднее.

Но тут уж сама виновата — нечего пытаться порядочных людей химией травить.

08.04.2017

В аптеку заходит молодая пара. Девушка сразу же вкапывается у витрины с лечебной косметикой, а молодой человек, за пару секунд сориентировавшись в пространстве, на всех парах летит к моей стойке, радостно вопя: «Агаааа! У вас есть КЛАВИАТУРА!» Вытягивает шею на всю глубину окошка, бормочет «ага, точно, вот он, под семеркой амперсанд, отлично!» и начинает лихорадочно тыкать в экран своего телефона.

— Сударь, у вас всё хорошо? — робко интересуюсь, выйдя из состояния ахоченьудивления.

— Да, всё отлично, это я пароль забыл, а тут символы под цифрами, отлично, — бодро отвечает сударь, вращая глазами по маршруту клавиатура-телефон. Снова издаёт ликующий вопль апачей, выхватывает у погружённой в созерцание французской органики спутницы планшет, шаманит над ним и торжественно, аки статут ВКЛ, начинает зачитывать список скидочных акций: посещение «Золотой шпору», фитнес-клуб, спа-салон, пицца, ещё один фитнес-клуб... Пир духа длится минут десять, девушка определяется с выбором косметики, юноша, не отрываясь от увлекательного чтива, протягивает мне кредитку, вслепую набирает пин-код, после чего бежит догонять выходящую спутницу, продолжая декламировать её спине: «махровое полотенце для новорожденных! посещение фитнес-центра "велнесс ..."» Остаток названия фитнес-центра сжевала захлопнувшаяся дверь. Клавиатура тяжело вздохнула: её звездный час оказался слишком быстротечным.

21.04.2017

Общество усиленно радеет за чистоту русского языка и замену иностранных слов исконными-родными.

Я с некоторых пор ратую за замену медицинских терминов общеизвестными — если речь идёт о людях, к медицине отношения не имеющих.

Ибо...

...«У меня кандинскокоз!»

(Стой и думай: это любовь к творчеству Кандинского — или наоборот? А ведь если «по-простому» назвать кандидомикоз молочницей — вероятность быть непонятой снизится в разы).

...«Мы хотим всей семьёй попринимать антигистаминное, стоит ли?»

Стоит, конечно, если это семейный случай сезонной аллергии. Нет сезонной аллергии? Дома кошки-собачки? Так аллергия на шерсть? Нет? Тогда зачем антигистаминное? Для профилактики? Чего профилактики-то? Ах, глистов! Тогда эффективнее будет антигельминтное, всё же. (Оно же противоглистное, например. Или глистогонное. Или просто таблетки от глистов, в крайнем случае).

...«У мужа возрастная делеция, что можно повтирать?»

(Возрастная делеция, понимаете? Куски хромосом повыпадали с возрастом, обычное дело. И повтирать, видимо, нужно, чтобы они обратно приклеились.

А может, имеется в виду «деменция» — слабоумие, то бишь? Но тогда втирай — не втирай, всё равно не запомнит.

Ан нет же, путём уточняющих вопросов приходим к алопеции. Облегчение-то какое — всего лишь лысеет человек, фух, отлегло! От алопеции втирания имеются, к счастью).

...«Дайте что-нибудь от диареи!»

Пожалуйста, есть чай, есть таблетки. Не нужно? А что нужно? Помыть? Простите, что помыть? На голове диарея? (Представили, да? Я тоже, к сожалению. Но всё оказалось не так жестоко, лечим себорею — перхоть, то бишь).

...«Сбор от простатита есть?»

Конечно, есть. Да, хронический простатит — противная вещь. Особенно когда у мамы... что, простите? (У мамы. Простатит. Хронический. Родитель № 1, привет, Европа!) Ах, поджелудочная? Нет-нет, простата немножко не то. (И не там. И не у мамы). У мамы панкреатит, очевидно. Хм, «какая разница»? Ну есть некоторая... несущественная.

И на десерт — гвоздь программы. На сцене — классическая юная блондинка.

— У меня после дефибрилляции раздражение, дайте что-нибудь помазать.

Вид у блондинки цветущий — но внешность же обманчива: мало ли, после каких перипетий её с того света вытащили! И не мудрено, что раздражение — скорее, даже ожог.

Ищу мазь — а нечистый дёргает уточнить:

— На груди?

— Нет, конечно, — почему-то возмущается блондинка и интимным шёпотом сообщает: — Там!

Проследив направление её взгляда, указывающего на «там», впадаю в некоторый ступор. Видимо, я безнадежно отстала от современных реанимационных технологий.

Дева, видя моё замешательство, с нотками раздражения (извините за случайный каламбур) в голосе поясняет:

— Вчера в салоне восковую дефибрилляцию сделала — а сегодня раздражение.

Занавес.

02.05.2017

Цветущий мужчина лет шестидесяти просит фитосбор. Выясняю проблему, подбираю состав, вручаю. Расспрашивает, из чего, от чего и как. Рассказываю о составе, механизме действия, показаниях...

— Подождите-подождите! — прерывает меня на полуслове и уточняет с подозрением: — А вы сейчас рассказываете или читаете?

— Рассказываю, конечно.

— Так вы мне не рассказывайте, а прочитайте!

— Там написано всё, о чём я вам уже рассказала — возможно, немного другими словами.

— Нет, прочитайте.

Начинаю зачитывать информацию на упаковке.

— Подождите! — опять возмущённо прерывает мужчину, — вы читаете?

— Читаю.

— А зачем вы читаете то, что уже рассказывали?

— А что вы хотите, чтобы я прочитала?

— Как — что? Прочитайте, поможет ли мне это!

Едва не сказала, что для чтения подобной информации мне нужно видеть его правую ладонь.

03.05.2017

Не день, а викторина «Угадай слово».

— Мне виброспрей нужен.

— Это от чего/для чего?

— Нос заложен.

— Риноспрей?

— Точно!

— Есть ли у вас биссектриса?

— ???

Путём долгих изысканий находим ответ: «Медиана». Подвёл человека геометрический ассоциативный ряд.

— Травя для снижения сахара с неприличным названием!

— Топинамбур?

— Нет, что-то со стервами связано.

— Стевия?

— Да, она.

08.05.2017

Частенько в аптечку забредают коммивояжёры. Да-да, те самые, ископаемые, с клетчатыми сумками, полными ностальгии по лихим 90-м. Те, ради которых в упомянутые 90-е на всех дверях офисов висели таблички «Посторонним вход воспрещён, особенно коммивояжёрам». Не спрашивайте, откуда они в 2017-м почти в центре Минска. Я сама думала, что вымерли, как класс, в начале 2000-х — либо эволюционировали в менеджеров по продажам — пока не пришла сюда работать. Возможно, их

держали в анабиозе — а теперь размораживают небольшими партиями и выпускают в люди. Возможно, они — часть мирового заговора рептилоидов по захвату мира с помощью немецких кастрюль китайского производства. Но факт есть факт: они существуют и по-прежнему разносят в больших клетчатых сумках дешёвое постельное бельё вырвиглазных оттенков, посуду, аляповатые детские книги и конфискованную парфюмерию элитных брендов от бабы Мани из соседнего подъезда. Когда год назад на пороге возник первый, я даже робко подержалась за ручку его сковородки — чтобы удостовериться в реальности происходящего.

За год привыкла — и даже научилась распознавать их с порога. И дело не только в сумках. Они улыбаются душевнее, чем я (для тех, с кем мы знакомы лично: да, такое возможно. Но для этого нужно быть коммивояжёром). А потом, не ослабляя улыбки, выдают: «Мы тут вашим соседям приносили заказ...» Видимо, с 90-х они не читали книг по профессиональному впариванию, ибо фраза неизменна, аки красная герань в окне явочной квартиры. И за ней, собственно, следует ритуал впаривания. Точнее, должен следовать, по законам жанра.

Я не осуждаю коммивояжёров — каждый зарабатывает на кусок хлеба, как может. Поэтому вначале даю предупредительный в воздух: «Большое спасибо, но мне ничего не нужно». Но увы, инстинкт самосохранения у этой категории, видимо, атрофирован напрочь, ибо предупредительный они игнорируют решительным: «Нет, но вы всё-таки посмотрите». Если игнорируется и второе: «Спасибо, но нет» (а оно, как правило, игнорируется) — это уже пахнет наглостью. А с наглцами, я считаю, нужно бороться их же оружием.

На их стороне — китайские элитные бренды, вырвиглазное бельё и десяток дежурных фраз из 90-х. На моей — 2000 наименований безумно полезных для здоровья товаров, о каждом из которых я могу говорить долго и вдохновенно, и навыки коммуникации, достаточные для подогрева душевности улыбки на десяток градусов. Понимаете, да?

Самые опытные ретируются после сочувственного замечания об усталом виде и, видимо, не очень хорошем сне. Менее сообразительные уходят, ошарашенные чем-нибудь, безумно полезным для здоровья. Самый настырный после долгой и проникновенной беседы разжился бутылкой настоящего кедрового масла экстра-класса всего за 25 долларов (и нет, меня совершенно не мучает совесть, ибо оно ему явно нужнее, чем мне — те настоящие французские духи цвета «мечта уриротерапевта», которые он пытался втереть всего за 50). Постоянными клиентами они, к сожалению, не становятся — ибо никого из них я повторно почему-то не наблюдала.

Но сегодня мой шаблон был порван по всем швам. Представьте себе женщину с алкогольным стажем лет в пятьдесят — с соответствующей внешностью и соответствующим букетом ароматов, всклокоченную, бельмастую, трясущуюся. И вот она прёт на прилавок с нахрапистостью

носорога, я уже готовлю дежурный ответ об отсутствии боярышника... и вдруг мадам, размахивая пластиковой бутылкой с неясным содержимым, выдаёт — тоном, не терпящим возражений:

— ТЕБЕ НУЖНО ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО!

...и тут я впервые искренне пожалела, что мы не торгуем боярышником.

16.05.2017

Премилую беседу вчера имела.

Подметаю перед открытием крыльцо и территорию возле аптечки, молодая дамочка пытается меня обойти и прорваться внутрь.

— Девушка, — говорю, — если вы в аптеку, то там пока никого нет.

Подождите минутку.

— А где все? — любопытствует девушка.

— Перед вами.

— А где аптекарь?

— Говорю же: вот она я.

Дамочка смотрит на меня с подозрением:

— А вы разве не санитарка?

— Санитарка. И дворник. И консультант, и аптекарь, и заведующая в одном флаконе.

— А можно задать интимный вопрос? — интересуется после паузы.

— У вас образование есть?

— Где-то лежало.

— Медицинское? Биологическое?

— И то, и другое. И немного аспирантуры в роли вишенки на торте. А в чём интимность вопроса?

— Понимаете, — уже более доверительно сообщает дама, — у меня вот тоже образование. И я работу ищу.

— Вы хотите к нам устроиться? Это через офис.

— Дело в том, что у меня трудный выбор между (называет научную лабораторию, где я работала), медуниверситетом (называет кафедру, где я, опять же, работала) и вашей сетию.

Размышляя, стоит ли сократить её карьерный путь на пару кругов ада, уточняю, в чём суть сомнений и чего она вообще ждёт от работы.

— Денег и престижа, разумеется! — следует немедленный ответ.

— Если денег — то первые два варианта вас гарантированно разочаруют: по иронии судьбы, и там, и там я имела счастье трудиться.

— И?

— И вот я здесь.

— А как вы теперь знакомым в глаза смотрите? — удивлённо восклицает она, вытянувшись лицом.

— ???

— Неужели для вас нет разницы между «я преподаватель», «я научный сотрудник» и «я — простите — аптекарь»? Не имеет значения престиж?

— Видите ли, для меня имеет значение только возможность реализовать себя на работе, получить моральную отдачу — и, что уж там — материальную тоже. А что при этом записано в трудовой — как-то не особо важно. Здесь меня, на данный момент, всё в этом плане устраивает.

— И вы не считаете унижительным подметать крыльцо?

(Память услужливо подбрасывает отмыывание на пару с коллегой полов в лаборатории после ремонта, переклейку обоев в своём кабинете после потопа, дружное махание метлами на субботниках — всем коллективом во главе с заведующей).

— Нет, конечно.

— Странная вы! — пожимает плечами дамочка и, почему-то обиженно надув губки, уходит — видимо, ждать освобождения вакансии английской королевы.

22.05.2017

Солидный мужчина в годах спрашивает «самый простой» рыбий жир. Показываю в капсулах.

— Нет, мне нужен жидкий!

— Жидкого у нас нет, весь капсулированный.

— А мне нужен только жидкий! — Выражение лица пациента становится хитро-торжествующим, — вы никогда в жизни не догадаетесь, для каких целей!

— Давайте попробую, с одной попытки. Вы рыбак.

Такого роста шкалы уважения в чужих глазах я ещё не видела. Если бы у него в кармане случайно завалилась хрустальная сова — честное слово, вручил бы без раздумий.

13.12.2017

— Посоветуйте для ребёночка витаминчики!

— Возраст ребёночка?

— Семнадцать.

— Кгм. Возьмите вот такие, очень хороший комплекс, грамотно сбалансирован.

— Но они же... взрослые!

— С шестнадцати лет взрослая доза.

— Как с шестнадцати? Нет, нам такие же, но детские.

Дальше — вообще песня:

— Дайте моему ребёнку тест на беременность.

— Вам какой, обычный или высокочувствительный?

— Ой, всё равно, лишь бы отрицательный.

И среди всего этого мамского беспредела на сцене появляется молодой человек:

— Так, где тут у вас кремы?
— Какие именно интересуют, для кого выбираете?
— Для мужика моего! — и, видя мой слегка удивлённый взгляд, с улыбкой поясняет: — для сына. Под памперсы.

04.01.2018

— Сейчас-сейчас, я осмотрюсь, сориентируюсь, а потом что-нибудь спрошу, — с порога частит улыбчивая тётенька.

— Пожалуйста, — улыбаюсь, — осматривайтесь! У нас экскурсия бесплатная, услуги экскурсовода, кстати, тоже.

— Откуда вы знаете? — вдруг вздрагивает она.

— Что?

— Что я экскурсовод!

Ох, горел бы кто-то в Средневековье синим пламенем. Причём не за дело горел, что самое обидное.

Вчера совершенно юное зеленоглазое создание пришло ко мне за препаратом для потенции — очень серьёзным и весьма дорогим. Уточнила, на всякий случай, для кого он интересуется.

— Для себя, — смущается, — нет, вы не подумайте, у меня всё в порядке.

— Зачем тогда, — занудствую, — оно вам надо?

— Для уверенности, — лепечет и глазки зелёные тупит, — я в Интернете прочитал, что оно тридцать шесть часов действует.

«Понятно, — думаю, — начиталось золотишко в этих наших интернет-ках сказочек про половых титанов». И предлагаю ему вариант раза в три дешевле и явно более подходящий «для уверенности». Повздыхал детишка, ушёл думу думать.

Является сегодня:

— Вы меня помните? — в глаза с надеждой заглядывает.

— Помню, конечно.

— Прочитал я про тот препарат, что вы предлагали. Давайте, наверное, попробую.

— Попробуйте, конечно. Вреда от него не будет, а польза будет точно.

— Уверены?

— Абсолютно.

Взял — и мнётся у прилавка, румянится, бэйджик мой изучает. Потом робко так, словно воду белой ножкой шупает:

— А может, мы с вами познакомимся?

Поясню. Покупка средств вышеупомянутой категории очень часто заканчивается попытками познакомиться, поужинать вместе и на себе испытать всё могущество купленного. Это, видимо, некий тайный мужской

ритуал. Обычно я делаю, в таких случаях, искренне-удивлённые глаза и восклицаю с пафосом кисейной барышни: «Боже, неужто подействовало даже сквозь упаковку?» Достаточно, чтобы новоявленный Казанова сменил тактику с массовой атаки на активное отступление за пределы аптечки.

Но этот хрупкий росток зарождающейся мужественности на асфальте реальности, честное слово, застал меня, языкатую, врасплох и заставил забыть все буквы алфавита, кроме одной:

— А?

— Вы же не замужем? — и на кольцо обручальное смотрит.

Тут я забытый алфавит мигом вспомнила:

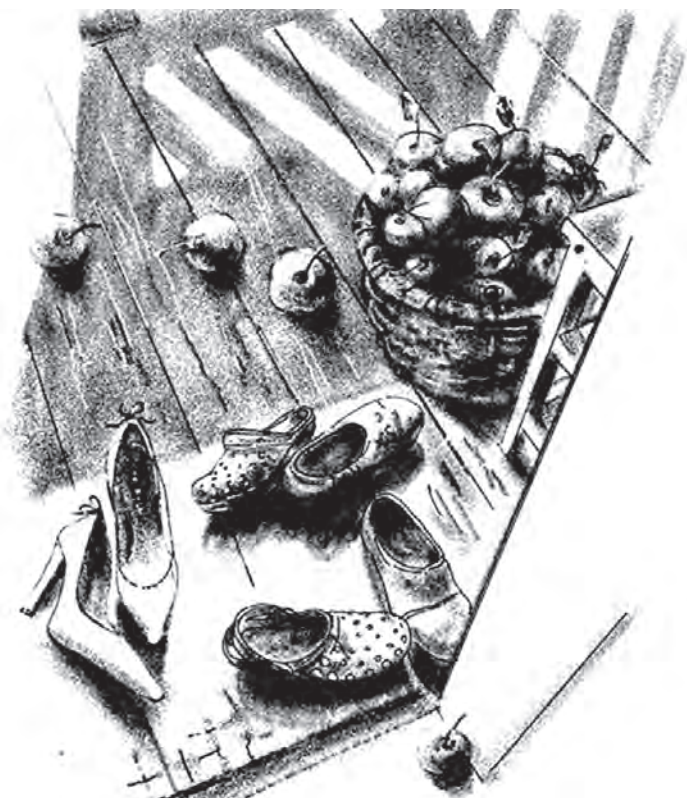
— Замужем, — говорю, — глубоко и безнадежно.

— Почему безнадежно? — с надеждой спрашивает, — всё так плохо, да?

— Наоборот. Всё так хорошо.

Пригорюнилось дитяtko и убрело в январскую морось. А я стою тут — и вместо законной гордости испытываю какую-то жгучую досаду за этих вот мальчиков, которые как-то не по возрасту рано пытаются играть по взрослым правилам...

Старею, наверное.



© Художник Елена Любovich

РУССКИЕ ПО МИРУ



Кирилл Бенедиктов
(Черногория, Бар)

Русский писатель, публицист. Автор романов «Война за Асгард», «Путь Шута», политических биографий Марин Ле Пен («Возвращение Жанны д'Арк») и Дональда Трампа («Черный лебедь»). С 2017 г. живет в городе Бар, Черногория.

Маленькая красивая страна

Три года назад мы с женой приехали в Черногорию первый раз, и сразу же захотели там остаться.

Такое случается — ты приезжаешь в новую для тебя страну или город, понемногу открываешь их для себя и в какой-то момент понимаешь, что запланированного для посещения этой страны или города времени тебе не хватает. Если у тебя получается, ты возвращаешься в эту страну и проводишь там ещё неделю или месяц. Или не возвращаешься, и тогда у тебя появляется ещё один «незакрытый гештальт».

С Черногорией всё было по-другому.

Мы приехали рано утром, на поезде из Белграда, по железной дороге, проложенной довольно высоко в горах, и это само по себе было замечательным приключением: поезд то и дело нырял в длинные туннели, пробитые в скальной толще, и тогда в купе становилось темно, а потом снова выныривал под яркое утреннее солнце, и тогда из окна вагона можно было видеть зелёные каньоны горных рек далеко внизу и морщинистые серо-стальные утёсы, громоздящиеся друг на друга и уходящие под самые небеса. Мы сошли на конечной станции, встретились с агентом по аренде автомобилей и получили у него ключи от новенькой «Шкоды-рапид». И поехали куда глаза глядят — у нас были забронированы апартаменты в небольшом курортном посёлке на юге страны, но до заселения оставалось ещё четыре часа, так что торопиться смысла не было.

Мы проехали через весь город, который показался нам необычайно пустым, припарковались около кафе с совсем не балканским именем «SOHO» и сели на открытой террасе с видом на розовые горы. Официант принёс нам две чашечки кофе по-турецки (из патриотизма его тут называют «домача кафа») — очень крепкого и сладкого. Мы сидели, пили кофе, смотрели на горы и вдруг поняли, что хотели бы здесь жить. Именно в этом городе, о котором тогда ещё не знали ничего. Сочетание атмосферы, пейзажа и вкуса кофе создавало невыразимую гармонию. В этот момент начали переливчато звонить колокола на звоннице большого православного собора — его золотые купола ярко горели на утреннем солнце. Картина была завершена.

Мы приезжали в Черногорию ещё дважды, а на третий раз остались там жить. Теперь мы живём в доме рядом с кафе «SOHO», с балкона нашей квартиры видны розовые горы, разноцветное — в зависимости от времени суток — море и золотые купола собора.

Переехать в Черногорию проще, чем кажется. Для этого, в общем-то, не нужно ничего, кроме загранпаспорта и некоторого количества денег. Официально граждане Российской Федерации могут проводить здесь три месяца без визы — но в реальности живут в Черногории годами. Три месяца заканчиваются, человек выезжает в соседнюю Сербию или Боснию (летом проще и ближе в Албанию, которая на туристический сезон тоже становится безвизовой страной) — и возвращается как ни в чём не бывало. Время от времени власти пытаются закрутить гайки и применять норму, согласно которой после 90 дней пребывания в Черногории иностранец должен 180 дней пробыть за её пределами, но каждый раз это у них не получается. Да и странно это как-то — пилить сук, на котором сидишь. Львиную долю доходов Черногория получает от туризма. Если турист хочет остаться в стране подольше, какой смысл его выгонять?..

Впрочем, если Черногорию возьмут в Евросоюз, этому милому балканскому разгильдяйству всё-таки придёт конец. Но иностранцев — и особенно русских — здесь всё равно меньше не станет: многие обзавелись недвижимостью, многие открыли свои фирмы или устроились работать — пусть даже фиктивно — в фирмы друзей. Такие иностранцы получают боравак — разрешение на проживание в стране сроком на один год. Через год его можно продлить ещё на год, а потом ещё и ещё — было бы желание.

Желание есть у многих.

Черногория — идеальное место для русского человека, которому надоело короткое российское лето, долгие тёмные зимы и грязное хлюпающее межсезонье. Здесь есть всё, что составляет обобщённое представление обитателя Среднерусской равнины или Сибири о земле обетованной: тёплое море, пальмы, умеренно экзотические фрукты и доброжелательные улыбчивые люди. Правда, при ближайшем рассмотрении тёплое море оказывается довольно грязным (по крайней мере, у крупных населённых пунктов), а улыбчивые местные жители время от времени демонстрируют типично восточную хитрость: сказывается многовековое турецкое влияние. Граница между Османской империей и Венецианской республикой три столетия проходила между городами Бар и Петровац — и по сей день к югу от этой линии много албанцев и омусульманенных славян-черногорцев. Здесь на базарах не продают свинину, хотя ракию (местный фруктовый самогон) можно купить везде. Слова пророка о том, что первая капля вина губит человека, явно прошли мимо черногорских мусульман.

Современные черногорцы вообще очень отличаются от своих исторических и литературных предков. Известные строфы Пушкина «Черногорцы? что такое? — Бонапарте спросил. — Правда ль: это племя злое, Не боится наших сил?» И стихи Высоцкого «Водой наполненные горсти Корту спешили поднести — Впрок пили воду черногорцы И жили впрок — до тридцати. А умирать почётно было Средь пуль и матовых клинков, И уносить с собой в могилу Двух-трёх врагов, двух-трёх врагов», — относятся к каким-то совсем другим черногорцам. Когда-то это были свирепые, не расстававшиеся с кинжалами и пистолетами горцы. Нынешние обитатели Монтенегро — до-

бродушные, ленивые бонвиваны: пресловутые «десять черногорских заповедей» тому подтверждение. Что-то вроде славянских итальянцев — Италия тут совсем недалеко, восемь часов на пароме через Адриатическое море, и влияние её чувствуется во всём. Или, точнее, почти во всём: например, знаменитого итальянского ликёра «Лимончелло» в Черногории не сыскать днём с огнем, хотя лимонов здесь много.

К русским нынешние черногорцы относятся тоже совсем не так, как их предки. Это в XVIII веке черногорские капитаны обучали русских морскому делу, а воевавшие с турками горные кланы молились о здоровье русского царя и надеялись на то, что Российская империя придёт к ним на помощь во всей своей силе и славе. Теперь всё изменилось. Лет пятнадцать назад в Черногорию хлынул поток богатых русских, скупавших здесь дома и земли; анекдотические случаи, когда такой новоприбывший приходил к хозяину понравившейся ему виллы, клал на стол чемодан, набитый долларами или евро и говорил: «Крутись как хочешь, но чтобы через неделю тебя здесь не было» — действительно имели место. За последние десять лет жители России вложили в недвижимость Черногории 4,5 миллиарда (!) долларов. Поэтому если уж ты решил связать свою жизнь с Черногорией, надо просто смириться с тем, что — по крайней мере, поначалу — в тебе будут видеть кошелёк на ножках, в крайнем случае — человека, у которого полно богатых знакомых и родственников, мечтающих приобрести в этой красивой маленькой стране виллу, дом, квартиру или хотя бы участок земли под застройку. И только потом, через несколько месяцев, а то и лет, твои черногорские знакомые начнут относиться к тебе как к нормальному человеку. Или не начнут.

Другое дело — сербы. Считается, что сербы и черногорцы — один народ, но с тех пор, как в 2006 г. Черногория отделилась от Сербии, проголосовав на референдуме за независимость, отношения между ними стали довольно напряжёнными. Наши сербские друзья в Белграде, услышав, что мы живём в Черногории, мрачнеют и переводят разговор на другую тему. А местный таксист Момо (серб из Валево, лет двадцать работающий на побережье), говоря о черногорцах, неизменно впадает в ярость.

«Вот как это может быть? — спрашивает он, показывая толстым пальцем на произвольно выбранного прохожего. — Твой отец — серб! Твоя мать — сербка! Брат твой — серб. А ты... (набирает в грудь воздуха, а потом словно выплёвывает) ты — монтеггинец! Разделили нас, как вас, русов, с украинцами. Теперь они тут все — монтеггинец. Тьфу!» (действительно смачно плюёт в окно).

С сербами в Черногории можно дружить. Серб не будет стараться продать тебе дом (виноградник, фруктовый сад, яхту — нужное подчеркнуть). Серб обязательно угостит тебя ракией (не слушая твоих возражений — «что значит — "за рулём"? Мы же только по стаканчику, ни один инспектор не придерётся!»), пригласит в кафе или в ресторан и обязательно попытается за всех заплатить. Серб расскажет, что у него здесь, в Черногории, «дача», и в его словах будет слышаться тайная печаль по утраченному выходу к тёплому морю.

И в разговоре с сербом обязательно всплывёт забытое, казалось бы, слово «Югославия» — как символ ушедшей навсегда страны, где сербы и черногор-

цы, хорваты и словенцы, босняки и косовары жили вместе, вместе отдыхали летом на адриатическом побережье, болели за белградскую «Црвену Звезду» или загребское «Динамо», ездили на машинах «Yugo» и пили витаминный напиток «Цедевита». В Черногории о Югославии вспоминают гораздо реже — во всяком случае, единственный встреченный нами патриот этой переставшей существовать одновременно с Советским Союзом страны оказался семидесятилетним рыбаком с берегов Скадарского озера. Это не удивительно — черногорцы, в отличие от сербов, народ не имперский. Им уютно жить так, как они живут: в маленькой красивой стране. Им совсем не хочется ни с кем воевать, весь запас своей пассионарности (по теории Льва Гумилева) они израсходовали в яростных войнах с турками. Сидеть под деревом, потягивать крепкий кофе из маленьких чашечек, вести ленивую беседу с друзьями или родственниками — это черногорцу по душе. А ссориться, конфликтовать, отстаивать какие-то принципы — это не для него. За всё то время, что мы живём в Черногории, я не видел ни одной драки — да что там, ни одной серьёзной ссоры. Споры улаживаются по-хорошему, черногорец всегда готов пойти на компромисс, очень редко доводит дело до взаимных оскорблений. Наш знакомый серб Радуг четверть века назад (Черногория и Сербия ещё были одним государством) купил себе небольшой участок земли на побережье. В последние годы по соседству с его участком выросло несколько больших домов, которые владельцы превратили в апартаменты. Построил дом и Радуг — но маленький, для себя и своей семьи. И тут соседи подали на него в суд: оказывается, домик Радуг, стоящий на первой линии, частично заслонил их постояльцам вид на море и нанёс ущерб их бизнесу. Суд приговорил Радуг к 60 часам исправительных работ — он должен был помогать медперсоналу городского госпиталя. Радуг не стал протестовать, отработал, сколько положено и вернулся в свой домик. С соседями отношения у него ровные, они здороваются при встрече и делают вид, что ничего страшного не произошло.

Иногда мне кажется, что такое отсутствие агрессии — прямое следствие веков кровопролитных войн с турками и вражды горных кланов между собой. Поневоле станешь спокойным и терпимым, если поколения твоих предков были готовы убить или умереть из-за кособокого взгляда или обидного слова. Так это или нет, но с нынешними черногорцами поспорить довольно сложно — уж очень они доброжелательны.

При всём том, Черногорию никак нельзя назвать страной с нулевым уровнем преступности. И в столице — Подгорице — и в городах на побережье, разборки из-за раздела сфер влияния вовсе не редкость. Иногда жертвами этих разборок становятся и русские эмигранты — как правило, те, кто по незнанию или глупости влез в рискованный бизнес. Но это, скорее, исключение, чем правило. Заниматься предпринимательством где-нибудь в российской глубинке ничуть не менее опасно. И уж совершенно точно — гораздо более мутно.

Русскому человеку в Черногории комфортно. Вокруг свои же братья-славяне, язык более или менее понятен (словарный запас некоторых переселенцев-старожилов вряд ли богаче, чем у Элочки-людоедки — и не от неспо-

способности к языкам, а просто из-за отсутствия необходимости: при некоторой настойчивости тебя поймут везде), вера своя, православная. Русская диаспора многочисленна — правда, сколько тут наших соотечественников, сказать сложно — кто-то живёт постоянно, кто-то приезжает на сезон, но каждый год. Собираются в группы по интересам, играют в интеллектуальные игры, которые настолько популярны, что на еженедельные игры энтузиасты ездят через полстраны в Будву или Бар, устраивают концерты, поют в хоре, организуют спортивные соревнования, субботники по уборке пляжей. Последнее особенно актуально, потому что, несмотря на то, что восемь лет назад Черногория была официально объявлена первой в мире «экологичной страной», здесь довольно-таки грязно. Черногорцы — и, конечно, многие туристы — редко заморачиваются тем, чтобы донести мусор до ближайшей урны или бака. Никогда не думал, что буду испытывать ностальгию, вспоминая бродящих по московским дворам таджиков с палочками для накалывания бумажек и прочего сора — но местным коммунальным службам до них очень далеко. Впрочем, это уже придирки: если не держать человека в строгости, он любое райское место способен загадить. А как держать в строгости черногорцев, кажется, ещё никто не придумал.

Главная же особенность Черногории в том, что она, как известная квартира из романа Булгакова, изнутри гораздо больше, чем кажется снаружи. Знакомое туристам побережье с весёлой разгульной Будвой, строгим Свети-Стефаном, волшебным Котором, беспокойным Сутоморе, идиллической Утехой, таинственным Ульцинем и другими городами и посёлками — всего лишь верхушка айсберга. А ведь здесь есть ещё уютная старая столица Цетине, и сказочный монастырь Острог, построенный прямо в горе, и глубокие карстовые пещеры, и национальные парки, один из которых, носящий зловещее имя «Проклетие», иногда называют последним «белым пятном» Европы, и второй по глубине в мире (после американского Гран-Каньона) каньон реки Тара. И высокогорные лыжные курорты, и спрятанные от посторонних глаз бухты с кристально-чистой водой, и затерянные в зелёных долинах церкви, построенные ещё до турецкого нашествия. И устричные фермы Бока-Которского залива, и непроходимые леса на севере страны, где зимой можно охотиться на кабанов и волков (само имя страны — Црна Гора — означает не столько «чёрные горы», сколько «дремучий лес»). И много, много чего ещё есть здесь такого, что обязательно стоит увидеть, и чего, как правило, не видят туристы, приезжающие в Черногорию за пляжным отдыхом на две-три недели.

Согласно известному афоризму, ремонт невозможно закончить — его можно только остановить. Так и рассказ о Черногории — сейчас, перечитав текст, я понял, что не написал и половины того, о чём собирался. Поэтому ограничусь тем, что скажу: эта страна заслуживает того, чтобы приехать сюда хотя бы раз в жизни.

БЕСЕДЫ



© Художник Елена Любич

Андрей Монастырский (Россия, Москва)

Родился в Москве 5 апреля 1954 года.

Окончил «Строгановку» по специальности «Монументальная живопись», недолго работал по этой специальности в структурах Худфонда СССР. С 1991 года учился в Италии технике гравюры по металлу и шелкографии. Работал в рекламе. Там же, в Италии, увлёкся церковной живописью и иконографией. Вместе с женой, Екатериной Монастырской расписывал церкви в Тоскане и Апулии. Последние десять лет «итальянского периода» прожил в Милане, где писал алтарные иконы для церквей и большие распятия. Конечно, выставки. Вернувшись в Москву, занимался витражами и преподавал живопись в ВУЗе. Случай привёл в реставрацию. Оказалось всё знакомо; леса, стена, шпаклёвки-штукатурки и вместо бархатного берета с перьями носишь спецовку и оранжевую каску. Но есть своя специфика. О ней сегодня и ведём речь.

Возвращение мастеров



Екатерина Монастырская за работой

Начиная с конца 90-х и по сегодняшний день у нас в России происходит настоящий реставрационный бум. Восстанавливаются во множестве памятники культуры, ещё многие ожидают своей очереди, создаются факультеты реставрации, готовые настоящих профессионалов, а многие художники приходят в эту сложную и многопрофильную профессию, сочетающую знания и умения из совершенно разных областей — от точных наук, истории, искусствознания, глубокого владения

старинными техниками живописи, вплоть до обычных строительных специальностей — штукатура, каменщика, маляра, шпаклёвщика, учась всем тонкостям и премудростям ремесла, как это было заведено в прежние времена — в процессе работы, у мастеров.

Так произошло и в моём случае, хотя ранее мне приходилось участвовать в росписи церквей и даже реконструкции старой живописи, но реставрацией в полном смысле этого слова я занимаюсь сравнительно недавно, если быть точным, с 2012 года. Как ни странно, за столь небольшое время удалось поучаствовать в реставрации многих церковных и гражданских памятников. Жемчужиной этого опыта могу назвать эпохальную реставрацию Троице-Сергиевой Лавры 2013-2014 гг., в работе, которой были заняты около двухсот только художников-реставраторов, всего же каменщиков, резчиков, позолотчиков, штукатуров и подсобных рабочих насчитывалось более тысячи.

Для художников-реставраторов этот объект представлял интересный опыт: живопись маслом XIX века и фрески XVII столетия в Успенском Соборе. Некоторые произведения были в хорошей сохранности, другие же испытали на себе все капризы и непогоды времени и истории. Во время этой работы я познакомился с опытным реставратором — заслуженным художником России Валерием Витошновым, с которым за прошедшие с той поры несколько лет удалось сотрудничать в реставрации нескольких объектов, каждый из которых по-своему, каждой новой гранью — раскрывал невероятные богатство и красоту, которые мы унаследовали от предков.

И вот недавно, когда зашла речь о том, чтобы написать для альманаха несколько слов о реставрации, — так совпало, что мы с Валерием Георгиевичем реставрируем живопись в Саранске, где он руководит проектом реставрации церкви Св. Николая. Я воспользовался случаем расспросить его о перипетиях профессии и записал эти беседы. И это стоило записать, как мне теперь очевидно.

Андрей Монастырский: *Валерий Георгиевич, сейчас очень много говорят о реставрации, она у всех на слуху, очень большой в обществе интерес, но никто не знает, как это происходит, чем отличается художник от реставратора и всякие подобные вещи приходится слышать. Давай начнём с такого заметного случая, как восстановление Храма Христа Спасителя. Это не была реставрация в обычном её понимании, но об этом мы поговорим позднее. Ты же не просто в этой работе принимал участие, но, насколько я знаю, отвечал за все орнаменты, и их там просто гигантское количество.*

Валерий Витошнов: Нет, это не совсем так, надо сейчас вспомнить... это какой год, девяносто восьмой? Наверное, да, девяносто восьмой. Там Академия несколько конкурсов проводила среди художников, а потом они сообразили, что большую-то часть занимают орнаменты. И устроили отдельный конкурс на исполнение орнаментов. Дали всем одинаковое задание, чтобы в равных условиях все находились. То есть где-то там квадратный метр такой плиты,

на которой надо было сделать всем одинаковые орнаменты. Дали красочки, дали образец; ну, как бы элементарно надо было сделать копию. И тут вопрос тщательности исполнения стоял, с одной стороны. А экономический интерес тоже сохранялся, то есть, надо было дать свой расчёт стоимости работы.

А.М.: *Настоящий тендер, да?*

В.В.: Да. Как бы тендер. Он так и назывался, творческий конкурс. Но если у художников был свой интерес, там был Церетели, — три бригады были у него, и все выиграли; то здесь у нас было двенадцать-тринадцать бригад художников.

А.М.: *Уже в исполнении на стенах или только на конкурсе?*

В.В.: Фактически все, кто вышли на конкурс, и остались. Все ведь, в общем-то, профессионалы. Это люди, работавшие в Храмах, работавшие в реставрационных мастерских, занимавшиеся практической реставрацией. Вот поэтому там критерием было именно качество. Что касалось нашей бригады, — ну, на просмотре у нас было первое место. И то, что у нас было первое место — это давало возможность первым выбрать участки работы. Где мы хотели бы исполнять, какие работы хотели бы делать.

А.М.: *То есть, из всего бесконечного массива орнаментов вы могли выбрать наиболее интересные вам участки?*

В.В.: Сохранились эскизы, сохранилась картина Кладеса, где в большом формате Храм был изображён, очень так академично по цвету, форме, поэтому проектировщики нам давали ну как бы картоны на все орнаменты...

А.М.: *Валерий Георгиевич, извини, я хочу прояснить один момент. Не все читатели знают, что картоном в изобразительном искусстве называется не тот материал, что в обычной жизни мы зовём картоном или картонкой, если маленькая, а рабочий рисунок для живописи в натуральную величину. И, забегаая вперёд, напомним, что раппортом называются повторяющиеся части орнамента.*

В.В.: Да, совершенно верно, наше дело было эти раппорты вписать в существующие стены. Потому что размеры гуляли. Просто буквально одна стенка напротив другой и какие-то легкие изменения, — там два-три сантиметра разницы. И раппорт уходит. А самое было, что способствовало нашей работе, эта живопись повторялась. Живопись Храма Христа послужила примером на десятилетия для периферийных храмов. Бывало, делаешь орнаментальную композицию, ну, она есть и есть, а когда в эту историю пришли с Храмом — видим, вот она откуда взялась-то.

А.М.: *Я был в прошлом сентябре в Храме Христа и должен сказать, что количество орнаментов там колоссальное. Зная, что ты делал эту работу, я как-то осознанно посмотрел на эти орнаменты, пытаюсь представить, как это делалось. Сколько там всего метров, не помнишь?*

В.В.: Не помню точно, тысяч тридцать, кажется. У меня две тысячи пятьсот метров было, у соседней бригады две тысячи, больше десяти было бригад, причём из разных городов, не только московские. Там и питерские, и псковские, и ярославские...

А.М.: *А в каждой бригаде было человек по пятьдесят, наверное?*

В.В.: По-разному, некоторые приходили чтобы «отметиться». Взял себе небольшую композицию и делает. Ничего плохого в этом нет, но вот так было. И потом у всех своя манера, кому-то нужны помощники, кто-то один любит работать — сам отрисовал, сам сделал подготовку, гризайль... Хотя там, конечно, на ходу учились. Ходили друг к другу, смотрели. Ведь к работе приступали по мере готовности поверхности стен, кто-то мог раньше начать, ближе к верхней части, другие в средней или нижней части ждали своей очереди.

А.М.: *Как это знакомо, эта «жизнь на лесах» в гигантском Соборе. Сколько всего ярусов там было?*

В.В.: Я тебе скажу, там два лифта было. А ярусов точно не помню сколько, там, по-моему, семьдесят метров до купола, вот считай два метра ярус — тридцать пять ярусов. Ну там, ты обратил внимание, наверное, где-то четверть высоты стен мраморная отделка занимает. А поскольку у нас было первое место, мы могли выбрать какие-то более интересные куски, чем просто орнамент. И так как я эти интерьеры уже видел, я попросил мне отдать большие подпружные арки. Особенность их в том, что они сочетают медальоны с портретами святых и орнаментальные вставки. То есть, и по площади это хорошо, много, и работа интересная, связанная не только с повторяющимся орнаментом, но и с живописью.

А.М.: *Хорошо, что мы начали нашу беседу с Храма Христа Спасителя. Работа проделана гигантская, объект заметный, вернее будет сказать, знаменитый, но ведь он был полностью разрушен и впоследствии воссоздан заново. А мы говорим о реставрации, значит, какому этапу реставрационных работ это соответствует — «воссоздание живописи»?*

В.В.: Не совсем так, воссоздание — это когда хоть что-то, но осталось, какие-то фрагменты, прориси, и мы восстанавливаем утраты. Здесь же уместнее говорить о реконструкции.

А.М.: *Валерий Георгиевич, я хотел тебе задать вопрос об этапах реставрации. Как это происходит, с чего начинается, чем заканчивается...*

В.В.: Чем заканчивается, мы знаем (смеётся).

А.М.: *Знаем. Раздачей слонов.*

В.В.: Обычно реставрация начинается с визуального обследования. Приезжаем на объект и смотрим. Что нас ждёт. В каком состоянии живопись, что можно предпринять для её сохранения. Хотя подчас, и это чаще даже бывает, мы приезжаем, когда стены фактически белые. Предстоит исследовательская работа: пробные расчистки, пробные зондажи. Надо понять, есть ли там живопись, сохранилась ли она, в каком она состоянии. Какая техника живописи была, какие материалы использовались. То есть, вариант с уже существующей живописью — это одна история, а вариант исследовательских работ на памятниках, которые подверглись каким-то переделкам, ремонтам — это как бы чистые страницы, так сказать. Иная ситуация.

А.М.: *Да, там может много что найтись под побелкой.*

В.В.: Может найтись, но, чтобы быть уверенным, что эта работа имеет смысл, что что-то может быть там, помимо зондажей, чтобы не наобум их делать, тоже надо иметь представление о том, как могла располагаться орнаментальная, фигуральная живопись в данном интерьере, в данном памятнике именно этой эпохи. Потому что, допустим, XIX век (усадебный имею в виду) — это одна история, XVIII — иначе. Поэтому, наверное, правильно сказать, что начинается с изучения архивных материалов, с составления исторической справки, выявления каких-то описей, каких-то фотоматериалов. Идеальный вариант — это чертежи и эскизы, если это какой-то неординарный памятник и по нему история строительства сохранилась.

А.М.: *А такое часто встречается?*

В.В.: Ну, это бывает, как правило, на выдающихся памятниках, не регионального, а республиканского значения. Хотя бывают всякие неожиданности. Дело в том, что вот эта исследовательская работа по составлению исторической справки, она практически ведётся весь период реставрации, так что выясняются... Да, во-первых, архивы разбросаны у нас по разным городам, можно искать в одном, а материалы находятся в другом, в Москве ли, в Петербурге или областном центре есть архивы фотодокументов, есть литературные, то есть много архивов надо пройти, исследовать, материалы могут быть не только в фондах архитекторов, а в публицистике или периодике, например. Часто бывает, что фотографии всплывают тогда, когда часть работы уже сделана. Находится эта фотография, на которой все иначе. Приходится концепцию перестраивать, пересматривать.

Так что вот с чего начинается. Прочитав историческую справку, уже имеем представление о том, что нас может ожидать. В исторической справке могут быть сведения об авторах росписей, бывает так, что архитектор также и программу росписей разрабатывает, исполнители всплывают, и уже какие-то даже описания сюжетов, их месторасположение, персонажи, если мы говорим о церковной живописи. И имея уже, обладая этими сведениями, можно приступить плавно к работам, то есть мы начинаем в разных местах интерьера, на стенах, потолках, простенках делать пробные раскрытия, послойные. То есть каждый слой фиксируется и сохраняется, такой лесенкой. Как правило, живописный слой, он отличается от всяких промежуточных проклеек, пропиток, шпаклёвок, и опытный глаз сразу видит, что это не малярная покраска, а всё-таки живописный слой. И по мере того как появляются подозрения, что какие-то элементы, фрагменты живописи сохранились, эти пробные зондажи могут увеличиваться, принимать такие формы, которые позволяют показать комиссии, специалистам — уровень этой росписи, дефекты, которые на ней имеются и, в идеальном, наверное, варианте представить схему росписи. Где была орнаментальная роспись, где были сюжеты.

Наверное, стоит ещё сказать, что, не говоря о стилистике, есть просто разные техники живописи. В зависимости от этого подход к работе может меняться, даже не подход, технология работы. Наша задача выявить и сохранить.



А.М.: Ты сейчас говоришь о разнице технологии работы с фреской относительно масляной живописи, или, допустим, клеевой и прочими техниками?

В.В.: Именно. И после того, как зондажи в таком виде выполнены, собирается реставрационный совет или комиссия специалистов, которым это всё показывается, докладывается, и принимается решение о целесообразности работ и о подходах, технологических подходах, какие материалы могут быть. Потому что даже в ходе пробных расчисток параллельно делаются и работы по удалению лака, по укреплению красочного слоя. Даже само раскрытие, там ведь тоже экспериментируешь, какими растворителями расчищать. Ведь на каждый промежуточный слой — свой подход. Для лака одни растворители, для клеевой шпаклёвки — другие, для масляной — третьи. Уже идёт подбор материалов и приёмов, которыми максимально щадяще, не разрушая авторскую живопись, можно добиться её расчистки. И значит, на художественном совете обсуждается методика работ. Делается предварительная методика, которая докладывается комиссии, и на совете решается вопрос о правильности и целесообразности выполнения тех приёмов и материалов, потому что сейчас у нас большой выбор вариантов. Материалов и вариантов для работы. Каждый раз это всё очень индивидуально.

Первый этап, если его так обобщить, это научно-исследовательские работы. Это архивная работа, это визуальные исследования и экспериментальные работы по изучению поверхности стенописи. И самое главное, результатом всех этих работ-исследований должен являться отчёт, то есть это должно быть обязательно зафиксировано и

в описаниях, в заключении, на схемах. На каждое помещение, каждую стену вычерчивается, делается схема, фиксируются места проб, результаты этих проб. И фото-фиксация.

В этот отчёт также входит методика проведения реставрационных работ. Сначала делается консервация — открывается и сохраняется то, что дошло до нашего времени. А потом уже, после того как мы живопись стабилизировали... тут надо сказать, что первым таким звеном являются противоаварийные работы. Если вернуться опять к нашей церковной живописи, то в таких вот недействующих храмах, в силу того, что окон нет, крыши нет, она приходит просто в неблагоприятное состояние. И этот процесс разрушения надо остановить. Там целый комплекс мер по укреплению кирпичной основы и штукатурки, и красочного слоя. И только потом уже, после завершения консервационного этапа, приступать к реставрации. Начинаем операции по раскрытию живописного слоя от поверхностных загрязнений, удалению потемневшего лака, записей, это уже чисто реставрационные моменты, чтобы эту авторскую живопись открыть до её начального вида.

А.М.: *А записи, как правило, встречаются разного художественного уровня. Они ведь практически всегда есть.*

В.В.: Они всегда есть, просто есть различия.

А.М.: *Они бывают самого разного качества.*

В.В.: Есть различия. Есть прописи, когда просто подправляли. Где-то бликнули, где-то там рисунок поправили. А есть записи, когда, как крайний случай, это полностью переписывали на другой сюжет, на другой образ. На одном объекте может и то, и другое встречаться. Какие-то сюжеты могли чуть-чуть тронуть, а какие-то переписать полностью. Или сказалось плохое состояние, ведь масляная живопись, она со временем сильно темнеет.

А.М.: *Она не очень-то хороша для стены.*

В.В.: Нет, она хороша. Если памятник в хороших условиях, то есть, нормальный температурный режим а, как правило, писали всё-таки в тёплых храмах, сохраняется хорошо, эксплуатируется хорошо. Поддерживается.

А.М.: *Удобно помыть, почистить.*

В.В.: А ведь исторически у нас как было — есть холодный храм, это центральный четверик или верхний, и тёплый нижний, или боковой придел. Который и отопить легче, и обсушить. Вот. Я тебе выше по поводу методики сказал, что методика — это когда работы делятся на два этапа: консервация и сама реставрация. И всё это определяется техническим заданием. То есть, перед началом работ формулируется задание органом охраны памятников, в котором определяется задача. То ли мы ограничиваемся консервацией, то ли идём дальше и делаем реставрацию. Третий этап, заключительный, это реконструкция.

А.М.: *Воссоздание утрат.*

В.В.: У нас ведь тоже есть тонировка, да. Если так уж вникать до конца, должно быть всё нейтральное, ни к чему не обязывающее, просто пригасить. А есть тонировка, другой полюс, «под автора», которая должна быть неотличима. Опять же всё это определяется значением памятника. Если это

музейные помещения, музейное значение имеют, да, то тут, конечно, очень всё консервативно, сдержанно, никакого личного вмешательства. Раскрыли, законсервировали. А если это какое-то общественное помещение, церковное, то тут уже определяется потребностями...

А.М.: *Потребности церковные — это, прежде всего, литургическое значение живописи. Эта диалектика присутствует всегда. Реставраторы хотели бы счистить всё и добраться до самых древностей. А хозяевам дома нужно, чтобы было хоть что-то на стенах.*

В.В.: И — побольше! Ну, это такой вопрос уже непростой. Конечно, если это памятники до XVII века, то какие-либо вмешательства нежелательны. Живописные вмешательства нежелательны. Это уже всё-таки уникальные объекты, которые дошли до нас в таком виде, — это своя история. А считается, даже официально считается, что памятники XIX века, XX тем более, где присутствие дописей допустимо. Ну, это уже вопрос такта, вкуса реставраторов. Потому что допись, она может быть и малозаметна и ненавязчива. Есть специальные приёмы, когда пуантелью, штриховкой... приёмы, которые на расстоянии не видны, а общее впечатление создают.

А.М.: *Создают, появляется цельность впечатления.*

В.В.: Цельность, да, цельность композиции, образа.

А.М.: *А вот ещё, я хотел спросить про скальпель. Так, чтобы «быть ближе к жизни». Это — основной инструмент реставратора, кроме кисточек, «научный» такой инструмент?*

В.В.: Ты, наверное, сам, Андрей, видел, что прежде чем взять кисточки, надо взять не только скальпель, там может быть и шпатель, и мастерок,



потому что реставратор — это уникальный мастер, который должен владеть и штукатурными работами, и малярными, не говоря о знании химии. А уж реставратор высокой категории, профессионал, должен ещё обладать большими знаниями в области истории искусств. Когда мы говорили об исследовательских работах, надо себе представлять — вы приходите в помещение — белые стены. С чего начать? В каком месте делать зондаж?

У нас было много случаев, когда приходилось возвращаться на исследованные объекты, на которых ничего не нашли только потому, что сделав небольшую пробу, понять, что было на этом памятнике, какая история — невозможно, до тех пор надо сделать проб не один десяток. Сделать так, чтобы попасть не на фон, не на малярную покраску, а именно на роспись. И это уже вопрос искусствоведческий.

А.М.: *То есть нужно иметь неплохое представление о схеме росписей?*

В.В.: О каждом периоде истории, опять же, нет различия, работаем мы в памятнике гражданской архитектуры, усадебной или в культовых памятниках, а разница-то между ними на самом деле большая.

А.М.: *А почему у нас нет различия в такой системе?*

В.В.: Потому что реставрационная мастерская выполняет работу и в усадьбах, и в культовых памятниках, православных, иудейских, буддийских, мусульманских.

А.М.: *Так как-то повелось, может, это и неплохо.*

В.В.: Так как памятник, он и есть памятник. На самом деле различие только в технике. И здесь у каждого реставратора, у каждой бригады... ну, раньше так было. Была специализация. Кто-то занимался фресками, кто-то занимался клеевой живописью, кто-то масляной. И это, наверное, правильно, потому что это помогает не разбрасываться, а концентрировать все усилия на определённых приёмах, отработать их до совершенства.

А.М.: *Клеевая живопись очень непростая техника, сложнейшая.*

В.В.: Самая сложная — клеевая.

А.М.: *Меняет тональность...*

В.В.: Моментально меняет тональность, и не только. Она сама по себе очень ранима. Любая протечка портит её безвозвратно. Но если так до конца говорить, то, особенно... мы много работали в Архангельском. Когда читали исторические описания то особенно щепетильно к ней не относились. Очередной приезд владельца, тут же стены переписывались, поновлялись, освежались. Ну, если у него там целая фабрика была этих художников, которые расписывали фарфор, чашки, блюдца. Ну что там стоило. Сегодня чашки, — завтра пошли стены писать.

А.М.: *Мы про скальпель так и не закончили...*

В.В.: Всё-таки скальпель универсальный инструмент

А.М.: *Но им счищаются в итоге огромные поверхности — вот что удивительно — десятки и сотни метров.*

В.В.: Расчищается она с помощью растворителя — в первую очередь, скальпель — это уже для довыборки остатков, потому что при хорошо подобранном составе красочный слой, лаковый слой, загрязнения размягчаются тампоном, снимаются или ватно-марлевым тампоном или

ваткой на ушной палочке, а скальпель — это уже для тонкой работы, скорей для доводки. Работать должен растворитель, только тогда мы не повредим живопись. А теперь о сложностях: наверное, самое сложное, всё-таки, это сделать укрепление, грамотно провести укрепление всех составляющих. Это идёт прежде расчистки, гарантирует качественную работу, потому что если она не будет укреплена, то в результате мы ничего и не сохраним. Мало что останется от автора. Мы уже говорили, что речь идёт об укреплении и кладки, и штукатурки, слоя шпаклёвки, и грунт там присутствует, которые тоже подвержены разрушению, а поверх всего — конкретный красочный слой. А сложность-то бывает, когда приходится укреплять через запись — вот это и есть самый ювелирный, тонкий момент. Чтобы расчистить живопись, надо ей сначала подвести клеевой состав через все эти слои — чтоб он дошёл до автора, хватило его, и только потом уже можно делать расчистку. Для этого надо иметь высокое мастерство, чутьё, знание материала. Наши предшественники мудрые были — как правило, если закрашивали живопись, то обходились побелкой, чтоб, например, когда церковь превратили в клуб, лики святых не смущали — побелили, всё чистенько, аккуратненько, а снимается всё это без особых сложностей, мелится, конечно, остаются следы белёсостей, но это всё не вредит живописи. Мы даже работали в музее Декоративного искусства на Делегатской — это бывшая Московская Семинария, там имелся двухэтажный домовый храм, двусветный зал домового храма — очень деликатно заклеили живопись марлей, выровняли клеевой шпаклёвочкой, побелили — и снимать это было одно удовольствие. То есть мы там в итоге получали стопроцентную сохранность. Я думаю — это особенность музейных работников, которые этим занимались. Это были профессионалы, они думали о том, что это, возможно, когда-нибудь вернётся. Но пока что туда вернулся Музей Ленина.

А.М.: *Разве? Там была экспозиция, с тех пор как я там был последний раз, наверное, уже года полтора прошло — интерьеров разных периодов советской эпохи.*

В.В.: Музей декоративного искусства там и остался — просто одно крыло этого особняка, усадьбы Остермана-Толстого, отдали Музею Ленина, и они туда все свои фонды снесли. А расчистки — они там видны, мы их оставили. Причём это росписи хорошего качества,

А.М.: *Я их помню. Там такие приятные зеленоватые тона.*

В.В.: Там сюжет в том числе, причём композиции из Храма Христа Спасителя. Может быть, ещё вернёмся к этому, всё-таки сейчас тенденция к возврату церковных зданий.

А.М.: *Да, поэтому, кстати, мы говорим о реставрации в общем, но в основном занимаемся реставрацией церковной живописи по большей части или может сложиться такое впечатление?*

В.В.: Нет, дело в том, что памятники гражданской архитектуры — усадьбы, у них была лучшая судьба. Они не подвергались таким варварским переделкам, запустению, пренебрежению. Из них не делали склады, зернохранилища — это, как правило, судьба храмов. Хотя в усадьбах были и общежития, и учреждения, у нас ведь тут в церкви был

музей книги, и это — самое лучшее назначение, щадящее, так же, как церковь Климента на Пятницкой — там тоже было книгохранилище, и работники этого архива даже стеллажи ставили на некотором расстоянии от стен, чтобы не дай бог, не поцарапать или повредить.

А.М.: *Всё-таки архивные, музейные работники — это определённая культура.*

В.В.: Да, есть понимание. Ты спросил, чего больше? По объёму, по количеству, кажется, нет такого, чтоб только церковное — это тенденция последнего времени, когда храмы стали возвращать. В период Советского Союза памятники церковного назначения были единичны, и не делали акцент на их сохранении, скорее усадьбы, мемориальные места. Хотя, в каждом городе — что Тверь, что Осташков, занимались восстановлением храмов, но это всё-таки были исключения. Это должен был быть уникальный памятник, древний, с уникальными росписями, чтобы ими занималось государство. А вот усадьбы — это да, пожалуйста.

А.М.: *А вот ты часто упоминаешь тверские церкви, не мог бы немножко рассказать? Мне кажется, что в этой живописи что-то есть такое необычное, что привлекает внимание.*

В.В.: Не случайно Тверь была конкурентом Москве, Но не стала столицей России — город на Волге, на северо-западе. Как столица, в смысле коммуникаций, она была в более выгодном положении. В смысле своей самобытной культуры там очень много памятников с клеевой росписью, и уровень этой живописи очень высок. Я не знаю, с чем это связано, — такие мастера-самородки.

А.М.: *Там большое присутствие карел, один музейный работник, сам — карел, сказал нам, что там исторически велико их присутствие.*

В.В.: Я не думаю, что живопись связана с тем, что это — какие-то другие племена. Скорее, всё дело в отхожих промыслах — когда люди не могли ничем другим зимой заниматься, кроме как творчеством. Много лет мы работали в Осташкове, там была своя самобытная школа — мастеров из Осташкова приглашали на роспись Кремля, кремлёвских соборов, палат, в Питер, буквально в каждом городе Тверской губернии — Старица, Бежецк.

А.М.: *Была такая цивилизация. Я ещё застал альфрейного мастера Акима Никитича Горлова, ему было тогда за восемьдесят, и он был исторически из деревни на Оке под городом Алексиным, и они все, вся деревня, специализировались на альфрейных работах, а деревня на другом берегу Оки — все были по формовочным работам, по скульптуре.*

В.В.: Лепщики.

А.М.: *Лепщики. Вот, например, так.*

В.В.: Находили свою нишу.

А.М.: *Ещё как. Все они перед войной ВДНХ украшали. И это не в одном поколении и не в двух.*

В.В.: Династии. Совершенствовались династии — мальчики через ученичество переходили в мастера.

А.М.: *Вот, тоже интересный аспект. Я хотел спросить — мы можем заметить через историю искусств и даже через собственный*

опыт, что когда ремесло передаётся от деда к отцу и от отца к сыну — через поколения — это очень ценно и самый лучший способ обучения. Это происходит естественно и длительно во времени.

В.В.: Конечно, ученик проходит все стадии. Я начинал говорить о том, что реставратор — это не художник, это в первую очередь специалист по технологии стенописи. И качественная подготовка гарантирует сохранность росписи. В средневековой Европе цеховые стандарты обязывали художников брать доски, левкасить, заказывать их у специалистов из определённых цехов. Чтобы обеспечить качество.

А.М.: *А вот в связи с этим у меня назрел определённый вопрос, это относительно недавняя история — советское время. Реставрация, реставраторы, которые сформировались в те годы, находились совсем в других условиях: сейчас открыты факультеты реставрации, и чем дальше, тем больше открываются, воспитываются молодые специалисты — я думаю, их очень хорошо готовят — они проходят разные практики, учатся у технологиям, и у них прекрасные программы обучения, и у них замечательные преподаватели, и каждое лето они на практике — обязательной — участвуют в реставрации разных, иногда нескольких, объектов — это прекрасно. Было ли это в советское время?*

В.В.: Почему же нет, всё это было, но масштабы были другими. Объекты по пальцам можно было пересчитать.

А.М.: *Насколько я знаю, не было даже такой категории — «реставратор»?*

В.В.: Как это не было? Была.

А.М.: *Мне вот питерские рассказывали, с которыми я работал, что они работали как реставраторы, но числились как маляры высокой категории — шестого разряда? Или это враньё?*

В.В.: Не то, чтоб враньё, но «слёзы»... действительно, во времена гонений реставрация не то, что бы уходила в подполье, а просто деньги не выделялись на реставрацию храмов. Не считая каких-то исключительных, и то это очень относительно. Храм Спаса-на-Крови сколько лет они делали? Речь идёт о том, что что-то сознательно игнорировалось, средства не выделялись, и со временем памятники приходили в упадок и гибли. В годы войны пострадали питерские дворцы — и тут-то пошла вторая волна, открылось второе дыхание. Все эти дворцы надо было восстанавливать. Были созданы училища, ПТУ, где готовили лепщиков, альфрейщиков, мраморщиков, специалистов по поделочным работам.

А.М.: *У меня даже был преподаватель из этой когорты — он в юности окончил такое училище в Ленинграде.*

В.В.: Стали активно готовить специалистов этого профиля. Не будем говорить о «сталинском барокко», когда чтобы построить все эти высотки, гостиницы — где тоже есть лепка, росписи — всё это должны были делать...

А.М.: *Наши преподаватели, строгановские...*

В.В.: Участвовали.

А.М.: Будучи сами студентами или недавними выпускниками, расписывали гостиницу Пекин — вестибюли, потолки.

В.В.: Хочу сказать, что как раз питерская школа — почему она крепко встала на ноги — это благодаря работе во дворцах, разрушенных во время войны.

А.М.: Колоссальный опыт.

В.В.: Так что плакаться, что «не было реставраторов»... можно долго рассуждать на эту тему, начиная с политики государства. Я застал период, когда реставраторов причисляли к кустарям. Мы облагались по восемнадцатой статье...

А.М.: Это когда мы говорили о прогрессивном налоге, за почему-то невозможность введения которого в нашей стране должны будут заплатить пенсионеры....

В.В.: Оказывается, он был, и очень эффективно работал.

А.М.: Потому что таким образом привлекались новые кадры? Чтобы снизить налог, привлекали друзей и родственников?

В.В.: Не то, что бы там расписывали доходы. Делали очень большие бригады, к ремеслу привлекали большое количество людей. Люди находили себя в этом. Конечно, реставрация дворцов была, несомненно, «новоделом», после всех пожаров и разрушений, которым подверглись памятники. Это реставрация не в смысле консервации, это приведение в должный вид с помощью реконструкции. Хотя там есть факты и укрепления, и расчисток, но, если посмотреть фотографии, что осталось от этих памятников — а это руины, убранство пришлось воссоздавать заново.

А.М.: Разрушения от войны даже сейчас заметны — и даже вокруг Москвы: направление северо-запад — Тверь, направление — Запад...

В.В.: До сих пор, если едешь по магистрали — встречаются руины тех лет.

А.М.: Также заметно и на восток — где война не прошла. Рязань, к примеру.

В.В.: Рязань, там памятники более позднего времени. Там не война прошла, там следы хрущёвских гонений. Я сейчас о другом, — я о том, что в годы советской власти акцент был сделан на реставрации станковой живописи, икон. Реставрация памятников архитектуры — это должны были быть домонгольские или XV-XVI века, тогда они включались и в оборот, и в работу. В основном реставрировали иконы. Реставрационные мастерские устраивали экспедиции на север, оттуда вывозили иконы везами и занимались именно этим.

А.М.: Кстати, об иконах. Я не перебил твою мысль? Мы говорим о монументальной живописи, хотя мне определение «стенная» ближе. «Монументальная» уж больно пафосно звучит. По-соцреалистически. Если живопись называется монументальной, она должна быть из алюминия, а лучшие из бронзового листа, какая-то такая....

В.В.: Скорее, какая-то описанная живопись....

А.М.: И, конечно там должны быть крупные такие ребята с флагами, держащиеся за руки...

В.В.: «Вперёд к победе коммунизма»...

А.М.: *Я хотел бы спросить о разнице между реставрацией стенной живописи и иконной — на доске. Принципы — те же?*

В.В.: Разница определяется основой, основанием, на котором выполнена роспись. Принцип, естественно, тот же — щадящее, максимальное сохранение автора, но поскольку разные основы — липовой доски и штукатурки — тут, конечно, начинается разница.

А.М.: *Потом шпаклёвка и левкас... Вопрос рецепта, но суть та же.*

В.В.: Это близко. Разница ещё и в условиях работы — когда работают с иконами — это мастерская, белые халатики....

А.М.: *Это очень культурно.*

В.В.: Чистенько, стерильно....

А.М.: *Прохладно....*

В.В.: Чаёк тут... А монументальная живопись — это леса, совмещение с общестроительными работами, от сварки кончая пескоструйкой.

А.М.: *Это всегда пыль, то это ишкурится, то это расчищается...*

В.В.: Тут всё — и высотный момент... как работать на высоте...

А.М.: *Надо забираться на не пойми какой ярус — на восьмой, например... и пыль, которую счищаешь со стен — её ведь двести лет не чистили. Как в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. Двести лет не чистили. Не реставрировали. Никто не подымался... Там трёхсантиметровый слой пыли с паутиной и копотью.*

В.В.: Там как войлоком было покрыто.

А.М.: *Как бы войлоком, и в нём мельчайшая какая-то железистая стружка. Один коллега собрал это всё в пузырёк, эту субстанцию, потому что она...*

В.В.: В этой субстанции ещё и жизнь своя идёт — там разные организмы, насекомые....

А.М.: *Абсолютно, я там кашлял, как туберкулезный...*

В.В.: Разница не только в технологии работы, но и в условиях.

А.М.: *В условиях, да, это существенные вещи....*

В.В.: Каски, респираторы...

А.М.: *Монументальная, она на то и... Требуется. Сварка нужна, молоток, сбивать, счищать...*

В.В.: Стамески... Так что скальпель — хорошо, а стамеска — надёжней.

А.М.: *Про Тверь мы ещё не договорили.*

В.В.: Тверской край очень самобытный. Мало сказать — тверские князья претендовали на великокняжеский престол, культурный уровень его чрезвычайно высок. То ли это за счёт пересечения всех этих потоков, потому что — тот же Осташков — честно сказать, захолустье, где-то на берегу озера, в стороне от всего. И вдруг — там мастера столичного уровня. Феномен.

А.М.: *Необычно, да, вот у нас в Тверской области дача, домик в деревне. На нашей улице сохранились дома, которым больше 150 лет. Такая удивительная деревянная резьба. Там были ремесленники,*

они работали с деревом и очень хорошо зарабатывали. Они ставили обширные пятиястилки, украшали их прекрасной резьбой, хорошо зажиточно жили — тоже тверские.

В.В.: Семьи были многодетные. Чем больше рабочих рук, тем можно больше сделать.

А.М.: Храм Христа Спасителя. Как был организован процесс работы?

В.В.: Великолепно. Включая бригаду уборщиков, которые каждый день убирали настилы, протирали трубы, там, для того, чтобы работать, — всё было организовано замечательно. Леса были сделаны очень грамотно. Мало этого, была бригада монтажников, которые каждую прихоть художников исполняли: чуть поднять, чуть опустить, перестелить. Когда настил попадает на уровень лика — как можно работать? Приходится его перемонтировать. Любопытно, что была такая конструкция лесов, что параллельно с живописными работами велись работы по мозаичному полу — было буквально четыре опоры...

А.М.: На всю эту громадину?!

В.В.: Да, дело в конструкции — консоли. Почему такие сроки — фантастические, мы забываем, а меньше года работа длилась. Был большой период подготовки, но реальное производство было меньше года. Это, конечно, фактор большого количества народа, профессионализма, организованности. Не было проблем с питанием, с бытовками. Опять же — о бытовках. У нас была бытовка прямо на лесах. Мы там оставались даже ночевать. Бежать на последний поезд в метро уже резона не было. Проще было остаться переночевать. Мы перегораживали пространства, которые оставались свободными, устраивали там выгородки, и в буквальном смысле, жили на лесах. Только спускались пообедать.

А.М.: Ты, конечно, прав, это не характерный пример, это какой-то пример-образец.

В.В.: Там образец во всех отношениях. Как были организованы конкурсы. Это потом послужило эталоном — после этого все этапы так же проходили и в других храмах. Например, программа «Двести храмов» — устраивали конкурсы, проводили отбор.

А.М.: Да... Так, чтобы леса убирали... Хотя в Троице-Сергиевой Лавре, помнится, убирали. Но только в Успенском Соборе. Пылесосили.

В.В.: Не просто убирали, влажная уборка была — с пылесосами, с труб — каждую перемычку, стойку — надо было пройти. Бригады уборщиц работали.

А.М.: Тут можно и в белых халатах в таких условиях работать....

В.В.: Позолотчики так и работали. Это художники — в спецовках.

А.М.: Художники больше всего похожи на рабочих, на каменщиков, шуткатуров.

В.В.: Они были похожи, потому что всех заставляли ходить в касках.

А.М.: Заставляют ходить в касках, носить спецовки... Потом эти спецовки — хочешь-не-хочешь — пачкаются краской и всякими шпательками.

В.В.: Непроизвольно.

А.М.: *А потом выходит Заслуженный художник, академик покурить за оградку, а люди думают: вот, какой рабочий, смотри — вроде интеллигентный, профессорского вида...*

В.В. С бородой...

А.М.: *В пенсне... Какие бывают рабочие у нас в стране...*

В.В.: Помимо всего этого снабжение было чётко организовано. Любая заявка моментально выполнялась. Обеспечивали и красками, и всем необходимым для работы. Всё это было поставлено очень чётко.

А.М.: *Я под впечатлением...*

В.В.: Там такие масштабы, что иначе нельзя. Невозможно, чтоб каждая бригада сама себя обеспечивала. Всё было централизовано, у всех была единая система, все вынуждены были работать одинаковыми материалами — какая бы ни была у каждого манера, но когда идёт общая расколеровка.

А.М.: *Там даже расколеровку общую делали?*

В.В.: Там очень много малярных плоскостей — колера заказывали бочками. Чтобы это объединяло и давало цельность восприятия. Чтоб не было «винегрета».

А.М.: *Это так интересно.*

В.В.: Это целая наука.

А.М.: *Логистика, обеспечение... Тут совершенно чётко прослеживается грамотный и взвешенный научный подход.*

В.В.: Пятнадцать бригад орнаменталистов и девять бригад художников. И всех надо было в один кулак объединить.

А.М.: *И направить.*

В.В.: Там, что было ещё интересно: было принято решение, что каждый участок делает отдельная бригада — не перемешивали — все арки в разных местах делают одни, своды — другие, стены — третьи. Отдавали компартимент одной бригаде, потому что охватить взглядом весь храм — невозможно. Видишь какую-то одну сторону — южную, северную.

А.М.: *И поэтому хорошо...*

В.В.: Чтоб она была, что называется, «одной рукой» сделана, в одном ключе. И это получилось. Цельности добились за счёт того, что не было разбросанности.

А.М.: *Я уже люблю этих людей, которые всё так организовали.*

В.В.: Этим, конечно, не один человек занимался. Устраивали совещания, обсуждения, все выдвигали свои предложения. Мало того, что это были бригады из разных городов, каждая со своим уровнем и опытом — и питерские, и московские художники — все уже прошли много объектов, могли подсказать, как лучше сделать. Это было не спонтанно. Это результат прежних наработок. Я не случайно вспомнил про пригородные дворцы Петербурга. Это тоже ведь колоссальный организационный опыт.

А.М.: Несомненно. Интересно знать, как он обобщается и систематизируется? А то бывают объекты «как в первый раз».

В.В.: Вообще каждый из объектов — это явление. Не обязательно — шедевры, но определённая страничка нашей культуры и истории.

А.М.: И, как правило, высокого и даже высочайшего уровня.

В.В.: За два последних десятилетия был сделан огромный шаг вперёд. В советское время всё пришло, конечно же, в упадок. Этим занимались люди, которые имели большие деньги, брались за любую работу. И не было задачи вернуться к первоначальному виду и образу. Важно было просто привести в порядок: подмазать, подкрасить. Послевоенные годы были тяжёлыми, красили тем, что было.

А.М.: А позже — или тем, что смогли «достать», или тем, что дешевле обходится. Есть церкви, где видно, что «достали» коричневую такую плотную краску, и в результате всё ей и сделали. А есть — где жёлтой. Это, скорее всего, в банках «доставали»...

В.В.: «Что спонсор привёз, тем и красить»...

А.М.: И так всё за малые деньги делалось. Они что, ещё и краску будут покупать?

В.В.: По мере возможностей.

А.М.: Валерий Георгиевич, ты упоминал о других значительных памятниках, реставрацией которых тебе приходилось заниматься. Могли бы мы о них поговорить хотя бы вкратце или это тема, на которой было бы интересно остановиться подробно?

В.В.: Думаю, да. Если будет интерес, продолжим наши беседы.



Андрей Монастырский

Наталья Черных
(Россия, Москва)

Духовное наследие — что это?

Сегодня в программе «Голоса русского зарубежья» телерадиокомпании «Русский мир» речьйдёт о духовном наследии. Приветствую своих гостей и представляю их вам:

Станислав Львович Королёв — Генеральный консул Международного рейтингового агентства по вопросам всемирного духовного наследия, президент Ассоциации историков Азии и заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии. Здравствуйте.

И Игорь Александрович Шпынов — дипломат, поэт, экс-руководитель представительства Россотрудничества во Франции, директор Российского центра науки и культуры в Париже с 2005 по 2017 годы.

Мой первый вопрос — к Станиславу Львовичу. Что вообще входит в понятие «всемирное духовное наследие»?

С.Л. Королёв: Вы знаете, этот вопрос я слышу очень часто, практически во всех странах, потому что наша организация работает во всех ста девяносто трёх странах мира, которые официально входят в ООН. Мы партнёрствуем и в программах с ЮНЕСКО. Буквально четыре дня назад вернулся из Парижа, мы разговаривали уже о продолжении наших программ, которые были начаты при Ирине Георгиевне Боковой. Сейчас они продолжают при новом Генеральном директоре.

Вы знаете, что духовное наследие классически воспринималось как нематериальное и религиозное. Но это не отвечает самому понятию термина «духовное наследие». Вообще понятие «духовность» как терминология появилось в середине XIX века в России. И потом оно завоевало право на жизнь во всех странах мира. Просто в каждой стране есть своё понимание этого термина, этого понятия. Во-первых, очень много различных понятий в разных странах мира. Во-вторых, понятие, что это только нематериальное, религиозное, значительно устарело. И кому, как не русским, не знать о том, что такое духовность, как она выходит за рамки религиозности.

Это то, что составляет основу нации. То, что её формирует, продвигает в завтрашний день и соединяет с днём вчерашним.

Н. Черных: Наш мир очень хрупкий. При исчезновении ценностей, о которых вы заботитесь, которые вы охраняете, ну, например, Пальмира... вот после того, что произошло с Пальмирой, мир изменился необратимо, он стал другим, и мы все стали другими.

С.Л. Королёв: На самом деле Пальмира — это была очень большая потеря для всего мира. И переоценить это вообще невозможно, потому

что вы знаете, как только это произошло, Совет безопасности ООН принял резолюцию № 2199 по запрещению торговли культурными ценностями Ирака и Сирии. Это не зря именно так звучало, потому что на сегодняшний момент порядка 80 процентов от всего наследия Ирака и Сирии находится в частных и государственных музеях США.

Н. Черных: *И в частных коллекциях, которые потом выплывают неожиданно?*

С.Л. Королёв: И в частных тоже. И то количество артефактов, которое было вывезено, сравнимо с уровнем того, что было уничтожено.

Н. Черных: *Очень хочется поговорить сегодня о таком объекте всемирного духовного наследия, как французское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.*

Игорь Александрович, вопрос к вам, как к человеку, знающему Францию, долго там жившему. Сегодня, когда думаешь об этом месте, возникает три слова — «боль», «память» и «гордость». Какова сегодня структура этого места, расскажите, как сегодня оно живёт? Ведь каждый, когда-либо бывавший во Франции, там был или стремится туда попасть.

И.А. Шпынов: Вы знаете, я хотел бы поделиться своими первыми впечатлениями о Франции, когда я приехал первый раз первым секретарём в первую командировку в эту страну в 1991 году, когда первый день моей работы в посольстве совпал с первым днём первого путча на Родине.

Н. Черных: *Знаково.*

И.А. Шпынов: (Смеётся.) И теперь 18 августа в памяти укрепились надолго. И буквально где-то недели через две мы поехали на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. А до этого мне уже успели коллеги в посольстве рассказать, что совсем недавно побывать на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа граничило с отправкой на Родину — несанкционированное посещение этого места. Вот так, чтобы понять, что произошло за эти годы...

Н. Черных: *Как изменился мир...*

И.А. Шпынов: Да. А сегодня вы говорите, что все стремятся посетить этот мемориал.

С.Л. Королёв: И это радует, что у нас всё не является неизменным, а есть очень важные вещи, понимание которых приходит. Время даёт возможность осознать некоторые ценности.

Н. Черных: *Слава Богу.*

И.А. Шпынов: Ну и с тех пор, конечно, и отношение, я бы сказал, вообще к русскому миру за рубежом, отношение к соотечественникам в целом и, естественно, такому мемориалу, как кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, не просто изменилось. Я бы сказал так: оно наконец-то стало и психологически, и исторически прокладывать свой путь в качестве не просто места захоронения, мемориала. У меня потом за долгие годы работы во Франции сложилось ощущение, что это и есть путь примирения, путь осознания того, откуда мы вышли, что мы потеряли, да и вообще

всего, что было. Поэтому посещение мемориала Сент-Женевьев-де-Буа, на мой взгляд, это даже не патриотизм, это цивилизация.

Н. Черных: *Это норма цивилизованной жизни. Это наше. Без осмысленного прошлого не может быть осмысленного будущего, это тоже мы все понимаем.*

И.А. Шпынов: Если позволите мне вернуться в воспоминания 1991 года, мы искали в тот момент могилу Тарковского. Эта могила ещё не была оформлена памятником, там просто стоял деревянный крест, и найти её было без знающих людей невозможно, тем более что в плане её ещё не было. И вот представляете, мы встречаемся с какой-то парой, женщина сравнительно молодая и женщина пожилая. Слышим, они по-русски говорят, причём на хорошем таком, благозвучающем русском языке.

С.Л. Королёв: Классическом русском.

И.А. Шпынов: Подходим, говорим: «Скажите, вы не знаете, где похоронен Тарковский?» На что одна из них говорит: «Ладно, ты, Маша, иди, я сейчас». Это была Татьяна Борисовна Маретт... Мы с ней познакомились в пяти шагах от могилы Тарковского, на месте, где потом был похоронен её муж. Представляете, какая символика. Сегодня она нас, к сожалению, тоже покинула и там же покоится со своими стихами, которые на могиле закреплены как табличка.

А она подарила нам замечательные стихи, написанные в ответ на известные стихи Роберта Рождественского. «Наши, а скорее ничьи». Она написала свои стихи, и мы с ней вместе, как говорится, поработали, и родилась песня «Сент-Женевьев-де-Буа». Теперь я её пою.

Н.Черных: *Я тоже хочу присоединиться и сказать светлые слова в память о Татьяне Борисовне, потому что моя жизнь во Франции, моё знакомство с Парижем и кладбищем Сент-Женевьев-де-Буа имеет к ней самое прямое отношение. Она провела потрясающую, я не могу даже сказать «экскурсию», а какое-то завораживающее действо... Она сама жила в Сент-Женевьевском предместье и знала там каждый уголок. И моя жизнь с этого момента изменилась круто. Вот совершенно иначе всё стало выглядеть.*

И.А. Шпынов: Вот и сложилось это духовное наследие всемирного масштаба, вот оно, наверное, так... Это и есть призвание: действовать на людей. А как осознание оно не обязательно может прийти сразу. Вот вы, Наташа, творческий человек, поэтому здесь нам всем повезло, что мы можем это прочувствовать...

С.Л. Королёв: Это правда. Ну, на самом деле, Игорь, вы совершенно правы, именно вот такие объекты наследия — они изменяют отношение человека к этой жизни.

Н. Черных: *Абсолютно.*

С.Л. Королёв: В этом и есть их смысл. Вы вначале задали вопрос: что такое духовное наследие? На самом деле духовным наследием мы признаём и те объекты, которые входят в список всемирного духовного наследия. Это как раз объекты, которые имеют историческую

протяжённость и которые значительно повлияли на формирование истории нации, народа, государства.

Н. Черных: *Это воистину так. Если я не ошибаюсь, нынешний руководитель ЮНЕСКО, с которым вы, естественно, в тесной связи работаете, это экс-министр культуры Франции. Так?*

С.Л. Королёв: Да. Я не скажу, что мы сейчас работаем в тесной связи, потому что она только-только разбирается, только входит в курс дела. И я думаю, что действительно активная работа начнётся в январе, у нас запланирована встреча на конец января и обсуждение с ней тех программ, которые были начаты ранее. И чтобы они продолжались в правопреемственности. Но в том, что этот человек в теме того, чем он занимается — это да.

Н. Черных: *Вопрос мой на самом деле из двух частей состоит. ЮНЕСКО — это всё-таки специализированная организация ООН...*

С.Л. Королёв: Конечно, конечно.

Н. Черных: *И поэтому в достаточной мере политизированная. И есть тут разделение зон влияния...*

С.Л. Королёв: Я бы сказал, не совсем так. Изначально ЮНЕСКО планировалось как структура абсолютно аполитичная, которая занимается только сохранением культурного наследия. К сожалению, в сегодняшних реалиях невозможно международную крупную структуру сохранить абсолютно аполитичной. Ну, просто сама структура Организации Объединённых Наций — она состоит из очень разных блоков интересов. И на сегодняшний день вы даже видите по Совету Безопасности, какие проходят прения, какие происходят взаимные удары между разными блоками стран. Я не буду сейчас их озвучивать, мы все прекрасно понимаем, о чём я говорю. Но культура, история всегда так или иначе использовались многими людьми именно в качестве политизированных объектов. И это не совсем правильно. Потому что как только мы говорим о политике, мы говорим о чём-то интересе. Но наследие, самое главное в понятии «наследие» — это вопрос сохранения. Потому что историю можно переписать раз, два, три, четыре...

Н. Черных: *Историю опять пишут победители?*

С.Л. Королёв: Да, эту фразу весь мир пронёс на своих плечах. Но вопрос в том, чтобы сохранить не только историю победителей, но и ту историю, которую пытаются забыть. Потому что мы видим — история имеет свои циклы, и рано или поздно нам приходится возвращаться и искать ту историю, которая похоронена под теми переписанными историями. Для того, чтобы просто сохранить родовую память, национальную память, национальную гордость. Потому что гордость народа основывается только на своей исторической памяти. И чем глубже эта память, тем больше оснований у народа для гордости.

Н. Черных: *Игорь Александрович, насколько знаю я, начиная с 1960 года, французские власти систематически ставили вопрос о сносе кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, мотивируя это тем, что земля эта нужна для*

каких-то общественных нужд. А по нормам французского законодательства любое погребение сохраняется лишь до истечения срока аренды земли. И я знаю, что вмешалось посольство и как-то этот вопрос был решён.

И.А. Шпынов: Хочу успокоить тех, кто переживает очень искренне за судьбу кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. Ситуация юридическая сейчас следующая: какие бы настроения раньше ни были, сейчас вопрос достаточно хорошо урегулирован, в том числе с помощью нашего Верховного руководства. Потому что существуют две плоскости, ну, если хотите, практического сохранения кладбища.

Первая — это те самые лицензии, на которых зиждется право вообще иметь могилу родственника там. Это означает, что необходимо проплатить за могилы какую-то сумму. На уровне местных властей эта сумма взимается, и тогда на определённое количество лет — 10-20-50 — сохраняется эта могила, которую не может тронуть никто без согласия родственников или владельцев вот этой самой могилы.

Н. Черных: *То есть это приравнивается к частной собственности?*

И.А. Шпынов: Несомненно. Использование в частной собственности. Тогда как кладбище это является муниципальным. Не федерального, общепольского значения, а именно муниципальным.

И вторая часть — это поддержание кладбища как такового. Потому что часть могил без родственников пришла в упадок. Были несколько очень сильных непогод: и ураган, и потоп.... В общем, есть над чем, как говорится, поработать, чтобы это кладбище стало достойным своего исторического значения. Но кладбище выживает и выживало всё это время благодаря нашему русскому характеру. Во главе ассоциации, которой поручено муниципалитетом вести работу по поддержанию могил, стоит казачка Шамшева Татьяна Николаевна, которая мне преподавала в те ещё первые годы, — мы дружим с тех пор, — один замечательный урок. Она сказала так: «Ну, во-первых, могилы — это всегда память личная, память семьи. И если мы позволим кому-нибудь — структуре ли, государству ли, начать уход полностью за этими могилами, то тогда обрушится, как говорится, основной корень, потому что родственники должны чтить память предков».

Н. Черных: *Это всегдашняя тема, это касается не только могил.*

И.А. Шпынов: Это правильная мысль. В этот момент я был с одной делегацией, такой вот немножечко торопливый представитель российской новой общественности сказал: «Ну что у вас тут? Кладбище! Там и там не ухожено.» На что она сказала, а это был 1991 год: «Вы у себя приберитесь, и тогда мы приедем так же. А здесь мы справимся». Вот это была позиция 1991 года, когда шло знакомство с этим объектом духовного наследия русских.

Н. Черных: *Игорь Александрович, сегодня какие нужно иметь основания, права, для того чтобы вообще ставить вопрос о захоронении человека на этом кладбище: родовые какие-то, сословные, может быть, или этого нет?*

И.А. Шпынов: Ну, если подходить с этой стороны, кладбище считается закрытым. Там захоронений не производится.

С.Л. Королёв: Сейчас — да.

И.А. Шпынов: Есть отдельные случаи-исключения. Например, когда захоронили Рудольфа Нуриева, это было большое траурное событие всего творческого мира. И, кстати, его памятник потрясающий! Такой ковёр восточный, который лежит, он считается одним из лучших памятников.

С.Л. Королёв: Очень красивый и прямо такой, действительно потрясающий. Это уникально, конечно. Ну, на самом деле весь комплекс производит удивительное впечатление, как и отношение к нему тех, кто там постоянно находится и следит за ним.

А мы сейчас сталкиваемся с очень большим количеством вопросов по сохранению мемориалов Второй мировой войны.

Н. Черных: *Расскажите об этом, пожалуйста.*

С.Л. Королёв: И это вопрос не только российских мемориалов. Советские войска, советские офицеры, советские солдаты — в этой войне практически все народы потеряли своих сынов и дочерей. Русский мир потерял больше, чем кто-либо, это действительно так. Мемориалы войны находятся сейчас на нашей земле и земле каждой страны. И эти мемориалы на сегодняшний день все находятся под угрозой. Мы с этим очень плотно столкнулись, и вот совсем недавно, в сентябре, мы написали письмо в ООН от своей организации, и я очень рад, что это письмо было услышано. И вот буквально на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение по внесению важных поправок о ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. И там чётко прописано: именно наследие Второй мировой войны в тех формулировках, на которых мы настаивали.

Н. Черных: *Это очень важно.*

С.Л. Королёв: И это, я считаю, огромная победа не только для нашей страны, а вообще для всех участников Второй мировой войны. Потому что, как только начинают убивать память, вот с этого начинается неофашизм, расизм и всё остальное. Память — это то, что ограждает нас от большинства ошибок.

Н. Черных: *Какое-то время назад мы в этой студии разговаривали с людьми, которые профессионально и давно занимаются продвижением за рубежом русской литературы, русского языка. И в России тоже. Известные медийные люди, для которых это профессия.*

И.А. Шпынов: Хорошая пропаганда.

Н. Черных: *Хорошая пропаганда. Хороший патриотизм — это хорошо, это правильно.*

С.Л. Королёв: Это обязательное требование любой нации. Если в твоей нации перестали рождаться патриоты — нация умерла.

Н. Черных: *Мы говорили о том, на каком языке у нас сегодня разговаривают телерадиоведущие, как все везде стебаются. Как*

сделать так, чтобы всё-таки русский язык был достойным и как важность этого донести? Потому что внушение не помогает, образование, видимо, тоже не очень что-то даёт. И вот известнейший журналист сказал: надо это сделать модным. Вот если это модно, значит это правильно.. Как вы полагаете, сегодня, кроме принятия очень важных документов, о которых вы сказали, какие рычаги могут ещё воздействовать?

С.Л. Королёв: Вы знаете, на самом деле язык — это неотъемлемое продолжение культуры, традиций и вообще менталитета нации. И сохранение работы с языком — это вообще в принципе работа непосредственно с самой нацией. Я вот сейчас с удивлением начинаю замечать (мне приходится работать в большом количестве стран, за этот год я больше 40 стран проехал): во многих странах — Германия, Франция, Австрия, я не говорю уже о тех, которые ближе к нам — интерес к русскому языку даже больше, чем в России.

Н. Черных: *В разы. Это правда. Это так и есть.*

С.Л. Королёв: Люди готовы платить деньги, не то, что готовы, они платят деньги для того, чтобы изучать русский. И, поверьте, это не только те, кто по родителям во втором-третьем поколении русские, это — коренные французы, коренные немцы. Я знаю в Латинской Америке огромное количество молодых людей, которые самостоятельно тратят время на изучение языка. Ко мне обращаются очень часто, для того чтобы я порекомендовал кого-то через Скайп, просто любого человека в России для того, чтобы с ним разговаривать и учиться.

Н. Черных: *Это правда, это везде есть, повсеместно.*

С.Л. Королёв: Да, да. И это очень радует, потому что это показатель того, что мы что-то делаем правильно.

И.А. Шпынов: Я хочу добавить ещё один пример, из практики моей работы в качестве директора Российского центра науки и культуры в Париже. Мы создали курсы русского языка, которые были самые многочисленные в системе Россотрудничества во всём мире. Училось полторы тысячи студентов на этих курсах. Причём я застал такой счастливый для нас, организаторов, момент, когда после перекрестного Года Россия-Франция 2010, очередь встала, чтобы записаться на курсы. И мы в течение целого светового дня не смогли оформить всех, кто пришёл. С 2011-го по 2017 годы мы держали — в течение шести лет! — эту высокую планку. Высокий интерес к русскому языку существует в мире — это абсолютный факт. А объекты российского духовного наследия за рубежом, они выполняют ту самую, извините за грубое слово, пропагандистскую роль влияния на мозги... Когда приходят на Сент-Женевьев-де-Буа французы и видят, что Вика Оболенская — герой Второй мировой войны во Франции, там её могила находится, или Тарковский, которого они боготворят в кинематографе. Да и мы тоже.

Н. Черных: *Да. (Вздыхает.)*

И.А. Шпынов: Поэтому, вот на мой взгляд, всё зависит от того, как и кто этим занимается. Ну вот сегодня, слава Богу, Сент-Женевьев-де-Буа объявлено во Франции памятником, охраняемым государством.

С.Л. Королёв: Слава Богу, это произошло, и надо отдать должное руководству страны, что это решение было принято. Потому что это обязательно надо было сделать, и это сделали.

И.А. Шпынов: И французы как раз это и сделали, и в этом непосредственно участвовал наш Президент, по его указанию впервые несколько лет назад были выделены деньги, благодаря которым сохранилась главная часть могил, для того, чтобы дальше потом уже ими заниматься.

Н. Черных: *Игорь Александрович, во время вашей работы, в РЦНК, которое застала я, с 2009 года, когда в ваших руках были все или почти все ниточки культуры российской, как вы это блистательно делали! Как вы много отдавали сил душевных для того, чтобы культура эта и язык русский дошли до людей, не только до наших соотечественников, но и французов. Низкий вам поклон. Необычайно важно, кто этим занимается. Значит, роль личности в истории — это уже тема нашей следующей передачи.*

С.Л. Королёв: Я могу поддержать вас в этом отношении, потому что в этот период мне пришлось очень много работать с Францией. Потому что исторически штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже, наш европейский офис тоже находится в Париже. Ассоциация исторического наследия Европы, тоже наша дочерняя структура, находится там же. Поэтому очень часто приходилось там бывать, но не так часто, как хотелось бы, был в гостях у Игоря Александровича. И мне всегда было очень приятно слышать то, что говорят коренные французы в правительстве, в финансовой структуре, далёкие от культуры. Все. То есть, люди, которые общались, хоть один раз сталкивались с нашей структурой, с Игорем Александровичем как руководителем её, с программами, которые там были. Все всегда с огромным уважением отмечали то, что делается. Мы многократно разговаривали с Владыкой Нестором, это наш общий друг, вы знаете. Мы с ним много говорили о том, что невозможно было бы отладить работу культурно-духовного центра без взаимодействия и совместного решения задач.

Н. Черных: *Диалога. И не только диалога.*

С.Л. Королёв: Потому что за пределами России, если не помогать друг другу, не объединять усилия разных направлений и государственных структур, мы остаёмся... как в горячем чае растворяется сахар. Поэтому мы должны сохранять вот эту основу. И это получалось.

Н. Черных: *И Игорь Александрович делал это блистательно...*

С.Л. Королёв: Присоединяюсь на сто процентов.

Н. Черных: *Каждый человек, который когда-то с вами соприкоснулся, несёт тепло в душе и добрую память. Это правда.*

И.А. Шпынов: Спасибо, спасибо. Мне даже неудобно. Я вернусь к словам нашей дорогой Татьяны Борисовны Маретт — «Веры, любви мы лампаду зажгли». Знаете, когда приобщаешься к настоящему и великому в области культуры, науки, образования, эта созвучность, которая необходима для того, чтобы добиться конкретного результата, она возникает. А дальше уже от тебя зависит, насколько ты в состоянии, насколько ты себя видишь в этом, какая у тебя цель. У нас цель была простая — чтобы людям, которые приходят в Российский центр науки и культуры, было комфортно, чтобы они ощущали себя способными сделать там творческим своё присутствие. Ведь меня поразило то, что нам иногда контролёры ставили в вину: «Ну, у вас же учатся пенсионеры!», там процентов двадцать — пенсионеры. На что шёл ответ, и со стороны преподавателей, и самих учащихся: «Это же семьи! Они учат потом русскому языку своих внуков и даже правнуков». Таких случаев было много.

Н. Черных: *Вы, наверное, не помните этого разговора, а я его помнить буду всю жизнь. Как-то в самом начале нашего с вами знакомства мы с вами обсуждали будущие проекты, и это была длинная беседа, двух- или трёхчасовая. И меня поразил тогда уровень вашей образованности по всем статьям. Это вот кино, это литература, это живопись, это музыка, это звукозапись, это театр. Я тогда поняла, что вот так это и должно быть! И тогда человек имеет право, и тогда через него идёт свет, и тогда будет уважение ко всему, что делается.*

С.Л. Королёв: Вы абсолютно правы. Потому что невозможно переоценить роль личности в истории. Все глобальные процессы в этом мире начинаются с человека.

И.А. Шпынов: На прощание хочу прочесть стихи «На гроб Тарковскому». Они были написаны Татьяной Борисовной Маретт в день перенесения праха великого деятеля кино и культуры на Сент-Женевьев-де-Буа.

Блажен, кто миру передал
Души заветныя стремленья,
Блажен, кто светлый идеал
Пронёс средь бури и волненья.
Блажен, кто жертвы не жалел,
Служа возвышенному чувству,
Свой краткий век, кто весь горел,
Был верен правде и искусству!
Как некогда сказал поэт,
Чтоб Бога мы за всё хвалили,
Не говори с тоской: «Их нет»!
Но с благодарностию: «Были!»

Н. Черных: *Спасибо! Друзья, мы сегодня только попытались прикоснуться к огромной, неиссякаемой теме всемирного духовного наследия. И я очень надеюсь на продолжение разговора. Хочется*

рассказать отдельно о тех людях, которые захоронены во Франции, о веточках их жизни и семейных историях.

И.А. Шпынов: Как раз о личности в истории.

Н. Черных: Да, да. И мне остаётся только поблагодарить своих сегодняшних гостей — Станислава Львовича Королёва, Генерального Консула Международного рейтингового агентства по вопросам всемирного духовного наследия, Президента Ассоциации историков Азии и заместителя генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии. Спасибо вам огромное. И Игоря Александровича Шпынова — дипломата, поэта, руководителя представительства Россотрудничества во Франции, директора Российского центра науки и культуры с 2005-го по 2017 год в Париже. Приходите к нам, Игорь Александрович, мы продолжим разговор.



ПО СЛЕДАМ НЕМЕРКНУЩИХ СОБЫТИЙ



© Художник Елена Любич

Ефим Гаммер
(Израиль, Иерусалим)

Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), в семье одесситов, эвакуированных во время войны на Урал. Впоследствии жил в Риге, закончил отделение журналистики Латвийского госуниверситета, автор 25 книг, лауреат ряда международных премий по детской и взрослой литературе. Среди них — Бунинская, серебряная медаль, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Петербург. Возрождение мечты, 2003.

Живёт в Иерусалиме. Член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников, член редколлегий журналов «Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» (Израиль) и «Приокские зори» (Россия), широко печатается в журналах США, Израиля, Украины, России, Германии, Франции, Латвии, Дании, Финляндии, Канады, Молдовы и других стран, переводится на иностранные языки.

Глаза в глаза с минувшим **(Репортажная повесть 1950-1970 годов)**

Затмение

Я рос на Аудею, 10. В старой Риге, рядом с развалкой. Развалкой мы называли бывший ювелирный магазин, разбомблённый во время войны. Чья бомба — немецкая или русская — упала на этот магазин, мы не знали. Впрочем, над этим никто не ломал голову. Потому что бомба соорудила нам площадку для игр. Да что там, для игр! Для нашего детства! А без детства и вся остальная жизнь лишается первородного смысла.

Развалка стояла на пустыре. Между Центральным Универмагом — мы его называли «Асопторгом» — и нашим, тогда огромным, пятиэтажным домом со скошенной, в стеклянных квадратах крышей.

Я ещё не ходил в школу, но уже ходил в Центральный Универмаг. За покупками, разумеется, если не ради желания позырить на завезённые по случаю спиннинги или модняцкие часы «Заря» в золотом корпусе.

Меня выгодно было посылать за покупками — в «очередь». Я сноровисто оборачивался туда-сюда. И сдачу приносил до копейки.

Сноровисто оборачивался из-за того, что никогда не стоял в той самой «очереди», в которую меня посылали.

В очередь я втирался незаметно, исподтишка. Сначала худеньким плечиком, а затем всем своим невесомым тельцем. Кто уследит за моими манёврами, когда я по пояс взрослому человеку? Разве что специально приставленный ко мне стукач. Но таких не находилось. И я успевал обер-

нуться туда-сюда за какие-нибудь десять минут, умудряясь, если и пропустить, то всего одну партию в «чики».

Но однажды случилась со мной незавидная история. От того достойная, что был я обманут впервые, обманут жестоко, обманут до неведомого прежде желания отомстить.

Я возвращался домой почти что порожняком, без сахара и молока, только с буханкой хлеба. Хлеб был свежеиспечённый. Он пах притягательно, я бы сказал теперь — упоительно, пах, как может пахнуть хлеб лишь в те редкие мгновения, когда его не волокут со склада на склад, а везут напрямик из пекарни в магазин, чтобы... Само собой, чтобы разбойные мальчишки-землетопы, вроде меня, надышались у прилавка его дурманного аромата и, позабыв о прочих покупках, мчались домой с батоном под мышкой. Там, дома, оставалось погрузить нож в пышущую здоровьем хлебную утробу, просыпать хрусткую кожицу на кухонный стол и с горбушкой в зубах танцевать на крашенных половицах танец любви ко всему миру и наслаждения от земных плодов.

Но не пришлось мне в тот раз плясать от пахучей радости.

На полпути к дому, на пустыре, притертом к развалке, обнаружил я постороннюю личность — старше по возрасту мальчишку лет двенадцати, родом не из нашего двора, где все были в тот момент семилетними, образца 1945 года.

Босой, но в тельнике и клешах, он походил на восклицательный знак, перевернутый узкой своей частью вниз. Было на чём держаться впечатляющей головке-точке, махонькой, стриженной под нулевку, с помятым в драке носом-картошкой. Он стоял там, где не имел права стоять — на нашей территории, подле моего дома на Аудею, 10. И — странное дело! — коптил спичками стеклышко, повёртывая его и так и сяк.

Зачем он коптил стёклышко, я приблизительно догадывался. Но вот почему он коптил стеклышко на нашей территории, принадлежащей мне и моим друзьям образца 1945 года, этого я не понимал. Солнечное затмение, обещанное по радио, он мог увидеть и в другом месте, где-нибудь подальше, хоть у чёрта на куличках. Но «где-нибудь» и «подальше» его явно не устраивало. Всё просто. Но куда как непросто прогнать его, если его плечо выше моей макушки. Однако куда деваться? Выхода нет. Надо его прогонять! Иначе он и подобные ему охламоны поймут — территория не охраняется, и повадятся шастать сюда, грабить нашу развалку, хранильницу скрытых от чужого глаза сокровищ — янтарных бус, крошечного бисера, всякого рода колечек и прочих мелких вещиц, пригодных для рогатки и торга с тётками-мороженицами и билетершами кинокасс. Всё это добро мы выгребали из недр развалки, расчищая щепочкой землю в самых её потайных прибежищах.

Душу мою промывало сквозняком. В пятки капало масло. Но я всё же понёс ноги к чужому мальчишке.

— Кто ты такой, что стоишь здесь, когда надо пройти мимо? — сказал я заготовленными заранее словами.

— Кто я такой? — переспросил он, снизойдя до меня взглядом с кислинкой. И усмехнулся:

— Это на моей морде написано.

И впрямь, на морде было написано всё, в особенности на помятом кулаком носу.

— А почему стою здесь, — продолжал наглый захватчик нашей территории, — это не твоего ума дело. Но всё же скажу, по секрету.

Он повертел перед собой закопчённое стёклышко, сдунул с него какие-то невидимые пылинки.

— Я, — он ткнул себя зачернелым пальцем, — всю жизнь коптил солнце. Теперь копчу стёклышко. Зачем? А затем, избушка на курьих ножках, чтобы через это закопчённое стёклышко посмотреть на то, как закоптил солнце.

— Дурью ты маешься! — вразумительно сказал я.

— Дурью маешься ты! — вспыхнул он и погас. — Нет, чтобы попросить у меня стёклышко, пристаёшь, как приبلудный пес. Лаешь, но не кусаешься.

— Укуси такого!

— И не пробуй! А то стёклышка ни в жизнь тебе не видать!

— На что мне твоё стёклышко?

— Чтобы смотреть на солнце.

— На солнце можно смотреть только через два часа, когда будет затмение, — повторил я, что слышал по радио.

— А иначе нельзя? — скрипуче засмеялся мальчишка, гася в пальцах спичку.

— Иначе — ослепнешь!

— Ну и дурья у тебя голова, одуванчик природы. На солнце надо смотреть при солнце, а не при затмении.

— Чтобы ослепнуть?

— Слепнут только дураки и сучьи выродки.

— А ты — что? Не из них будешь случаем?

— Я буду из тех, кто не ждёт затмения солнца. А сам своими руками наводит на солнце затмение.

— Ну, даёшь!

— Погляди, — он протянул мне чумазое стёклышко.

Я взял стёклышко, зажмурил левый глаз и уставился на солнце. Но ничего приятного не приметил. За стёклышком таилась густая темень, и ничего более.

— Глупое твоё стёклышко, — сказал я мальчишке. — Ничего в нём не видать.

— Не стёклышко глупое, а ты.

— Почему?

— Потому что — потому! Когда держишься одной рукой за хлеб, а второй за стёклышко, никакого волшебства не будет. За такое стёклышко надо держаться двумя руками, чтобы при полном солнце увидеть затмение.

— Ну да?

— Вот тебе и «да»! Проверь и поймёшь — правду говорю

— А хлеб куда девать?

— Дай, подержу, чтобы не украли.

— Ага, доверься такому...

— Как знаешь, одуванчик природы. Дурак на то и дурак, что всю жизнь дурак, даже, если на солнце глядит и не слепнет.

— Сам дурак! — вернул я горькую пилюлю обидчику. И чтобы не воспринимать себя дураком, отдал ему «подержать» буханку хлеба. А сам воткнулся в стёклышко: слишком велик был соблазн увидеть сегодня затмение дважды — в срок, предписанный законом, и раньше, по собственному желанию. Пацан оказался прав — стёклышко подарило мне всамделишнее затмение. Действительно, чудо! Какое-то стёклышко-черныш, и на тебе, солнце, на которое и глаз не поднимешь среди бела дня, лежит себе послушно, как вода в проруби, подергивается ледком по краям, копошится в мелкой рыбешке брызг. Да полно! Солнце ли оно настоящее? Или это кусок расплавляемого на огне свинца, годного лишь для битки, для игры в «чику»? И я отвёл стёклышко чуть-чуть в сторону, чтобы проверить сомнения. Отвёл всего на секунду. И ослеп самым натуральным образом. Мстительным, понял я, было солнце. Мстило мне за неверие.

Незряче я повернулся к мальчишке с помятым носом.

— Что это было? Почему так? Ни солнца, ни света.

Он будто воды в рот набрал. Молчит.

— Эй, тельняшка! Скажи... Что молчишь?

Молчит. Единственный мой толкователь солнечных затмений, и тот молчит. Будто и на него затмение нашло.

Моё же «затмение» потекло копотью, вылилось в радужную арку, затем рассеялось. И что же? Ни мальчишки. Ни хлеба. То ли он сматал удочки, то ли солнце его поглотило за насмешки да пустые разговоры. Но если солнце, то почему вместе с хлебом моим? Почему вместе с моей румяной корочкой? Той самой, что задаст мне азарта на дикий танец любви ко всему миру. Нет горбушки моей. Значит, и не быть танцу.

Кто меня обманул? Мальчишка или солнце?

Я не мог в тот день отомстить мальчишке. Где его искать? В тот день я мог отомстить только солнцу. И я отомстил ему.

В час полного затмения, когда вся Рига 1952 года жила праздником полдневной тьмы и радовалась впервые увиденным пятнам на недоступном человеческому взору солнце, я даже не вышел во двор. Я лежал на кровати, укрывшись с головой одеялом. И был доволен, что мщу солнцу...

Развалка

Звезды витают в небе. Но поди отыщи их в земле.

Мы находили свои звёзды в земле — на развалке: второй этаж разрушенного войной ювелирного магазина, в пятидесяти шагах от моего дома на улице Аудею. Хитрости здесь никакой. Терпение, острый глаз

да выработанная сноровка — вот и всё! Прихвати нос пальцами, дыши через раз, чтобы не давиться кошачьими запахами, и — валяй, присев на корточки. Как — «валять»? А очень просто! Обзаведись заточенной щепкой и распахивай лежалую, покрытую цементной пылью землю, выковыривай — ну, чисто археолог! — потаённые её сокровища. Сапфиры? Может быть. Яхонты? Вполне возможно. Камешки были разные. Но мы разбирались только в янтаре и бисере. Впрочем, и такого знания достаточно для тонконогих — ребра наружу, руки в карманах — свистунов-фантазёров.

Что нам людские ценности — сапфиры, яхонты? Внешности они представительной, но формы неправильной: продолговатые, либо квадратные. Меткости от такой формы в них, как от козла молока. Никакой! В рогатку вложишь, обязательно промахнёшься. А что для рогатки лучше всего, так это облизанный до матового сияния кругляк янтара — самая классная на свете бусина! Спросите, при чём же тут бисер? Отвечу. Бисер — да, не дорос по размеру ещё до рогатки. Стрельнешь, а ветер слизнет этот «птичий глазок». Так что, имейте в виду, бисером мы не стреляли, хотя и выгребали его на развалке. Он был нужен моей тётке Фане. Не просто тётке. И не просто Фане. А знаменитой на весь мир артистке цирка Фаине Гаммер. На афишах её порой называли и Фаина Гомер, чтобы все думали, будто она произошла не от моего дедушки Фроима Гаммера, и не у самого синего моря — в Одессе, а от великого поэта древней Греции, автора «Илиады» и «Одиссеи», где-то на заграничном острове Итака. Бисер нужен был моей тётке Фане для «создания» артистического платья. Согласитесь, выступать на арене цирка без артистического платья было неприлично. В особенности, если у вас — музыкальный номер,



с лилипутами в придачу. А где его возьмёшь, артистическое? В магазинах оно не продаётся. На базаре тоже. А вот если накопать на развалке пуд бисера да нашпиговать им длиннополое одеяние своё, то тогда всё, даже на галёрке догадаются, платье у вас и впрямь артистическое — сверкает и переливается всеми цветами, как радуга.

Тетя Фаня «создавала» платье из радуги, мы поставляли ей мелкую бусину и твёрдо знали: за труды свои отоваримся контрамаркой в цирк. При этом прибыль от развалки не ограничивалась этим знанием. В скрытых под землёй хранилищах мы обнаруживали невзначай и вещицы, пре-

восходящие в нашем понимании бисер, жемчуг, янтарь. Что? Керамические изделия, различные побрякушки, изредка даже бронзовые подсвечники.

В наших руках ничего не пропадало. Бисер шёл на платье. Янтари на рогатки. Подсвечники и всякий-разный «лом цветного металла» — в утиль.

Что такое «утиль»? Это лавка с надписью печатными буквами на дверях «СКУПКА УТИЛЬСЫРЬЯ». На улице Малая Калею, в Старой Риге, шестьсот девяносто пять шагов от моего дома и шестьсот сорок семь шагов от развалки. Утильщик, человек лет пятидесяти, грузный, с вислым носом и подстать ему животом, утиль, само собой, не собирал. А что же он делал? Он его взвешивал на весах, смастерённых под платформу, потом покупал. За это получал зарплату, а мы — наши копейки, что рубль берегут, если сразу же не потратить их на мороженое, а сберечь на билет в кино.

К утильщику мы наведывались не только с развалки. И не обязательно с подсвечниками. Мы собирали всё: ржавые болты, гайки, куски кровельного железа, трубы. Однажды доволокли даже до лавки батареею центрального отопления. Удивительно, в том 1952 году ещё ни у кого в Старой Риге не было в наличии центрального отопления, а батарея — раз! — и почему-то нашлась в одном из подвалов. Удивительно, но факт жизни! Такой же факт, как и то, что по неведомой нам странности утильщик в основном «жаждал» получить от нас «лом цветного металла» — разбитые рамы от зеркал, бра, фигурные безделушки и всякое такое. Этого он «жаждал» намного больше, чем что-нибудь другое. И мы «жаждали». Он — латунь и бронзу. Мы — мороженое и билет в кино-театр «Айна». За рубль пятьдесят. В первый ряд, где никакая башка не заслоняет экран, и смотри себе, восхищаясь: фильм мировой, из трофейных — «Дилижанс». Дядя утильщик говорил нам о своей жажде. Мы ему о своей. И чтобы напрасно «не жаждать», искали и находили.

Это добро — латунь, медь и бронза — валялось повсюду. Нет, конечно, не на открытых местах. Не обязательно на улице или в сквере. Подчас и в укромных уголках — на чердаке, в кладовке, в схроне каком. Поищи и найдёшь!

Мы умели искать. Глаза, как рентген. Руки, как щупальца осьминога. Мы находили «лом цветного металла» везде, чтобы за день — за два поднакопить гривенников на рубль с полтиной и — «айда в кинчик!». Мы смотрели все подряд фильмы, и трофейные со стрельбой, и наши про «мичуринские яблоки». И всё это благодаря цветному металлу! Однако, хоть и много было его по весне, к концу летнего киносезона он стал исчезать с наших горизонтов. Мы подскрёбывали его, подскрёбывали, да и выскребли чуть ли не подчистую. А его снова не «выбросят». Как, скажите, прорваться тогда на сеанс? Ведь в анонсах обещают классную картину — «Индийская гробница». Тащить утильщику снова батарею центрального отопления? Но она из металла дешевого — чугуна. Да и где её второй раз отыщешь? Кроме того, и «зряплата» — копеечная. Приволочь утильщику неразорвавшийся снаряд? Наругается — выгонит, и вообще фига заплатит за нервное потрясение. А

в кино хочется! Без кино — невозможно. Невмоготу! И тут ещё на носу, со следующей недели, фильм — сдвинуться можно! «Остров страданий». Про пиратов Карибского моря. По роману «Одиссея капитана Блада». А в кармане — воздух, хоть зубы на полку. Вот тебе и «жизнь копейка — медный грош, дальше гроба не уйдёшь». Хоть разбейся, но надо «дальше». В кинчик, где морские разбойники — один глаз в повязке, второй в бертолетовых искрах ненависти — рвут абордажными крючьями корабельное дерево, прутся на корабельную палубу, машут саблями и лезут в трюмы, где вповалку кучи монет и всякого рода безделушек. Этакая груда бесхозного цветного металла! При сдаче утильщику, пожалуй, хватило бы им на билеты для всей бандитской команды.

Нам такое пиратское счастье чихало в лицо: «Апчхи на вас, карапеты!». А ведь и мы готовы повязать один глаз чёрной ленточкой из косички моей старшей сестры Сильвы и рубиться до потери пульса на саблях, лишь бы поглазеть на себя в кино. Поглазеть и, толкая локтем соседа, сказать ему по секрету: «Разуй глаза, пацан. Гляди, это мы там, на экране, балуем. Я, Лёнька Гросман, Жорка Потапов. А самый старший по виду — это Эдик Сумасшедший, мой адъютант и заодно наша дальнобойная артиллерия. Круче всех камни бросает в "рыжих"». Но как и кому сказать, когда на халяву в кино не пускают. А в карманах, догадаться нетрудно, гуляет сквозняк, потому что в Старой Риге обнаружилась полная нехватка «лома цветного металла». Как же быть? Как обогатиться билетом, если истошилась наша кладовая?

Казалось бы, если нет «лома цветного металла», значит, и решения нет. Однако одно «нет», входя в конфликт со вторым, дает в результате «да», как «дважды два — четыре». Именно — четыре! Именно — четыре, а не пять, было у нас перстеньков из цветного металла, жёлтого, подобно яичному желтку цвета. И каждый увенчан продолговатым зеленым или красным камешком, не годным для меткой стрельбы из рогатки. Перстеньки были как новенькие, хоть и выгребли мы их на развалке ещё весной. Вот это нас и смущало. «Как новенькие...» А новенький цветной металл утильщик не принимает. Ему нужен старенький, на его языке — «лом». И мы решили превратить перстеньки в «лом цветного металла». Стоит выковырять из них камешки, и, пожалуйста, дело сделано: уважаемый утильщик, мы вам загоняем «лом», а вы нам гоните монету.

Утильщик укладывал наши перстеньки, разумеется, уже не на весы, а на свой верстачок, жестью покрытый. И глазом в нашлёпке с увеличительным стеклом клевал их — зырк-зырк! — подобно игрушечному ювелиру с витрины магазина «Детский мир». Поклюёт глазом в нашлёпке, на нас посмотрит вторым, без нашлёпки.

Поклюет глазом в нашлепке, опять зырится на нас. Хочет что-то сказать, да не смеет. Наконец рот открыл, стальной зуб показал.

— Хороший металл. Правда, не совсем «лом»...

— «Лом-лом!!!» — восклицали мы, боясь прогадать при оплате.

— Пусть будет «лом», — вздохнул утильщик. — Может, еще есть?

— Найдется, дядя, если не обманешь.

— Вас разве обманешь? Рубль за штуку. Приносите ещё. Такие штуки в нашем утиле принимаются без ограничения.

— Даже, если не совсем «лом»?

— Даже! Даже! Более того...

Но что «более того» он так и не проговорился, боясь, выдать, прогадать. Небось, потребуем от него за «более того» уже не по рублю, а по трёшке.

Но по трёшке мы от него не требовали. Мы вообще от него ничего не требовали. Что давал, то и получали. На кино да мороженое хватало, и ладно! Так и жили. И всё было хорошо, пока не выяснилось, что при «хорошо» где-то поблизости присутствует «плохо». Как же выглядит это «плохо»? И где его искать? Искать недалеко. Оно в моей же квартире, в соседней комнате — на артистическом платье тети Фани. На груди. И выглядит вроде черной проплешины-островка в переливающемся всеми цветами море сплошного бисера. Произошла эта неприятная история из-за того, что развалка-кормилица истощилась на залежи искрометных стеклянных драгоценностей. Как ты её, землю, присыпанную цементной пылью, ни взрыхляй, она ни в какую не цветёт фиолетовой искрой. Янтари — будьте добры! Колечки — нате вам! А бисера, извините, нема! Но как нам без бисера, когда без бисера нам никак нельзя? Будет у нас бисер — появятся контрамарочки. И вперёд, в ложу! Чтобы потом во дворе не играть лишний раз в разбойников и пиратов. А попробовать себя на роли фокусника, жонглёра и, главное, клоуна.

Кто не желает быть клоуном? Выйди наружу, дай на себя посмотреть.

Ну да! Тупой как пробка! А клоуном быть, это... Это почти то же самое, что схватить за хвост Жар-Птицу и выдернуть зараз дюжину перьев, должно быть, из цветного металла.

О, Жар-Птица! Жар-Птица! Кто бы знал, но на развалке водились и Жар-Птицы. Но не живые. С приколкой, чтобы носить на одежде. Были они подобны картинке из сказочной книги Бажова — позолоченные лепестки на хохолке, серебряный клюв, грудка из наборного камня и малахитовые перья — сантиметров по десять.

Чем такая птица — не заменитель для бисера? Посадишь её на грудь — и красуйся на арене: никто не разглядит проплешины-островки на артистическом платье.

— Никто не разглядит! — уговаривал я тётю Фаню, вручая ей Жар-Птицу с развалки.

Уговаривал и уговорил.

Тётя Фаня приколола Жар-Птицу на платье, и...

И мы кричали — «бис!», кричали — «браво!» Тёте моей, знаменитой артистке цирка Фаине Гаммер. И кричали «браво» её великолепному платью, «созданному» из нашего бисера и увенчанному нашей Жар-Птицей.

А сидели мы не на какой-то галёрке-верхотуре, там сидели, где наши крики особенно громко слышны — в ложе для приглашённых гостей цирка. В ложе, где кресла панбархатные и мягко пружинят, как будто они на рессорах. Нам было радостно и до ужаса приятно. Что приятно?

То, что мы — умы, а другие, кто не с развалки, — «увы». Мы умы, они «увы», а цирк у нашей тёти Фани — классный, настоящий первый сорт!

Вот так! На этом и следует поставить точку. Ничего человеку больше не надо, если сидит он в цирке, не где-нибудь, а в ложе, и на арену вытанцовывает клоун, самый смешной на свете. И когда он слышит, что голос клоуна вызванивает цветным металлом, и в звоне этом различается: «Внимание! Внимание! Провозглашаю заранее! Слушает Германия и Советский Союз! Выступление на грани всего Мироздания с включением Развалки и Служителей Муз!»

Звёзды витают в небе.

Мы свои звёзды отыскивали в земле. На развалке.

Были умными — жили...

Влюбиться никогда не поздно

Утёсов пел: «Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь». Я слушал и думал: «Как это правильно!»

Когда человек идёт в школу, он не знает, что его там ждёт. Одного ждёт пятёрка. Другого — кол с плюсом за поведение. А третьего? Третьего ждёт любовь. Но парадокс в том, что школа мальчишеская! Ни одной девчонки на горизонте, даже если смотреть в полевой бинокль.

Какая же, спрашивается, любовь?

Большая!

И, по всей вероятности, на всю жизнь.

— Ну! — скажет какой-нибудь взрослый человек, сходявший ради женитьбы разок, а то и два в ЗАГС. — Загнул малец! Сколь бы прочной ни казалась любовь сначала, все равно со временем покрывается ржавчиной.

Скажет и не подумает, что не прав.

Есть на свете любовь, что не ржавеет. Причем, не одна. Я насчитал три подобных любви. К маме и папе. К жизни. И к первой учительнице. Но что интересно, маму и жизнь я полюбил, можно сказать в несознательном возрасте, сразу же с появлением на свет. А учительницу? Да-да, угадали, в первом классе, на первом уроке, сидя на первой парте бок о бок со своим двоюродным братом Лёнькой.

Утёсов бы спел по этому поводу: «Любовь нагрянула с первого взгляда, когда училка была совсем рядом». Правда, никто ему таких слов не придумал, кроме меня. А у меня не было ещё знакомого композитора, кроме папы, кого имело бы смысл познакомить с этими поэтическими перлами.

Я познакомил с ними Лёньку. Тихонько. На ухо.

Он скорчил гримасу. И сказал, тоже на ухо:

— Не рядом, а напротив! Не видишь?

Евдокия Евгеньевна сказала:

— Мальчики, не шушукаться! Если хотите что-то сказать, поднимите руку, и я вас вызову к доске.



Я немножко испугался слова «вызову». Обычно вызывали не меня, а маму, чтобы пожаловаться на её непослушного киндера. И притих. Не поднял руку, не стал «вызываться» к доске и признаваться в любви с первого взгляда. И правильно сделал! Ибо на переменке, под несусветный галдёж, выяснилось, что любовь случилась не только со мной, но почти со всеми первоклашками, кроме Лёньки, конечно.

Почему «конечно»? Потому что он был на год моложе

и поступил со мной в первый класс за компанию, лишь бы не бить баклуши, как говорила бабушка Ида. Что такое «баклуши», он не имел понятия, но разбить что-то невзначай боялся, затем и рвался в школу — от греха подальше.

Лёнька не догадывался, что и в школе можно что-то разбить.

Что? Сердце!

Чём? Любовью!

Недаром наша общая тётя Софа говорила, что она разбила сердце дяде Мише, и он скоро на ней женится.

Лёнькино сердце оказалось прочным, так как было на год моложе. А вот моё...

С первого взгляда... на первом уроке...

Что оставалось? Быть последовательным и не забывать о серьёзных намерениях, если даже потерял голову от любви.

Поэтому на первой же переменке я выдал одноклассникам тайну своего сердца и провозгласил на весь коридор: «Когда вырасту, обязательно женюсь на нашей учительнице!»

Ко мне подошёл Жорка Потапов и сказал:

— Не ты, а я.

Затем подошёл Сашка Дергачёв и тоже сказал:

— Не ты, а я.

Потом вспыхнула свара: кулаки — туда, зубы — сюда. Зубы были молочные — их не жалко, вырастут новые.

В разгар бучи — боевой кипучей — со второго этажа спустился к нам Гриша Гросман, читающий, когда не дрался, книги из серии «Жизнь замечательных людей». Он раскидал кучу-малу, вытащил помятого младшего брата Лёньку, который пострадал за чужую любовь. И спросил:

— Что не поделили?

— Учительницу первую мою, — сказал я, вынимая кулак из глубокого рта Жоры Потапова.

— Разве вы каннибалы?

— Кто-кто?

— Это те, кто кушает людей. Дикари, если по-русски, — пояснил начитанный Гриша. — Они съели капитана Кука.

— Кого-кого?

— Кука! Это ещё тот капитан! Мировой! Ходил в кругосветное плавание, пока на Гавайях его не сожрали со всеми потрохами местные каннибалы.

— Кто-о?

— Я уже объяснял, дикари! Они проголодались, а кушать было нечего. Тут и подвалил к ним на корабле по имени «Резолюшн» капитан Кук. «Здравствуйте! — сказал, — добрые люди!»

— А они?

— Облизнулись.

— И ответили: «Ам-ам, вкусно нам»?

— Фима, пятёрка за сообразительность. А теперь, если серьёзно: что всё же не поделили?

— Училку. Я думал, что влюбился первый. Вот и сказал: когда вырасту, обязательно на ней женюсь.

— А выясняется?

— Все влюбились, все хотят жениться.

— Это и мы проходили, — покровительственно произнёс Гриша, будто уже вырос и женился на своей первой учительнице. — Вот что я вам скажу, идите на второй урок и забудьте о своих глупых мыслях. Помните мысли умные: жениться никогда не поздно. А влюбиться тем паче. Знаменитый художник Микеланджело влюбился в восемьдесят восемь лет, и ничего не потерял.

— А женился?

— Не успел. Сначала умер. Это посмертно его женили.

— На первой любви?

— На мировой славе! Идите учиться, это тоже никогда не поздно, как сказал поэт Державин. Этот тот старик, кто «в гроб сходя, благословил» Пушкина. Идите-идите, а то на всю жизнь останетесь дураками.

Тут прозвенел звонок, и мы двинулись в класс, опуская глаза, чтобы не влюбиться повторно — и опять с первого взгляда — в нашу прекрасную учительницу.

В стиле египетских пирамид

Миша — жених моей тети Софы — был футболистом. Вратарём. Не вратарём республики, как в кино, но все же... Он играл не в «Даугаве» и не в «Динамо», а в команде нашего родного завода № 85 ГВФ.

За кого, скажите на милость, ему играть, если он был учеником моего папы Арона и работал в его бригаде жестянщиков? Так что, не подавая документов в ЗАГС, он уже считался нашим родственником. А после того, как подал документы, мог претендовать на родственника в квадрате.

Однако этого ему было мало.

Он хотел ещё считаться чемпионом города Риги. Думал, это будет лучший подарок невесте на свадьбе.

Он думал правильно, но не в ту сторону. Я бы сказал проще: думал скорее в мою сторону, чем в Софину. Ей, честно признаться, были до лампочки спортивные достижения даже самого сильного человека на планете Григория Новака. Она играла себе на аккордеоне «Хоннер» у открытого во всю ширь окна, и потенциальные Мишины конкуренты на обручальное кольцо штабелями ложились на тротуар, укачиваемые «Амурскими волнами».

Я тоже хотел считаться чемпионом города Риги, но не ради невесты — её у меня не предвиделось и в кошмарном сне. А чтобы из-за маленького роста ко мне не приставали мальчишки: приходилось каждый день драться, и это снижало в школе оценку за поведение и нервировало маму.

Папу это оставляло совершенно спокойным.

— Сколько «пэчей» ты накидал сегодня? — спрашивал он, когда примечал синак.

И я догадывался, что «пэчи» в переводе с одесского на нормальный язык — это «тумаки». А догадываясь, пожимал плечами.

— Я их не считаю, не камушки об стенку.

Папа не читал мне нотации о хорошем поведении. Он вёл со мной разговоры совсем не по-книжному.

— В жизни, — объяснял он, — нет такого: «бьют — беги, дают — бери». В жизни всё по-настоящему: «бьют — бей и не сдавайся, дают — откажись брат, не бывает бесплатных бутербродов».

Когда я был совсем маленьким, меня из-за отсутствия подходящей одежды облачали в платице старшей сестры Сильвы, из которого она выросла, и выводили в песочницу — поиграть в куличики.

Волосы у меня в ту пору отросли до плеч и вились, как у трёх мушкетёров в знаменитой американской картине 1939 года. Фильм демонстрировали в начале пятидесятых годов в Риге под видом трофейного — отнятого у немцев. (Режиссёр Алан Дуон, композитор Самуил Покрасс, младший из широко известных в Союзе братьев Покрасс, авторов «Марша Будённого», «Трёх танкистов», «Москвы майской».)

Длинные, притом вьющиеся на концах волосы отнюдь не «делали» из меня неустрашимого фехтовальщика, наоборот, «превращали» в доступную для шаловливых кулаков девочку.

Принято говорить: «не верь глазам своим». В правоте этой поговорки драчливые пацаны убеждались через пару минут после того, как набрасывались на малышку с бантиком.

— Дядя! — бежали они к папиной скамейке, отмахиваясь от моих кулаков, как от жалящих шмелей. — Уймите свою бандитскую дочку! Она дерётся... больно — ой! Как будто мальчик!

— Она и есть мальчик, — посмеивался папа, поправляя очки.

— Чем докажете?

— Вы будете строить глазки или посмотрите на фонтанчик?

И задира́л мне подол платя́нца.

— Ничего себе!

— В Брюссель, чтобы посмотреть...

— Куда? Куда?

— В столицу Бельгии ездят за большие деньги, чтобы посмотреть на «Писающего мальчика». А вам — пожалуйста — бесплатное удовольствие, как на детском утреннике.

— Можно подумать, мы такого не видели!

— Видели — не видели, но больше не задирайтесь!

— Мы не будем. Пусть только она... он... не обижается. Мы ведь думали — девочка.

— А девочек бить позволительно?

Огольцы никогда не давали ответ на столь элементарный вопрос, они просто-напросто разбегались. Наверное, на поиск тех девочек, которые не мальчики, чтобы не получить сдачи.

Моя ситуация — обычная. Я сам себе голова, а то и кулак, когда надо дать по мозгам. А Миша — жених моей тёти Софы — играет в команде, и как бы высоко ни прыгал под штангой, чтобы вытащить мяч из «девятки», один — без остальных десяти футболистов — чемпионом стать не имеет возможности.

Как же ему быть, если он обязался положить золотую медаль к ногам моей тёти — своей «бесценной возлюбленной», если послушать его?

Софа, признаться, предпочитала, как Золушка, шикарные туфельки.

Сказала бы об этом Мише сразу, и хлопот меньше. Дело в том, что он был классным сапожником, вот и соорудил бы ей туфельки хоть из замши, хоть из парчи, хоть из листового золота, будь оно в продаже, а у него лишний рубль в кармане. Но ни того, ни другого не было, и он работал жестянщиком, чтобы заработать на свадьбу побольше грошей.

За футбол ему деньги не платили, как и мне за бокс. Он считался любителем, и я любителем. А на двух любителей — один чемпионат Риги среди заводских команд.

Почему же на двух, если я не футболист, а боксёр?

Из-за моего кота Мяуки.

В книге «День египетского мальчика» или в иной, похожей по описаниям древних ритуалов, я обнаружил прародителя моего Мяуки под именем «Священное Животное».

Вот так раз! Кошка в краю вечных пирамид была ценнее любых драгоценностей, её мумифицировали наравне с фараонами, укладывали спать вечным сном в каменную гробницу и посвящали стихи.

Каково?

Конечно, бойкому коту Мяуке я не рассказывал подробности из впечатляющей жизни его плодовитых предков и не намеривался построить пирамиду ни при его жизни, ни после. Но приспособить кота к делу — во все времена полезно для людей — понятно, мог.

Какое же это дело?

Доложу, не стесняясь: мистическое!

По древнеегипетским поверьям кошки способны предсказывать будущее.

Не верите?

А почему, собственно?

Когда чёрная кошка перебежит вам дорогу, небось, замедляете шаг и не торопитесь первыми перейти на другую сторону улицы, ждёте, чтобы это сделал кто-либо другой?

Почему так поступаете? Полагаю, потому, что опасаетесь грядущей беды. Выходит, по-глупому, под воздействием предрассудков, готовы признать, что кошки предвидят события завтрашних дней, а подчас и влияют на их исход.

В этом я убедился не религиозным путем, абы верить, а на научной основе. И пришёл к выводу: иначе этих братьев наших меньших не оберегали бы, как собственных детей. Подтверждением тому служат заметки греческого историка Геродота, о существовании которого легко узнать, если сходить в первой половине пятидесятих годов минувшего века на урок «История древнего мира» в четвёртый класс 17-й средней школы города Риги.

Геродот познавательного сообщал в своих трудах, что египтяне бросались в пылающие дома, желая убедиться, что внутри нет ни одной кошки — неважно, дикой или домашней. Ещё он писал, что после смерти кошки семья пребывала в трауре и сбрасывала себе брови в знак скорби.

Теперь верите?

Тогда поехали дальше. А дальше — это ближе к двум мисочкам с кошачьим кормом. В одной — молоко, во второй — рыбка или котлетка, или кусочек жаренной на сливочном масле колбаски.

А на дне мисочки...

Не угадаете! Но, так и быть, поделюсь домашними тайнами.

На дне мисочки, положим, с молоком, химическим карандашом выведено: «Завод РЭЗ», на дне второй, с рыбкой: «Завод № 85 ГВФ».

И что? За день до матча я пододвигаю эти мисочки к Мяuke и смотрю, откуда он изволит откусать? А он стрельнет по мне вопросительным взглядом, пыхнет бертолетовыми искорками из глаз, покрутит мордочкой, чтобы я поволновался в отношении его выбора, и неспешно направится...

— Ой, не ходи налево!

Нет, идёт направо и виляет хвостом в предвкушении знакомства со свеженькой рыбкой, выловленной мной ранним утром из городского канала подле базара.

Тут же я бегу к Мише, вратарю родного завода, и докладываю ему о предстоящей победе.

Он, разумеется, не держит эту приятную весть под спудом, а разносит по всей футбольной ватаге, и команда его, точь-в-точь по предсказанию Мяуки, одерживает предписанную свыше победу.

Мой кот никогда не ошибался.

Футболисты папиного завода не ведали поражений.

Миша готовился к свадьбе.

Я «болел» за моего четвероногого оракула, чтобы у него не вышло конфуза с прогнозами.

Но — никакого конфуза, все тютелька в тютельку, как в аптеке!

2:0 в нашу с котом пользу.

3:1 в нашу пользу.

4:2 в нашу пользу.

— Мяу-мяу! — радовался мой кот, гортанно выводя чарующие для его подружек звуки, когда я показывал ему на пальцах, с каким счётом «мы» разгромили соперников.

Со временем повелось так, что каждый раз перед игрой Миша обращался ко мне с просьбой «провентилировать» — это на языке жестянщиков «распознать» — ситуацию:

— Завтра ответственный матч. Играем против птицефабрики. А Кеша — наш правый край — подхватил ангину.

— Обьелся мороженым?

— Я не спрашивал. Меня интересует не его горло, а результат матча.

— Никаких проблем. Правда...

— Чего?

— Мяука уже обьелся рыбой. Как бы его не потянуло на молоко...

— А ты купи ему что-нибудь повкуснее. Хоть красную икру. Вот деньги, — и насовал в руки измятые рублевки.

Икру, понятно и базарной, не то, что домашней кошке, я не купил — слишком жирно будет — не масленица. Я бы и сам наладился в предсказатели, если на халяву кормиться икрой за умопомрачительную цену.

Коту я приобрёл сметану в стограммовой стеклянной баночке. Любопытно было провести научный эксперимент и определить предпочтения Мяуки: сметана или молоко?

Не буду закручивать интригу до предела, мой хвостатый друг предпочёл сметану. Честно сказать, и я предпочел бы её, когда убедился, что молоко от неоднократного переливания из бутылки в миску и назад, скисло.

Про скисшее молоко я Мише ничего не сказал. А про сметану доложил с полной охотой.

— Победа обеспечена!

— Значит?

— Золотая медаль!

— А не врешь?

— Стопроцентная гарантия! Мяука сметану слопал — всю без остатка и облизал напоследок мисочку.

— Кто бы мог подумать? Ну и даём! Золотая медаль! — Миша хлопал себя по груди, будто там уже висело на верёвочке самое впечатляющее в послевоенные годы украшение мужского организма, которое он готов положить к ногам возлюбленной.

И что вы думаете?

Команда, воодушевлённая предвиденьем кота Мяуки, бросилась после свистка арбитра в такую ошело-МЯУ-щую атаку, что на первых минутах забила гол, затем второй, а к концу тайма третий.

Во второй половине решающего поединка за титул чемпиона Риги наступательный порыв не угас.

Противник, предчувствуя поражение, повел грубую игру.

Судья показал «горчичник» — желтую карточку защитнику, отразившему удар мяча рукой в пределах штрафной площадки.

Пенальти!

Четвёртый гол с одиннадцатиметровой отметки заводчане-авиаторы доверили забить своему голкиперу Мише, полагая, что лучшего подарка для него перед свадьбой не придумать.

И не ошиблись!

Победа была настолько грандиозной, что счастливые обладатели золотых медалей тут же, не сговариваясь, прикупили у заезжего цыгана по кошечке, египетских, как он божился, кровей. И всех их, полную футбольную команду из одиннадцати мелких чертовок, вручили мне, чтобы я отдал их в жёны моему мур-мурлыке — предсказателю, живущему посреди двадцатого века в стиле древних египетских пирамид.

Он, конечно, хвост трубой, глазками зырк туда, зырк сюда: какая девица симпатичнее?

Но я подумал: всё-таки этот усатый красавец — кот, а не арабский шейх, обойдётся без гарема.

И выпустил его невест во двор — проветриться.

Думаете, мой Мяука растерялся?

Ничуть не бывало...

У кота Кис-Кис Мяуки / Родились в подъезде внуки.

И, растроганный до слёз, / Он подарки им принес.

— Здесь, в коробке, скрыта рыбка, / А в другой — ее улыбка.

— Здесь — охотничья уловка: / Сыр в придачу к мышеловке.

— Здесь сметана, здесь котлета. / Налетай, кто любит деда!

Все дворовые котята / Появленью деда рады.

— Налетай! Налетай! / И подарки разбирай!

— Наш Мяука — славный дед! / Лучше деда в мире нет!

«Любимец Феба»

В тринадцать лет я «достал» в библиотеке запредельно дефицитную книгу о мушкетёрах классного писателя Александра Дюма. Очередь на неё занял у меня Гриша — старший брат Лёни Гросмана. Чтобы успеть с передачей, роман я читал, не отрываясь, всю ночь напролёт, при свете фонарика. Попутно, дабы моему младшему брату Боре было не скучно спать со мной в одной комнате, я пересказывал ему тишком содержимое пухлого тома. Наутро, когда Гриша, не опоздав, явился следом за восходящим солнышком, у меня поднялась температура. У Бори тоже.

Мама поставила диагноз: переутомление. Но потом, видя, что термометр зашкаливает, решила всё же обратиться за помощью к практикующим врачам. Было воскресенье. Никто не работал, кроме скорой помощи. Значит? Все правильно: мама смастерила нам компресс, а Гришу послала в телефонную будку звонить по известному номеру. Гриша и позвонил. И вызвал скорую, сделав особо умный ход, чтобы помощь не валандалась.

Что же он такого сделал умного? А вот что! Он сказал, что у нас внезапно поднялась высокая температура. Произошло это, предполагает Гриша, вследствие общения с гостями из Одессы, которые намекали, что надо кипятком ошпаривать фрукты, привезённые ими, чтобы к ним не пристала холера. «Да-да!» — подтвердил по телефону. — Не пантера, а холера».

Свои предположения Гриша высypал на ту ещё почву! В литературе она называется благодатной. Не прошло и рекордного для стайерской пробежки по нормам 1958 года времени, как сирена разнеслась над Домской площадью, у древнего собора и, заглушив органную музыку, по крутым лестницам нашего дома — улица Шкюню, 17 — застучали подкованные ботинки.

Квартиру забрызгали какой-то вонючкой, то ли жидкостью, то ли газом, и на плохом русском, превозмогая родной латышский, потребовали от родителей предоставить им для осмотра и изучения под микроскопом заразу.

— Какую заразу, скажите на милость? — спросила мама.

— От ваших детей.

— Это мои единоутробные дети! Какая от них зараза?

Оказывается, так подкованные ботинки, имеющие под белыми халатами ещё и высшее медицинское образование, называли обыкновенные какашки, обладающие свойством безвозвратно ускользать в унитаз. Я специально употребил слово — «безвозвратно». Суть в том, что эти аттестованные дипломами люди попросили у мамы на анализ наши с Борей — как они это дело назвали, не желая лишний раз упоминать про заразу? — «выделения организма» и для понятливости добавили — «фекальные массы». Из-за их акцента мне показалось, что вызванных по телефону гостей интересуют «фискальные массы». Этого добра ни я, ни Боря никогда не выделяли из своего организма. И мне стало совсем худо. Боре тоже. Нам, после прочтения «Трёх мушкетеров», представилось: мы попали под колпак герцога Ришелье, и теперь несдобровать, покуда не выделим из организма «фискальные массы», которых в наличии быть не может, потому что их нет в наличии.

Меня с Борей завернули, не цацкаясь, в белые простыни и потащили в столь неприличном виде на улицу. А, доставив в больницу, поместили в отдельную палату, будто мы особо важные для нашей оздоровительной медицины персоны. К двери приставили санитаря с мохнатыми кулаками, чтобы и в мыслях не держали насчёт слинять от недремлющего сторожевого ока с подкованными ботинками. И что дальше? А дальше образованный в стенах института народ стал ждать наших какашек. Но тут возникла этическая проблема. Какашки — хоть убей их! — не хотели покидать наш организм, где были в сохранности, как за семью печатя-

ми. Наверное, боялись, что их примут за «фискальные массы» и потянут в милицию, дабы там они настучали на кого-нибудь из ближних, как Павлик Морозов. На кого они могли настучать? Ясно на кого. На моего папу Арона. Чуть ли не каждый вечер он слушал запрещённое радио. Я, понятно и без криминалистических изысков, подслушивал, затаившись в соседней комнате. В то убийственно интересное время запрещённое радио передавало так, что заслушаешься. Всё из сказанного в эфир запоминалось с первой подачи. Причём настолько, что многое осталось в памяти до сих пор. Да и как забыть, если говорили о том, что Пастернак получил Нобелевскую премию за «Доктора Живаго», а советские люди, не имеющие представления об этом романе, напропалую критикуют его литературные достоинства, называя их недостатками. Особенно ухищрялись те, кто имел отношение к писательскому цеху и полагал, что таким образом продемонстрирует партийному руководству свою литературную грамотность и гражданственную сознательность и, гляди, если не Нобелевскую — она зарезервирована для Шолохова! — то какую-нибудь отечественную премию получит.

Помнится, «вражьи голоса» цитировали какой-то секретный документ № 20 из архивов МГК КПСС. Вот он: «Огромное возмущение вызвал предательский поступок Бориса Пастернака в коллективе студентов и преподавателей Литературного института им. Горького. Своё требование немедленно изгнать Пастернака из среды советских писателей, сурово осудить его предательство в отношении Родины, своего народа они изложили в коллективном письме к Правлению Союза советских писателей».

В 13 лет я в Литературный институт ещё не собирался, хотя уже написал одно стихотворение. Но прочитал такое количество книг, что вполне мог написать стихов чуть побольше, с пару десятков. Вот и решил, чтобы зря не тратить койко-часы, сочинить на досуге, когда и температура по каким-то неведомым причинам испуганно соскочила с меня, что-нибудь для души. И сочинил:

Вы фискальных масс / не найдёте в нас. / Скажем им: «атас!»

И покажем класс, / пролежав за так /месяц весь без как.

«Так» и «как» — рифма, конечно, убогая. Но тогда, осенью 1958 года, я подобных литературоведческих тонкостей не знал. И очень гордился своим бунтарским сочинением. Читал его младшему брату Боре. И он тоже гордился, и тоже хотел проявить характер. Но... Врачи подсунули нам какую-то штуку в виде таблетки, и наше бунтарство закончилось на горшке. Надо заметить, вполне благополучно. Никаких лишних микробов в наших испражнениях, изучаемых под микроскопом, обнаружено не было. И санитарка сказала нам по секрету: «Кал у вас чистый». Мы с Борей помозговали, что она имела в виду, говоря — «кал», и догадались — «говно». Затем нам стало смешно. Нет, не оттого, что мы признаны здоровыми. А оттого, что обычные какашки имеют столько умных значений в русском языке.

Казалось бы, теперь, когда у нас даже «кал чистый» и температура 36 и 6, пора подумать о выписке. Но нет: инкубационный период!

Лежи, плной в потолок и думай. Или пиши стихи, раз прорезался талант, а то у него, у таланта, как поговаривали взрослые, свойство закапываться в землю. «Свой талант в землю не закопаю!» — решил я на больничной койке и бросился сочинять из всех поэтических сил. Но тут у меня развился кризис. Правда, не имеющий отношения к холере — её ведь и не было в наличии! — а напрямую связанный с творчеством. Да-да, с творчеством! Сил, чтобы творить, у меня появилось с избытком, как и лекарств на тумбочке. А вот о чём писать — никак не придумывалось. О лютиках-цветочках обрыдло, и тысячи раз было. О космических спутниках не обрыдло, но уже написано: «Летит в поднебесье наш спутник родной, он сделан умелой рабочей рукой». Папа Арон это стихотворение здорово раскритиковал. «Даже в двенадцать лет надо понимать, что спутник не летает в поднебесье. Чему вас только в школе учат? Если хочешь писать, то пиши о том, о чём хорошо осведомлён!» А о чём я был хорошо осведомлён осенью 1958 года, когда почти никакого прироста знаний за последний год, на переходе из двенадцати мальчишеских лет в тринадцать, не наблюдалось? По-еврейски тринадцатилетие — это «бар-мицва» — возраст, достойный для вступления во «взрослую» жизнь. Вот и получается, вымахал в мужики, а мозгов не нарастил — не кулаки. И сочинять не о чем. Впрочем... Папа Арон говорил: «чтобы сочинять по делу, нужно быть осведомлённым в нём». Тут и возникла шальная мысль: «а почему бы не написать, что я слышал по радио?» Ситуация знакомая, «радийных» высказываний в запасе достаточно. Каких? Обычных, что на всех мегагерцах: «доктор Живаго», «не читал», «клеймо позора».

Только я в уме повторил весь набор словоизлияний народа, как пошло-поехало. И, главное, получилось.

Я тоже не читал о докторе Живаго.

Но знаю очень много о врачах.

Они копаются в холерных наших каках,
чтобы росточек жизни не зачах.

Поэтому не вешайте врачу клеймо позора.

Иначе он отдаст вам микроскоп.

И будете с надменным вашим взором

смотреть в свое говно, чтобы найти микроб.

Больше всего мне в этом стихотворении понравилось, что я приспособил к нему лермонтовское слово — «надменный», которое в обыденной — не поэтической — речи не употребляется, и, следовательно, могу себя отныне величать, как и он, «любимцем Феба».

Вот так день!

День 12 апреля 1961 года не задался с самого утра. Никто и не предполагал, что он превратится в праздник. Думали, что начинается новая война: холодная перерастает в горячую. Почему? Из-за поразительной тупости нашего партийного руководства, собирающегося построить коммунизм в двадцать лет.

Заводская радиоточка, молчавшая чуть ли не месяц, где-то после десяти заладила голосом московского диктора — включены все радиостанции Советского Союза! Слушайте важное правительственное сообщение.

Когда огласят это сообщение, никто точно не знал. Но знали: война! И знали: сообщение о том озвучат в полдень.

— Так было в сорок первом, — вспоминали старые работяги, пережившие то лихолетье.

— Ровно двадцать лет назад, вот ведь, мать твою, совпадение!

— По радиоточке непрерывный бубняж...

— Как сейчас...

— Да-да, слушайте важное правительственное сообщение. А потом — бац, и Молотов — да-да, ровно в полдень. «Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке со своих самолётов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие...»

Во втором цехе рижского завода № 85 ГВФ затихал перестук молотков. Разговоры вертелись вокруг призывных повесток, эвакуационных передрыг, ранений и фронтовых ста грамм из так называемой «наркомовской нормы». Герои минувшей войны и ветераны оборонной промышленности мало-помалу определялись в какие-то заговорщицкие группы, о чём-то перешёптывались, доставая мятые рублишки из кармана.

«Не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?»

Мой заводской приятель и спарринг-партнер на ринге Саня, по кличке «Сачок», из-за которого я написал стихотворение «Клички», уже дважды пролезал через дырку в заборе и бегал в ближайший продмаг за бутылочкой. В глазах его светилась какая-то странная радость. «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов», — напевал он, представляя себя не «бегунком», а сыном полка. Пока что он был «сыном» третьей слесарной бригады. Распивать алкогольные напитки ему не позволялось, но мечтать не возбранялось.

Вот он и мечтал. По его фантазиям, наш завод гражданской авиации прямо сейчас опять переведут на военные рельсы, и мы начнём выпускать МиГи. В одном из них Сачок и спрячется во время перегона на фронт. Так он попадёт в лётную часть, которая с его боевой помощью даст прикурить янкам-дудл. «Подымайся народ, собирайся в поход, барабаны, сильней барабаньте!»

Для заводских ветеранов, пришедших на завод в 1941 году, когда он ещё назывался 245-й авиационный и дислоцировался на Урале, барабанная дробь Санькиных песен отзывалась хлопаньем сердца. Кое-кто сосал валидол, кое-кто присасывался к бутылочке, «делая компанию» третьей слесарной бригаде.

В нашей компании жестянщиков все, кроме меня, прошли войну по-настоящему, без всякого романтического флёра. Дядя Ваня Гребенщиков,

мой папа Арон Гаммер, Костя Голиков. У Кости я некогда допытывался — не родственник ли он писателю Гайдару? У того настоящая фамилия тоже Голиков, и он в четырнадцать лет командовал уже полком крестьянской бедноты.

Костю достижения его однофамильца не очень волновали. Он предпочитал работать на заводе, получать вовремя зарплату, и никакими полками не командовать. А сейчас, когда включены все радиостанции Советского Союза и завертелась такая несусветная нервотрёпка, ему хотелось как-то оповестить жену, что всё у него в порядке.

Казалось бы, что за дичь? Вся страна в напряжении от непонимания происходящего, а передовой труженик рижского завода № 85 ГВФ товарищ Голиков пребывает в примитивных мыслях о том, как сообщить жене, что с ним всё в порядке. Кто не жил в Союзе, этого не поймёт. А тому, кто жил, и объяснять ничего не надо. Но заметить, что такие же мысли обуревали и моего папу Арона Гаммера, и дядю Ваню Гребенщикова, и — всех, всех, всех! — это просто-напросто необходимо.

Разумеется, директору завода Сухорукову хорошо. У него под рукой телефон.

Понятно, и начальнику второго цеха Валееву неплохо. Тоже, небось, обеспечен связью с женой.

А каково рабочему классу, воспетому в песнях, но брошенному на произвол судьбы? И это в столь переломный момент истории, когда американцы, наверное, надумали выручить Пауэрса — своего воздушного аса и по совместительству шпиона.

А что? Долго ли их рейнджерам высадиться десантом на крышу той тюрьмы, где питомец их Генштаба ныне кормит клопов? Ведь совсем недавно, несколько месяцев назад, 19 августа 1960 года, его приговорили к десятилетнему сроку отсидки. За какие прегрешения? Напоминаю. 1 мая на разведывательном самолёте U-2 в 5:36 по московскому времени Пауэрс вошёл в воздушное пространство СССР. Произошло это в двадцати километрах юго-восточнее города Кировабада. Полёт U-2 проходил на высоте 20000 метров по маршруту Аральское море — Свердловск — Киров — Архангельск — Мурманск и должен был завершиться на военной авиабазе в Буде, Норвегия.

По самолёту Пауэрса было выпущено восемь ракет. Первая оторвала крыло, повредила двигатель, хвостовое оперение. Вдогонку за первой пошла вторая, за ней третья, четвёртая и так далее — для надёжности. В результате был сбит советский истребитель МиГ-19, который летел ниже. Командир этого корабля, старший лейтенант Сергей Сафронов, посмертно награждён орденом Красного Знамени. Погиб ещё один советский лётчик, вылетевший на перехват шпиона. Игорь Ментюков. А Пауэрса всё-таки сбили и впоследствии, 11 февраля 1962 года, обменяли на Вильяма Фишера — Рудольфа Абея, не шпиона, разумеется, а советского разведчика.

Такова история. Но и реальность такова, что отголоски этой истории мигом облетели весь завод, пока диктор вещал раз за разом: включены все радиостанции Советского Союза.

Напряжение нарастало. Люди посматривали на репродуктор: когда он, наконец, разрядит грозовую атмосферу на огороженном забором заводском пространстве, либо призовет всех под ружье?

Папа волновался за маму. «Вторую эвакуацию она не выдержит».

Я волновался за Борю, моего младшего брата, находящегося сейчас в школе. Его класс проходил повесть Гоголя «Тарас Бульба», и над его головой — без всякого намека на предстоящую войну — осколочно носилось: «Жид! Янкель, жидовская морда!». Что же будет, случись война?

А вся наша бригада жестянщиков, это я да папа, плюс дядя Ваня Гребенщиков и Костя Голиков, беспокоились за Сильву, мою старшую сестру. Она была на важном месяце беременности, а её муж Майрум проходил переподготовку в воинской части, где ему — резервисту — должны были присвоить первое офицерское звание. Так что в случае войны он мог и не вернуться домой, а прямым ходом отправиться на передовую.

Чего там скрывать? Столь мощная обкатка нервов поставленным дикторским голосом могла привести Сильву к довольно печальным последствиям. Поэтому, согласуясь с боевой обстановкой, меня двинули на разведку её состояния здоровья. В проводники выделили Саню-Сачка, дали две копейки на телефонный разговор. И напутствовали:

— Ты там аккуратнее с ней. Не болтай чего, не подумав. Успокой и дай понять, если война, то — малой кровью на чужой территории.

— Дядя Ваня, так ведь Сталин говорил.

— Сталин говорил, а мы воевали.

Сачок вывел меня потайным ходом к неприметному лазу в заборе, отодвинул доску и протиснулся наружу. Я выволокся следом за ним и рванул к ближайшему телефону-автомату, горделиво торчащему в центре улицы Анри Барбюса, рядом с продмагом.

Сачок махнул в магазин, я к застеклённой будке бело-голубой расцветки и давай наворачивать диск.

— Сильва! Сильва!

— Что случилось?

— Ты радио слушала?

— Нет! А что?

— Да ничего, — замялся я, — тогда и не слушай.

— А что? Что произошло?

— Ничего, все в порядке.

— Нет, ты скажи! На какой волне слушать?

— Включены все радиостанции Советского Союза! — бухнул я и внешне осознал: свободные от заводской зоны люди вполне вероятно и не догадываются о тарараме, поднятом сегодня по радио.

— Сейчас включу, — сказала Сильва.

— Но там ничего серьёзного. Папа говорит, это просто проверка на бдительность.

— Да? — послышалось встревоженное. И вдруг, перекрывая Сильвин голос, донёсся бой курантов и накачанный голос Левитана, столь же уз-

наваемый, как в кинотеатре на просмотре фильмов о Второй мировой, провозгласил: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич».

Тихо, чтобы не спугнуть эхо от голоса Левитана, я повесил трубку и оглянулся на выбежавшего из магазина Саню-Сачка.

— Наши в космосе! — кричал он, держа на отмашке оружие пролетариата — бутылку «Столичной».

17 апреля: паспортный день

Так уж мне повезло, что шестнадцатое апреля выпало в 1961 году на воскресенье. ЗАГС закрыт, районное отделение милиции закрыто. Паспорт я получал на следующий день, в понедельник — в «тяжёлый день недели». Почему он «тяжёлый» я ещё не догадывался из-за отсутствия тяги к спиртному. Но в то, что он непременно — «тяжёлый», верил. Да и как иначе, если об этом под рефрен «трубы горят!», нередко твердили наши передовики пятилетки, когда по утрам, поёживаясь, переодевались в рабочие спецовки. Я по малолетству работал всего четыре часа, заканчивал смену в полдень. Поэтому, ещё до начала занятий в вечерней школе, мог себе позволить осуществление мечты, чтобы, подражая Маяковскому, вытащить через час-другой в классе «из широких штанин» серпастый-молоткастый и провозгласить в рифму:

— Смотрите-завидуйте, я гражданин,
мамой рождённый на древнем Урале.
Поэт и боксёр, в многих лицах един.
Гляжусь, как шампанские искры в хрустале.

Итак, 17 апреля 1961 я пошёл получать паспорт.

Милицейский участок принял меня в распростертые объятия, так как добровольно туда мало кто являлся. Даже за «серпастым-молоткастым». Чаше в сопровождении мамы или бабушки, чтобы вместе с паспортом не вдобавили и пятнадцать суток за распитие спиртных напитков в неподходящем для этого месте. Согласитесь, лаковая, жёлтого цвета скамеечка на втором этаже отделения милиции Октябрьского района — не совсем подходящее место для принятия вовнутрь сотенки капелек чистой, как слеза. Но почему-то именно здесь, именно в рабочее время сыскарей и фискалов рисковали глотнуть прямоком из бутылки первые свои сто «взрослых» грамм обладатели только что выданных паспортов. Откуда мода такая взялась, никто не догадывался. Рабочая версия — от храбрецов-второгодников из «моей» 19-й средней школы рабочей молодежи, ещё не воспетых в фильме «Большая перемена». Но шкодливая мода эта портила общую картину праздника. Ведь и старшему лейтенанту Голубко Ивану Енисеевичу не хотелось после официальных поздравлений и пожатий руки юного гражданина Союза Совет-

ских Социалистических республик гоняться потом за ним, несовершеннолетним проказником, чтобы оштрафовать за алкогольное святотатство на скамеечке, под портретами членов политбюро.

Отсюда и неудивительно, что он, начальник паспортного стола, востроносый усатик со вьедливыми, как буравчики, глазами подозрительно посмотрел на меня, когда я вошёл в кабинет: без родителей, и боковой карман пиджака оттопыривается.

— Что у тебя там?

— Всё своё ношу с собой! — отрапортовал я узаконенной даже в милицеских кругах шуткой из какого-то кинофильма.

— Если будешь носить чужое, арестуем, — совсем неожиданно среагировал милиционер. — Покажи, что у тебя там в кармане. А то тут носят-носят, затем распивают.

По моему смущённому виду Шерлоку Хомсу местного разлива показалось, что он попал в точку: сейчас я вытащу на свет белый чекушку «Московской» и повинюсь в пагубных пристрастиях к напитку его отцов и дедов. Но милицеское разочарование было вровень с Эйфелевой башней. Из кармана я извлек совершенно незнакомый предмет: полукруглую тубу — правильной сказать, картонный пенал со вложенной в него, чтобы не мялась, рукописью.

— Стихи. На машинке отпечатанные.

— Что-что? А где водка?

— Какая водка?

— Мда, — сказал милиционер. — Младое поколение, знакомое... Так, что ли?

— Я за паспортом.

— Покажи стихи.

— Зачем они вам?

— В газете тиснем, нашей, на «Боевом посту».

— А что? Мне уже шестнадцать лет. Со вчерашнего дня.

— Не понял.

Судя по всему, старший лейтенант Голубко Иван Енисеевич не догадывался, что молодых поэтов принято публиковать не раньше шестнадцати, чтобы не составлять конкуренцию Пушкину. Он протянул руку, вынул из тубы свернутые в трубку стихи. Прочитал и огорченно вздохнул:

— «Первая зарплата» — есть. «Старые боксерские перчатки» — есть. Где же по линии гражданского долга? О паспорте?

— О паспорте — Маяковский.

— А я думал...

— Товарищ старший лейтенант, но я ведь еще не получил паспорт!

Честно признаться, причина была в другом. После Маяковского писать о паспорте стало бессмысленно. Представьте себе, что на твой счёт запишут люди, в особенности те из них, кого величают «девушками», когда ты провозгласишь: «я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза». А?

Милиционер огорченно свернул стихи в трубку и вернул мне их вместе с пеналом.

— Метрика!

Он открыл дверцу металлического сейфа, вынул чистый бланк документа, который я буду носить в том же боковом кармане, где и стихи.

Чёрная обложка, блестящие буквы — ПАСПОРТ.

— Ну, что пишем? Фамилия. Какую берём? По линии папы? По линии мамы?

— Гаммер.

— Понятно, по линии папы, — и, обмакнув ручку в миниатюрную бутылочку с тушью, аккуратно вывел «с нажимом», как нас учили в первом классе, мою фамилию. — Имя? У вас тут в метрике вписано два имени. Марик и Ефим. Какое берем?

— А нельзя ли оба?

— Два не положено. Разрешено только одно. Или по линии Марик. Или по линии Ефим.

— Меня всю жизнь звали Фимой, — промямлил я.

— Значит, пишем, как в жизни. Теперь отчество.

— Аронович.

— Это понятно. По линии папы.

— Другой линии у меня нет.

— Национальность. И тут у вас нет другой линии.

— Другой и не требуется.

— А не похожи.

— Это потому что родился на Урале. В Оренбурге.

— В метрике Чкалов.

— Сейчас Оренбург.

— Оренбург не пишем. Пишем Чкалов. Всё должно быть по линии метрики.

— Товарищ старший лейтенант! Чкалова уже нет на карте! Он просуществовал только с 1938 года по 1957-ой.

— Не важно. Нам своевольничать не положено. Где родились, туда мы вас и определим.

— Но даже о Гагарине из-за переименования города Левитан сказал по радио, что он с 1955 года учился в Оренбурге, в 1-м Чкаловском военно-авиационном училище лётчиков имени Ворошилова. Не в Чкалове, имейте в виду. А в Оренбурге. И не я вам это говорю. А Левитан.

— Но то Гагарин! Такой цирковой номер! Вокруг шарика!

— Я тоже весь из себя — цирковой номер. Посмотрите, ношу не одно имя, а два. Будто Пат и Паташон в одном лице. Родился там, не знаю где. Тогда Чкалов, сейчас Оренбург. Сплошной цирк! К тому же мой дядя — Ефим Янкелевич, в честь которого я назван, был директором цирка.

— О! — сказал Голубко Иван Енисеевич. — Вы из цирковой династии?

— Полагаю, что да. Дядя Фима — директор цирка. Тётя Фаня, его жена, — человек-оркестр. Это в тридцатых годах. Сейчас у неё музыкальный номер с лилипутами.

— Ладно, убедил с лилипутами. Если такой цирк... и даже Левитан по радио...

Так в моем паспорте, в отличие от метрики, было вместо двух имен проставлено одно, а в графе «место рождения» появился город Оренбург, которого в 1945-ом, когда я родился, не существовало.

Джаз-бумеранг

1

«На ринг вызываются!..»

— Ну, давай, Юлик. С Богом!

Я покровительственно шлепнул Юлика по спине и, скинув боксёрские лапы, на которых только что разогревал его, пошёл в закуток тренировочного зала, к кожаному мешку.

Мешок отсвечивал пятнами свежего пота и всё ещё покачивался на скрипучей цепи. Ритм плавных его движений передался мне. Я поднырнул «под руку», на выходе из закодированной дуги «показал» удар справа и, тут же хлестнул по скуле условного противника боковым слева. Надёжным, выверенным.

— Неплохо...

Я оглянулся: кто это? А-а, Залитис, мой тренер. Он стоял в дверях с мокрым полотенцем на плечах.

— Хочешь, на лапах поддержку? — предложил Залитис.

— В другой раз. Сейчас некогда.

— Спешешь куда?

— Спешу. К Грише. Бор к нему должен подойти. С концерта.

— Джазмен который?

— Ну да. Брат. Младший.

— А не пора ли его в бокс приводить, а то сил не хватит таскать джазовую трубу?

— Саксофон.

— Без разницы. Главное, при инструменте нужны надёжные кулаки. А то отберут.

— Инструмент?

— Бывает, и жизнь.

— Да ну вас! Еще накараете.

Чёрным ходом я вышел во двор, в полумглу каменного колодца.

На душе полегчало: никого! ни человека, ни человеческой тени.

И я начал «бой с тенью», чтобы отойти от перенапряжения, расслабиться...

Под тугие, бьющие по барабанным переборкам с трибун крики — «Юлик! Юлик!» — месил кулаками воздух, часто и тяжело дышал.

Вот ведь, намечался разговор... Но сорвал... настроение!

А тянет, ох как тянет вернуться сюда, к этим парням, чтобы, как варивал Мухамед Али, танцевать, как бабочка, и жалить, как пчела. Но затянул со своей травмой, обленился. Какое теперь — «в каждом кулаке по нокауту», и спарринг не выстою...

Я месил воздух. Часто дышал. Горький пот жёг мне глаза.

2

— Твоя импровизация... сегодня... — говорил Гена, захлёбываясь в словах, — ты...

— Ещё не Колнтрейн, — засмеялся Бор, но... но Таллиннский фестиваль у нас в кармане.

Приглашение на Таллиннский джаз-фестиваль 1967 года, действительно, лежало в боковом кармане его пиджака. Получить такое приглашение в юности — это что-то! Однако говорить об этом заранее он не решался. Суеверие? Может быть, и суеверие. То самое суеверие, без которого не обходятся ни артисты, ни писатели, ни спортсмены. Скажешь до времени — упустишь удачу.

Но сегодня... теперь... после концерта.

И вдруг — «стой!»

— Бежим! — выдохнул Гена.

Из темноты донеслось:

— Я те побегу!

Гена втянул голову в плечи, прикрылся футляром от флейты. Ни дать, ни взять, нахохленный воробышек, лакомый до зёрнышек и хлебных крошек. Но какие зёрнышки, какие крошки. Брошенный камень загасил приметную лампочку в доме напротив.

— А вот и мы, с приветствием! — из полутьмы появился Женька, кликуха — «Шапка». Старый знакомец, дружок Толика, солиста «Комбо», в прошлом «компанейского певуна под гитару», обнаруженного случайно на вечеринке в чужой коммунальной квартире.

Узнав Женьку, Бор внутренне сжался. Он чувствовал, он предполагал — ещё с той ссоры! — всё так и будет... Но не сегодня же... Не после концерта, когда... Эх, да что там! Смерть всегда приходит в неподходящий момент!

— Ну, как мы себя чуем? — насмешничал Женька. — Будем верзать или побазлаем? — перешел на джазовый сленг, чтобы показать себя «по фирме» — мол, тоже не пальцем деланный. Имел ведь законное право говорить: «уделаем штанишки или потреплемся по-хорошему?» Ан, нет! Уважил, сказал по-ихнему.

Ему легко было иронизировать, имея за спиной четыре здоровенные морды.

Саксофон оттягивал руку Бору. Приглашение на Таллинский джаз-фестиваль давило на сердце. Он понимал: разговора не будет, что ни скажи, всё без толку. И он молчал, хотя и молчание — сознавал — тоже без толку.

Женька, с четырьмя мордами за спиной, роскошествовал в красноречии. Вёл свою прелюдию, беря в расчёт корешей, но не музыкантов.

— Я тебе — откупись, кореш. А ты? Разбашлялся? Побрезговал? Ну, так — пеняй! Мурло разворотим — мама не признает!

Женька себя растравлял — заводил. Растравлял — заводил...

И...

Льдистой синью сверкнул кулак.

Бор ощутил — успел — солоноватый привкус на губах. Потом его втащили в подъезд, вырвав из рук саксофон.

Гена, маленький Гена, похожий на птичку-невеличку, слышал, как, кряхтя от натуги, — «будто рубят дрова» — возилась под раскоканной лампочкой Женькина ватага.

Пыхтело, словно из раскалённой печки:

— Не падает, сволочь!

— А ты по губам! По губам! Без губ — НЕ ИГРЕЦ!

— Ну-ка!.. Дай мне!.. Я способный, ребя!..

— Не чемпион! Мешаешь, лошадь!

— Дай, говорят тебе, припечатать! Он у меня — живо с копыт!

От рубки дров Гене достались подзатыльники.

— Пусти, — вырывался он.

— Куда? — гнусил голос над ухом. — Тебя же т а м уработают. А здесь ты в безопасности, и утром за парту в музучилище сядешь не калекой.

— Пусти! Тебе говорят!

— Не писай кипятком, киндер! Я твой ангел-хранитель. Уважай и не рыпайся. А то глазки на задницу натяну.

Гена — не уважал. Рыпаться не мог — ослабел. Да и как рыпаться, если рука вывернута за спину, и дёргает, дергает, проклятая, позволю лишь мелкое движение.

— Это тебе не в шахматы играть! — гудело в три уха. «Третье» — рука, вывернутая пальцами к звёздам. Но звёзды пальцами не достать. Не достать их и взглядом. Взгляд обращён под ноги, к щербатой плитке, к раздавленному каблуком окурку от «Примы». Сил нет, здоровье под сомнением, а счастье... оно случается однажды в жизни, как и неожиданное приглашение на Таллинский джаз-фестиваль... Несчастья случаются чаще...

Гена рвался из капкана.

Не вырваться!

3

Гарик Ехимсон, с курчавыми, как и его голова, кулаками, перехватил меня за тридцать минут до захода к Грише, поблизости от бани, где мы на пару, накануне соревнований, зачастую сгоняли вес.

— Привет, бродяга! Юлик отмахал этого ковбоя по фирме. А ты? Чего же ты, гад, смотался? Завтра гуляем. И не сползай с амбразуры!

Гарик мог говорить всего на три темы: о боксе, об уличных подвигах или о бывшей жене Верке.

— Я пошел, Гарик... Встреча...

— Э-э, подожди, бродяга. Главное — на закуску. Я же ничего тебе не сказал. Слушай, сейчас скажу. Вчера...

«Опять начнется старая история! Гони уши к пониманию, постигай, как он заломал на “Пятаке” троих, и всех скопом отправил лечиться в клинику для умалишенных».

— Гарик, — вздохнул я, шлёпнув спарринг-партнера по плечу, — все знаю. Уложил несмышленишей. А под ними — мокро... Будь здоров, родной, и не кашляй. А то водительские права не выдадут. Скажут: больным не положено.

— Подожди, я тебе говорю! — он перехватил мою руку, и легонько — по печени, ради смеха. — Ш-ш-ш! — подул на палец. — Секись! Вчера имел удовольствие общаться с Керей. Тем самым, шестеркой Женьки-Шапки. Он мне проговорился... Хлопцы его... Они имеют мысля... Как тебе это сказать... Короче, братца твоего, имеют, прижучить.

— Врешь!

— Чтобы мне Иерусалима не видать!

Вздрогнуло во мне:

— Чёрт! Я же из-за Юлика не пошёл на его концерт!..

— То-то и оно. На концерт не пошёл, значит, ходить тебе по больницам.

— Сглазишь, старик!

— Извини по дружбе. Я рисую чёрным потому, что свой парень. Кликни меня под праздничек души. И мы поквитаемся с ними. Втихаря... мама родная не прознает. Этим, — снова вскинул кулак, — малевал им физию. Под трёх богатырей. Под Ильюшку нашего, Муромца, что списан с Ильи-пророка, и под Никитку с Лешкою, который Попович. И — голову на отруб! — разнесу их шарагу по камешку. Понял?

— Понял, — машинально откликнулся я, проталкиваясь сквозь предположение — «а вдруг уже...»

— Понял? И будь! Привет родителям и тем, кто постарше! Сообразил?

Я даже не среагировал на «задушевный» тычок по солнечному сплетению.

4

Все смолкло: ни возгласов, ни хрипучих ударов, ни победной ржачки. Гена смотрел в темень подъезда и видел только радужные круги в глазах. Не люди — тени накладывались на радужное свечение и плыли, плыли — ближе и ближе плыли к нему.

— Ну как, салага?

— Погляди, а он — мужчина!

— Точно! Еще не обверзался.

Голоса проникали в мозг. Но противно-то как проникали: скрежетанием гвоздя по стеклу.

Липкая слюна, запахом схожая с рыбьим жиром, вытекла на подбородок. Мнилось, они заметили эту слюну и теперь скажут с ехидцей: «Шизо! Когда не на скрипке пиликать, так нате вам, сразу — сопли!»

И Гена — руку отпустили с попутной затрещиной — дернулся. В драку. Однако, куда там — пацан! Прихватили за ворот.

— Не хипишись.

— Иди, подбирай остатки.

По стеклу — гвоздём:

— Мы за дворников не работаем.

На задворках сознания хихикнуло:

— Не та зарплата.

— А ему передай, — Женька прорезался, Шапка. — Саксофончик мы

позаимствуем. Бор — обойдется. Играл, играл и доигрался. Не будет выступать, отдадим. А будет... Тогда мы сами поиграем на саксофончике. Такую музыку закатим — на ящик коньяка. Дошло? Гуляй к нему, малец, переводи на доступный язык.

— Сейчас он ни на каком языке не гу-гу! — хохотнуло и стихло, придавленное словом «заткнись!»

— Ребя! По коням. Поехали...

Гена долго внимал неторопливым, затихающим на дальней булыге шагам. Прислушивался к ним, будто важнее их ничего не было.

Минута, вторая...

Бор не выходил.

Гена боялся подъезда, его темноты и тишины. Покусывал пересохшие губы, морщился в ожидании.

— Бор... Бор... — с этим шёпотом, щекочущим губы, он медленно вошёл в подъезд.

— Бор...

Сверху, из лестничного пролёта, капнуло. Ещё и ещё. Мокрыми пальцами Гена стер влагу со лба. «Это... Бор... там... кровью...».

Гена взбежал на третий этаж.

Бор, перегнувшись через перила, незряче смотрел вниз, вылавливал угасшее — то ли шорох, то ли движение, то ли видение человека.

— Как ты забрался сюда?

Бор держал в горсти разбухшие губы, вываливал по слогам неразличимые слова:

— Зво-н-ни Гри-ше. Пусть бе-р-рет так-си...

5

Куда ни идёт человек, он идёт на кладбище. И этот путь именуется жизнью.

Цементный мешок. Лестничная клетка. Чужой дом. А могила — своя.

Бор тянулся за проблеском сознания. Видел себя, видел друзей. Но врагов не видел, ибо враги — это недавние друзья...

Вывернуло к рапидной съемке. Лица — кадры.

Дворец культуры. «Голубой огонёк». Столик. Чёрный кофе. А вокруг вихры и галстуки, кто поэт, кто художник, не разберёшь. А на сцене лабают... Ветераны джаза из давних годов. «Птичка» под кадычком, глянце-вый смокинг взамен пиджака или свитера. Музыка-музычка, от Утесова. «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет».

Оркестранты — люди джазовые, полднились мелодикой «весёлых ребят». А вполне весёлые ребята, из музучилища, выждали паузу, поднялись на сцену, и — давай, нотами предписанное, а затем — своё, под настрой души.

Своё — больше понравилось

Поняли — будем делать джаз.

Гриша долго не открывал дверь.

— Пройди на кухню, — как-то странно, вместо приветствия, произнес он, впустив меня в прихожую.

В кухне, сначала на скосе глаза, впрямую страшно, потом, пусть и страшно, впрямую — я различил распухшую человеческую фигуру. Сидя на табуретке, покачивалась передо мной невозможная мордоворотина: голова величиной с боксерскую грушу, вместо носа разваренная картошка с лопнувшей кожурой, губы — распухшие, безвольные.

— Ты? — не узнавал я Бора. — Ты?!

И к двери! На улицу! Бить!

Кого бить?

— Где он!?

— Я знаю? — вздохнул Гриша.

Бор смотрел сквозь меня, правая нога его дергалась в такт неведомой миру мелодии. Он жил ритмом, тем неуловимым для рационального рассудка ритмом, который пронизывает всё сущее на земле.

— Скорую я уже вызвал, — сказал Гриша, как доложил.

— Едешь с ним?

— Ты едешь с ним! — сказал Гриша, как приказал.

— А ты? — мои пальцы свело в кулаки, и — намертво, не для ринга.

— Я жду ментов. — Гриша стал протирать кухонным полотенцем очки, круглые, беспомощно-слабые, наследственные.

— Значит... Разболтал уже? Как же теперь?..

— По закону...

Бор булькал горлом.

В бульканье этом мне мерещилось: «Умный ты, Гриша».

7

— А теперь, молодой человек, — обратился ко мне дежурный врач, когда Бора после осмотра увезли на каталке в палату, — продиктуйте мне, будьте любезны, анкету, так сказать, вашего товарища...

— Брата!

— Ах, тогда совсем нехорошо... Но не будем отвлекаться от условностей правопорядка. Где родился? Когда? Профессия? И всё прочее, без чего, доложу по секрету, больному никак нельзя. Даже, подвернись случай, на тот свет.

— Значит, так. Родился в Риге. Семи лет — в музыкальную школу при консерватории, по классу скрипки... одно место на двадцать пять вундеркиндов.

— Не шутка, — откликнулся врач.

— Но потом, как закрутило его в джаз, скрипку оставил, и... Доктор!.. — захолодело во мне.

— Проще — Самуил Яковлевич...

— Доктор! Самое главное — губы! Он духовик... Саксофон — это такой инструмент... требует... Губы, понимаете... губы и нос... Я боксер... Разбираюсь... Нос сломан. А дышать, Самуил Яковлевич? Нет носа — нет и саксофона...

— Иногда и жизни, молодой человек... Без носа...

— Извините, но я сейчас не о Гоголе, не о майоре Ковалёве...

— Я тоже не о литературе. О жизни... А жизнь — штука сложная. По медицинским показателям, без второго срока и второй ходки. Каждый год — последний. Вот и помните, какой год на дворе.

— Вы что, Самуил Яковлевич? О столетии Октября?

— И о нём, если вспомнить Хозяина... самого успешного в нашей стране менеджера, согласно нынешней редакции табели о рангах.

— Простите, — я поднялся со щербатого стула, обморочно-бледного от вечного присутствия в травмопункте, и — к белому халату...

— Доктор!...

— Молодой человек! — Самуил Яковлевич покрутил пуговицу на моём пиджаке. — Позвольте профессору... И я — пусть не боксёр — разбираюсь в таких мелочах. Губы... Нос... Вы правы, и у Гоголя — «Нос»... А ведь сжёг не «Нос», а второй том «Мёртвых душ»...

Моя пуговица, вырванная с «мясом», осталась в пальцах Самуила Яковлевича.

— Про запас, — вдруг сказал он.

Я присмотрелся. Халат его... Сплошные петлички. Вместо пуговичек — обрывки ниток.

— Вы нервный, — пробормотал я.

— А вы?

— Я боксёр, когда не пытаюсь стать журналистом. Боксёру нервы противопоказаны.

— Поэтому вы намеревались отмузуть обидчиков вашего брата?

— Откуда знаете?

— Догадываюсь.

— Это прошло, — почти правдоподобно солгал я.

— Тогда и поговорим, но без кулаков в придачу.

— Да что вы! — я деланно возмущился.

— Я? Что «я»? Вы же на приёме, а не в гостях. Дома, может быть, пластиночку бы поставил, с джазом Рознера. А здесь мне анкету подавай, молодой человек. Впрочем, и без анкеты... — Самуил Яковлевич закурил: «Мне разрешено, администрацией и личным здоровьем».

— А мне?

— Обойдетесь, здоровье дороже. Выглядит, значит, ваша ситуация так... Была весна, цвели дрова и пели лошади...

— Вы не в себе, Самуил Яковлевич?

— Я в себе. И вы в себе. А весь мир — наизнанку, так по-вашему? Как же, брату испортили губы. Да и нос... А чтобы прикус у мундштука был нормальный... чтобы дыхание было поставленное... Угадал?

— Но ведь я в этом деле съел собаку!

— Смотрите, какой едок!.. — Самуил Яковлевич пыхнул дымком, пряча за ним усмешку. — Не ту ли вы собаку ели, молодой человек, что жрала меня?

И он, освободившись от дежурного своего одеяния, показал мне плечо, выгрызенное чуть ли не до кости свирепыми клыками.

— Афганские собаки. А вы будьте здоровы! И не лезьте на рожон.

8

Бор как всегда проснулся в шестом часу утра.

Во рту было сухо. Горечь обжигала дёсны.

Он прошёлся шершавым языком по губам. Сквозь боль определил: зашиты.

Различив в дальнем углу палаты, за матерчатой, в павлинах, ширмой, слабый свет, воззвал — вроде по-взрослому, как из фильмов о войне: «пить!»

Ширма откликнулась девчушкой, голенастой и ясноглазой.

А минуту спустя девчушка подкатила уже с мензуркой. Ножи тонкие, халатик до колен, как платье на пацанках, когда их выход в женском танце на «балехе».

— Пейте на здоровье. Но потихонечку. Что это за фасон, так глотать? Заболеете, что мне лечащий врач скажет?

— Я и без того не здоров. Или мне это кажется?

— Вы как бык, но с наружностью лежачего.

Бор невольно улыбнулся. А улыбка свела его лицо к невольной спазме.

— Болит? — донеслось с Марса. — Потерпите. Если болит, это, по Павлову, хорошо. Организм за здоровье, выходит, борется.

С Марса донеслось. На Земле откликнулось. «Не знаю как Павлов с его подопытными собаками, а она... Она непременно была на моих концертах... Чувиха, чувствуется по всему, джазовая, с импровизацией в голове, не только с туфельками на шпильках».

9

Лицо. Плоское, с ярко выделенным хрящом переносицы. В глазах напряжение. Потные волосы сбегает на лоб.

Перед Женькой стояло зеркальное трюмо. Передразнивало.

Развалясь на диване, с подоткнутой под спину подушкой, он брэнчал на гитаре. И косил на Керю. «Этот гвоздь» разливал по стаканам водку-коленвал, купленную ночью у Сеньки Горбатого.

— Хлебнём по маленькой, а?

Керя — стакашки навесу — осторожно, чтобы не пролить, наплывал на струнный перебор.

— Неси.

— А хорошо мы *его*! — мелькнул улыбкой.

Утро, белёсое как Керя, озидало мансарду бельмами окон. В туманной дымке — консервные банки, ошмётки колбасы, опорожненные бутылки.

Женька машинально опрокинул стопарь, поморщился: «Чисто вода пошла...»

Он прислушивался к себе. Какой-то противный говорок выступал из самого нутра, но слов никак не уловить в несвязном бормотании. А ведь в них, в неразличимых этих словах, — нечто! очень важное! очень нужное сейчас позарез! Но что?

Кере было грустно, хоть и перепил всех — «Даже Васька-штурвал не выдержал, слинял». Ночью выставлялись, анекдотились, гоняли Высоцкого по бобинам, а на рассвете скусились рылом, и втихую, по-английски, не прощаясь, — за дверь, и скок-поскок — цокать подковками по лестницам.

А что в башке? Треск и сумерки. Хрипы Высоцкого — «Спасите наши души» и... Ну да!.. Прибегает девушка к гинекологу. «Доктор, доктор, это у вас я забыла свои трусики?» «Нет, не у меня». «Ах, значит, у зубного врача». Ха-ха, а на закуску свои потроха, если не срок...

— Жень! — тусклым голосом завёл Керя. — Ты что такой весь из себя?

— Какой?

— Будто не мама тебя родила...

— Кто? Я?

Вскинуло Женьку с дивана. Шагнул он к приятелю, стиснул отвороты его пиджака — жёстко, хватко.

Керя дёрнулся.

— Двигал бы ты до хаты! Перегулял.

— И то! — сказал Женька, — Твой дом — твоя крепость. Живи... пока... Пиши письма по неизвестному адресу. Я поехал.

Он вышел из мансарды. Вяло — даже не защёлкнул язычок замка — прикрыл за собой дверь.

10

— Парень, ты слепой аль незрячий?

Бор повернулся на голос.

Старик — этаким штырь в седине и морщинах — напрашивался с соседней койки на знакомство.

— Очухался, малец?

— Я ещё чухаюсь. И думаю, чухаться мне теперь до конца света.

— Чего-чего?

— Да ничего. Просто задумался.

— Ах, задумался. А ты думай о себе так: «Я единственный на Свете». Сразу полегчает. Проверено на себе — мин нет. А вообще-то в нашем положении думать не положено по ранжиру.

— В каком положении, дядя?

— В сотрясённом, голубчик. Уразумел?

Бор недоумённо пожал плечами.

— Ох, ты господи, не уразумел, а ещё, наверное, в серьёзный класс ходит. Тогда вот что... Подними одеяло, посмотри на это самое... Увидишь в наличии, знать, — сотрясенный. Не увидишь, знать, на тебе кальсончики, и ты не столь шибко пришибленный, как тебе кажется на большую голову. Кальсончики — главная примета. Для мозга. Даже не будь Соломоном Мудрым, догадаешься: коли мозги варят, дают кальсончики, коли не ахти, лежи голышом. Дабы не сбёг. Теперь уразумел?

Бор последовал совету говорливого старика. Приподнял одеяло. Кальсон на нём не было. Была лишь длинная, до колен, полотняная рубаха.

— Ну как диагноз? — теплился довольством сосед. — Гарантия — стопроцентная. Надёжнее, чем у нашего Самуила. Не правда ли?

— Мне от этого не легче.

— А вот изобрази себя единственным на Свете.

— Слышали уже...

— Не гоношись, малец. Это ничего, что не легче. Пройдёт, нарастёт живица. Вы, пацаны, все такие, пока до поправки верста с гаком. Потом... — Старик перебил сам себя. — Тут ведь кто в лежанку играет? Не аппендицитники. Не язвенники. Не желчнокаменные. Нет! Все — ушибленные. Чаше по пьянке — это когда совсем без интеллекта в голове. Иногда по кровельному делу. Был тут недавно один, скovyрнувший с крыши. Тоже интеллектом своим гвозди в стену забивал. А тебя, видать, в мордобитии размордовали, так?

— Так.

— Били, небось, по национальному вопросу?

— По ребрам, дядя, по зубам.

— Не хошь — не говори. Порой бьют по зубам, а мечут по национальному вопросу. Я их знаю, сволочей! Впрочем, не горюй, не те времена, парень. Главное, голова на месте, даром что стукнутая. Остальное здоровьишко нарастёт, как на собаке. На вас молодых... Тебе сколько, неполных?

— До шестнадцати ещё не добежал.

— Однако! Почти призывной! Тебе по плацу топать! Строевые песни разучивать! «А для тебя, родная, есть почта полевая. Прощай, труба зовёт...»

— Как же после таких песен, дядя, помнить о том, что я единственный на Свете?

— Без проблем! Есть и такая — строевая. «А я единственный на Свете, когда в кармане пети-мети...»

— С вами, дядя, не соскучишься.

— И не надо, парень. Скучно — только в гробу. А вне гроба — жизнь прекрасна и удивительна. Живи себе и радуйся.

— Даже побитый?

— Побитый — не убитый. Радуйся. А когда поквитаться придётся, радуйся вдвойне.

— Око за око?

— Это не я сказал. Библейские ценности!

— У нас тут ценности иные.

— Держу в уме и иные, — торопливо заметил старик. — Я их с винтовкой в руках защищал. И врагов у меня окривело на один глаз — раз-два-три-четыре-пять — вышел зайчик посчитать. Ох, и не припомнить. Ценности, получается, у нас тут иные, а работают по-библейски в самый раз: он мне в око, а я ему в глаз!

Бор поморщился.

Старик с сожалением убрал пары вдохновения. Но долго пребывать в молчании, видимо, не мог. И мало-помалу начал опять в перешлёп губ.

— Я, не гляди что тоже стукнутый, — военная косточка, казарменный человек. Конечно, для высшего интеллекта звучу не Гагариным. «Сундук», «валенок». На гражданский лад, сверхсрочник. Но это в прошлом. А сейчас — ночной сторож. В паркинге. Это там, где машины за наличные оставляют под пригляд. Работка, доложу тебе по чести, чаепитная. Водочки — не моги, проспичь службу. А вот чаи гоняй — до седьмого поту. Гоняй чаи и помалкивай. С кем там потолкуешь о житье-бытье? С машинами? Так они ведь вовсе бессловесные твари. Вот я и пользую случай — поговорить. Это ничего?

— Говори, дядя.

— Это хорошо, дружок, что не возражаешь. Быстро пойдёшь на поправку — примету такую имею. Тут один, до твоего пришествия, возражал. Так после встряски мозгов полный заика остался. Даже на парады, лозунги кричать, его не берут. А ты... ты... Хорошо это, парень, когда свой, живой собеседник. Я живых собеседников за версту различаю. У меня любовь к ним, к живым... Да ты что, спишь?

Бор спал, убаюканный стариком.

11

«Всю ночь гудели и ни в одном глазу!»

Женька широко раскидывал шаги по мостовой, обгоняя спешащих к трамваям служивых людей.

«Черт! Пришьют хулиганку».

«Не-е, не донесет. Я же пригрозил: "Донесешь, живым не быть!"»

«Должен понимать... теперь... мое слово — закон!»

«А если?.. если?..»

Поджилки противно заныли.

«А если он был уже в несознанке? Если он даже не слышал угрозы?»

«Мать твою!.. Надо к Толику!.. Он меж двух бережков...»

12

Толик пробовал голос. По утрам он «распевался» у зеркала, мешая соседям. Правда, с тех пор, как выбрался на подмостки и стал солистом джазового ансамбля «Комбо», они отказывались от каждодневной брани,

стесняла популярность. Однако порой не выдерживали «мук» и предпринимали основательную стирку мозгов, типа: «Вот выискался на нашу голову Кар-р-рузо — лужёное пузо, заткнул бы пасть!» А по воскресеньям, когда отсып — святое дело, порой крыли почем зря, без оглядки на детей, этих дураковатых идолопоклонников, — чтобы отыгаться на неделю вперёд.

— А-а-а, — тянул Толик, забираясь на верха, в манящий воздушный замок всемирной известности.

Нетерпеливый стук в дверь вырвал его с заоблачных высот, бросил на землю.

«Опять начинается...»

Но обошлось! У порожка топтался не докучливый отставник-выпивоха Антон-Тонныч, а закадычный дружок Женька.

— Привет! Всё поёшь, птенец.

— А как же? Иначе — выхил, — в тон, но с усмешечкой превосходства, сыплющей соль на раны дворового «балагура под гитару», отпаривал Толик. Пусть для Женьки он слабак-шавка, но, однако не Женьке, а ему, Толику, петь-распеваться, выступать на сцене и мыслить на «джазовом языке» про возможный «выхил», на нормальном — увольнение. Женьке всё это не по башке. Со своими кулаками так и остался в подворотне, без надежды протиснуться к микрофону. Просился к Бору в ансамбль, но не осилил джазовой науки. А гонор! Что его гонор, когда голос подворотней просквожён.

— Сгоняем по кофию, — предложил Толик, почувствовав беспокойство за внешней бравадой приятеля. Понимал: под хмельком. Не кофе ему, а винища креплённого. «Солнцедара» капелек сто — на опохмелку. Но вина не держал, ни белого, ни красного. Опасался змеиноного искуса. Отец из-за вина сгинул под забором.

— Мы за ночь три полши раздавили, — неопределенно, то ли с гордостью, то ли с сожалением сказал Женька. Вынул наугад из фанерного ящичка пластинку. На конверте Элвис Пресли, гитара, ноги вразлёт.

— Посылочный, — пояснил Толик. — Поставить?

— Да ну его! — отмахнулся Женька, усаживаясь на тахту. — С утра не по мозгам. — Знаешь... Звякни-ка боссу своему...

— Кому? — удивился Толик.

— Кому-кому? Тому, под чьим началом рот у микрофона раскрываешь.

— Бору, что ль?

— Ему самому! Надо побалакать.

— Надо, Женя, сам и звони. Вот тебе телефон. Вот номер. Набирай и балакай. — Толик разлил по чашечкам подогретый на спиртовке кофеёк. — А то ругаться-обзывать — сам мастак. А идти на мировую... Я тебе не посредник.

— Чемберлен! — взвинтился Женька: в зрачках бертолетовый огонь, мертвый во все свои сто тысяч искр.

Женьку выпирало из себя. Но почему? Просто так поволокло — под диск Пресли? Сквозь калиброванное отверстие в центре? Интересно,

сколько там миллиметров? Под какую пулю? Под «Кольт», наверное. Америка!

— Птенец, хватит чирикать! — Женька застудил голос на металле. — Сказал тебе — звякни, значит, звони!

— Какого рожна? Вечером приходи на концерт, второй раз даём — на бис, и корешись-объясняйся.

— Звони, тебе говорят!

Толик присел на краешек кушетки, у телефонного столика. «Перечить? Это наживать лишних врагов. А кто из них самый опасный? Бывший друг, разумеется». Повертел пластиком, настраиваясь на короткие гудки.

Не повезло.

— Я слушаю, — прилипло к уху.

— Тетя Рива! Это я, Толик! — выхлестнул спазматически, любил быть узнанным везде, по поводу и без: имя на слуху — слава в кармане. — Здравствуйте, родная моя! Как у вас? У Бора намечается поездка на Таллинский джаз-фестиваль? Здорово! Радуюсь с вами. И с ним. Кстати, по этому поводу и звоню. Дайте его. Хочу поздравить. Что? Он у Гриши? Со вчерашнего дня? А-а... Новые записи? Колнтрейн? Гилеспи? Майлс Дэвис? Кто ещё? Стан Гец? Ага... И Гена там?.. А меня не пригласили... Ну, конечно, не духовик... Солистам не на джемсейшнах лабать, Рива Абрамовна, понимаю. Их место скромное. У микрофона. Перед переполненным залом. Мы своё место, Рива Абрамовна, помним. Свято место... Ладно уж... Привет Бору. А вам всего хорошего.

Трубка дала отбой.

Толик чутьчку посопел в мембрану. Болотной лягушкой квакнуло сердце. Перетерпел. И впрямь, джаз для него — дядя чужих кровей, эстрада родней. Не зовут, и хрен с ними! Чего напрашиваться? Не на басу, не на фоно, и к саксофону не расположен. Поёт! А это от Бога! Это не каждому дано, с этим родиться надо. Выучиться на инструменте — не фокус. И зайчонок стучит на барабанах. Плюс техника, минус музыкальные способности. И — пожалуйста! Петь — иное. Без природного дарования — не споёшь.

Толик поднял глаза на Женьку: подтвердил бы!

Почудилось — подтвердил.

Почудилось... Женька мутно соображал. «Он у Гриши. Маманьке не донёс. Значит, всё в порядке. Отлежится и... Маманька — родная кровушка! Чего ради вгонять её в гроб? Парой синяков?..»

Он внушал себе «пару синяков». Но сознавал — «пахнет не синяками».

— Толик! — Женька с усилием сглотнул слюну. — Позвони на всякий случай и к Грише. Проверь, у него *этот*?

— Мне распеваться надо, недовольно проворчал Толик. — А ты — звони и звони. Бора и так вечером увидишь, если до вечера не расхочется тебе идти на мировую. Без него не играем, сам знаешь...

— Сегодня — без него. Вчера проучили его.

— Да ты рехнулся! — Толик вскочил с кушетки, сбив с рычага телефонную трубку на пол. — Он же меня из оркестра выхилиет! За такого дружка!.. Вот удружил, гад!

Жалобной воздушной тревогой заныла телефонная трубка.

— Уберёшь ты эту музыку?! — разозлился Женька. — А за себя не боись! Теперь он никого не выхилиет. Станет ниже травы. Дошло?

— А вы? Вы... — потерянно бормотал Толик, — вы его не сильно?

С деланной ухмылкой Женька следил за тем, как Толик прыгает пальцем по телефонному диску, не попадая в округлые прорези.

13

Визгливый трезвон телефона разбудил меня. Я скользнул с раскладушки на пол. Но Гриша, спавший не раздеваясь в кресле, опередил меня.

— Это Толик, — сказал он, прикрыв ладонью нижнюю часть трубки. — Уже в курсе. Но... странно... просит его самого.

— Ну-ка, дай мне! — Я вырвал у Гриши трубку, и рвать басы: — Толик! Ты не финти мне! Какого тебе Бора? Живого или мёртвого? Какого, чёрт тебя подери?! Ах, ты о записях? Моя мама сказала тебе, что слушаем записи? В больнице твои записи! Там их слушают. И называются они не джаз, а биотоки мозга.

— Что? Так плохо? — слышалось в трубке.

— Плохо, Толик, очень плохо, — и без паузы, не давая ему опомниться: — Женька у тебя?

— Нет, — подхватил эхом Толик.

— Не дури! А то я не догадываюсь, по чьей наводке звонишь.

— Нет его! Говорят тебе — нет, значит — нет!

Я бросил трубку.

Злость выпарилась. Вместо нее подступала боль.

14

Палата, в которую привезли Бора из общей, была маленькой и узкой, как школьный пенал. Всё ее убранство — тумбочка да кровать с тёплым, верблужьей шерсти, одеялом.

Следовательно, сидящему на кровати, было как-то не по себе. И, конечно же, не от вида пострадавшего. Его корбило, что для снятия показаний определили палату для умирающих. Это, как ни крути, не лучший вариант.

— Ну-с, с чего начнём, молодой человек?

— Не знаю.

У Бора кружилась голова. Представлялось: каталка всё ещё скользит по коридорам — в никуда...

Следователь внимательно изучал его, теребя на коленях блокнот.

— Как у тебя с памятью?

— Не отшибли. А что?

— Помнишь все это?..

— Помню.

— Мог бы назвать имена соучастников нападения?

— Нет, с ними не знаком. А вот Женьку...

— Хорошо знаешь?

— И да, и нет. Толик, наш солист, проводил его на халяву... В клуб... К нам... Когда мы играли на танцах. Ну и познакомились.

— Вот он тебе и отплатил за «провода».

— И за это, может быть.

— Было ещё?

— Было... Он ведь зачем напрашивался в друзья? Чтобы играть у нас. Думал, если выучил два-три аккорда на гитаре, так уже — Элвис Пресли, кумир его. А куда нам такой Пресли? Для дворовых — в самый раз. Для нас...

— И ты ему это растолковал?

— Пришлось. Он же стал угрожать. Не примем в ансамбль, проучит...

— Ну и?

— А тут случился в клубе закрытый вечер. Для вас... для... полиции...

— Не стесняйся. Можешь говорить — для ментов.

— Ладно, пусть будет для ментов, как в кино. Со столиками, с выпивочником. И без посторонних, разумеется. Без чужого пригляда. На дверях поставили сержантов. И никому без погон, кроме жён, само собой, входа нет. А нам сказали: «Никого с собой не приводить!» Нельзя — так нельзя. Я даже брату сказал: «Нельзя!» — и он не пошёл. И вот, когда «нельзя» и зал весь под завязку забит вашими — от капитана до генерала, вызывают меня наверх... туда... на проходную, так сказать. А там Женька. «Пропусти да пропусти», будто это я ваши порядки устанавливаю.

— И ты?..

— Я?.. Я ваши порядки не устанавливаю. Я сказал ему — «нельзя!» — Бор поёрзал под прицельным взглядом лейтенанта. — Объяснил я это Женьке, а он...

— Он?..

— Ну, что там говорить. Он...

— Матом крыл?

— Если бы матом... За мат ваши, что на дверях... — Бор проглотил комок в горле.

— Уклончивых формулировок мы не принимаем.

— Тогда пишите... На оскорбление: «Жалко, что Гитлер вас всех не добил», — я отозвался словом: «Подонок», другого в спешке не подобрал. Вот и все подробности нашей стычки.

— Все — не все. Ясно, что групповое. С заранее подготовленными намерениями. Налицо телесные повреждения...

— А что ему за это будет? — напрягся Бор, заостенел.

— Всё зависит от суда. Наше дело маленькое — накопать улики, провести дознание, оформить обвинительный материал. А там — уже не в нашей компетенции.

15

Залитис сидел вблизи ринга, за разборным столом. Почти касаясь плечом гонга, заполнял спортивную зачетку.

Сутуловатый, с намечающимся брюшком — «возрастное накопление» — он даже сидя, по застарелой данности боксу, выдвигал вперёд левое плечо и, казалось, не пишет, а выискивает уязвимое место в защите противника, чтобы — раз! и выбросить козырную правую с нокаутирующей силой.

— Есть для тебя работа, — начал он сразу, без словесной разминки. — Видишь, я занят. Не до них, — указал авторучкой на копошащихся в ближнем бою ребят. — Займись ими. Нечего прохлаждаться попусту — не у ларька с пивом!

— А разговор? Я Гарика встретил. Сказал: Бруно зовет на разговор.

— Ах, разговор. Будет тебе разговор. Потом...

— Потом суп с котом.

Залитис поднял на меня глаза.

— Суп с котом, думаю, ты уже схарчил. Я тебе сварю другой, из свежей медвежатинки. Таёжный, с кедровой лапой и берёзовым веником. Лады?

— Лады. Переодеваться здесь?

— Валяй!

Распотрошив обшитую бархатом призовую сумку на скамейке у шведской лестницы, я вынул свои боксёрские атрибуты. Перчатки, решил, без необходимости. Бинты тоже. Да и капа — резиновый на зубник — не понадобится.

— Не возись, чемпион! — крикнул мне Залитис. — Ты не в кафетерии для дохлятиков с рифмой в мозгах!

Окрик подействовал. Я быстро натянул майку. И тут же поймал на себе придиричивый взгляд тренера.

Майка была мне тесна. «Килограмм пять прибавил» — мелькнуло погасло. Пять килограмм — невесть что. Несколько тренировок, две недели в режиме — и долой. Но всё же давило — «не в весе».

Я скользнул под канаты. Вызвал к себе, на центр серого квадрата, боксёров.

— Бой вести технично, не заводится, — выждал паузу, скомандовал: — Бокс!

И Саша Капустин, и Валя Лацис были мне знакомы. Натаскивал их когда-то, ещё до травмы, гонял до седьмого пота.

Капустин легко постукивал левой по перчаткам спарринг-партнера, мелкими шажками ходил по кругу, выгадывая удобную позицию. Ему, коренастому, узловатому, ростом в «пол-Лациса», средняя дистанция — не впротык. Он как бы выманивал противника на прямой удар в голову, чтобы с уходом в сторону выйти кроссом на его челюсть.

Выманивал, выманивал. Улучил момент — выманил. Чиркнул кроссом, добавил снизу апперкотами — левой-правой — по солнечному сплетению. И не отмахнул. Прилип к Лацису, накачивая его многоударными сериями.

— А ты бы мог так? — вдруг спросил у меня Залитис.

Я вопросительно посмотрел на него: останавливать бой?

— Довольно! — сказал он спарринг-партнерам. — В душевую. Мыться. А то загоните нашего чемпиона, свалится, дохляк, как старая кляча.

— Бруно! — рискнул я возмущением.

Ребята переглянулись и — под канаты, к дверям, на выход.

— Куришь? — Залитис погрозил мне кулаком.

— Ну?

— Глянь, как взмок. Дыхалка — дрянь. Не стыдно? Постыдился бы самого себя, прежнего, — и он протянул мою зачётку, серовой обложки книжицу, отдалённо напоминающую брошюрку.

Не понимая задумки тренера, я полистал памятную книжицу, пробежался по коротким с выцветшими чернилами записям: «победа над первым разрядом», «победа над вторым разрядом», «первое место, приз за лучшую технику». Последняя запись... И — будто налетел на подставку локтем, как полгода назад, когда повредил руку. Второе место... Второе место? Да, досталось мне тогда второе место. Но медаль мне вручали уже в больнице. Впрочем, не в медали дело. А в чём же неувязка? Что меня насторожило в этой записи? Ну, конечно! «Победа над первым разрядом». Липовая запись. Медаль — да, по рангу, серебряная, как и положено проигравшему в финале. Победы-то не было! Сняли меня из-за травмы!

— Бруно! Что за уловки? Не было ведь никакой победы!

— Почему не было? — Залитис — умышленно, что ли? — помассировал нос кистью руки, как по обычаю делает боксер перед боем. — Два раунда вчистую!

— Но на третьем-то... запаматовали?... меня сняли врачи.

— Травма есть травма, штука непредвиденная. Но для меня ты не проиграл.

— Бруно! Зачем в поддавки? Я не маленький.

— Вижу — мужчина. А если назвался мужчиной, забудь ребячество, и давай — на тренировку. Мужчины кулаками зарабатывают победу, а не лживым пером! — потряс он авторучкой, с такой злобой, словно она сочилась змеиным ядом. — Запомни, что я сказал. На досуге будет о чём подумать. А лишняя мысль — прибавка к здоровью.

— Запомню. Будь по-вашему...

— Не по-нашему. А по-твоему! Чтобы капа — вон, и в каждом кулаке по нокауту! А то нагулял «социальные накопления» и... Смотри — догуляешься. Порешат тебя, как братеньника. Не лупи глазами! Не лупи!.. Чего зыришься, как шатун таёжный? Думаешь, всё мимо меня? Не знаю — не ведаю? Знаю — ведаю, паря! Всё знаю, всё! Говорил тебе — приводи братца. «Нет, он музыкант, духовик. Ему надо пальцы беречь, зубы. Бокс ему противопоказан». Бокс никому не противопоказан, заруби на носу! Пифагору не противопоказан, он в древнем их мире был олимпийским чемпионом. И Хемингуэю не противопоказан, он всех друзей-писателей валил с ног кулаком, а не пишущей машинкой. Ну а тебе тем паче.

16

Звёзды смотрят вниз... А куда им ещё смотреть, если они выше всех? Человек — венец создания — уподоблен звезде. И ему смотреть вниз — в глубинную зачарованность души. Но чаще — просто под ноги. Ина-

че — споткнёшься. О подлость споткнёшься, о предательство, о навет. Или о гибельное тщеславие. И не заметишь, как тишком подтолкнут к самоуничтожению, к распаду внутреннего «Я», к небытию.

Не поддаваться слабости, не настраиваться на безысходность...

Бору показалось, что он зацепился за верную мысль — повернуть её, обмозговать и... Но в его размышления вполз старичок-говорун, сосед по палате.

— Ишь ты, опять задумался. И о чём можно столько думать, ума не приложу.

Бор обернулся к нему:

— Дядя Никита, дал бы лучше зеркальце. Охота на себя посмотреть.

— Зеркальце? Не держим в наличии. Да и на кой оно тебе? Я, например, жизнь прожил без зеркальца, и не подурнел. На меня и потеперь бабёнки заглядываются. Правда, не туда смотрят. Это те, которые говорят: «Повернись, дядёк, на животик, мы тебе укольчик в мягкое место воткнём».

Старик развлекался увесистым хохотком.

Бор настороженно поднял руку.

— Подожди, дядя... Это... Это я, — вперился он взглядом в радиоточку.

— Ты?

Юное «Комбо», похороненное уже Бором, ожило в импровизации саксофона — в записи полугодовой давности, сделанной во время концерта на подмостках филармонии.

Как с того света, на фоне притушенной музыки, возник голос диктора:

«Композиция "Второе рождение" в исполнении ансамбля "Комбо", лауреата конкурса молодых дарований, передавалась по просьбе врача Самуила Яковлевича Левина. На этом мы заканчиваем передачу по заявкам наших радиослушателей».



17

Женька настраивал радиоприёмник. Аппарат подмигивал ему зелёным глазком, выдавливая через динамик обрывки музыкальных фраз.

— Не насилуй радио — не девка! — огрызнулась смежная комната. — Ребёнка напугал!

В детской плакал годовалый сын Веры, бывшей жены Гарика Ехимсона.

Женька страдал от его воплей. Заглушая их, нервно, скачками, вертел ручку настройки. Натолкнулся — на саксофон. Узнал — «Комбо». Вспылил! Кулаком по клавиатуре радиолы!

— Ненормальный! — Вера, разгорячённая недавней ссорой, явилась на визгах: лицо в дымке, голос — наружу. — Твоё? Моё! Всё в этом доме моё! Не ломай!

— Шла бы лучше... — огрызнулся Женька.

— Но-но! Поговори мне, скотина!..

Вера — полы цветастого халата врзлёт — подошла к этажерке, вновь, назло Женьке, включила приёмник. И с видимым наслаждением наблюдала: «Меняйся, меняйся в лице! Хоть и с кулаками, а все одно — придунок! Дрожмя дрожи... Заслужил!»

«Комбо» гвоздило Женьку не музыкой — волчьей картечью.

— Вера, не мотай мне нервы. Выключи.

— Нет уж, братец. Слушай. Свой похоронный марш.

— Убери музыку, говорят! Что они, на самом деле, из себя корчат? Перегной! Я и без них могу!

— Кулаками махать и только!

— Дура!

— Ах, мы уже в умники записались? Значит, пора и за решётку?

— Брось, не хорони меня заживо. Драка ведь... святое дело...

— Пятеро на одного — драка? Натравил великовозрастных мудаков на пацана. Где у тебя мозги были?

— Хорошо, не драка, месть! Он... они зарвались... ну и получили.

— Ах, Боже ты мой. Благородные, дальше некуда. Мест у вас, вендетта. Вы бы ещё овчарку на него натравили. Давно параша не нюхали, да? Ничего, нанюхаетесь. Ваську-то вашего загребли.

— Он не продаст! — ёкнул Женька селезёнкой, зашпешил к сигарете.

Но Вера опередила, выхватила из-под его руки пачку, закурила и с выдыхаемым дымом — врястяжку:

— Про-о-даст! И ты его, столкнёт судьба в нужник, продашь. Все вы — дрянь!

— Тебя бы на мое место.

— Спасибочки! Сам загибайся у параша. Мне тюремное образование не требуется. Обойдусь своим.

— Ты как нарсуд, Вера. Уже в тюрьму определила.

— Куда же ещё тебя?

— К себе поближе, старушка. За пазуху.

— Ах, вот оно что... Намёк на тонкие отношения? На чувствах пора поиграть, да? Не только на пружинном матрасе... — Вера погасила сигарету в пепельнице, усмехнулась, криво, неестественно. — Что ж, праздник на носу, пора под красные флаги и о чувствах... А чувства... слушай... есть шанс получить у судей скидку... за чувства... Любят они вашему брату, бандиту, скидку давать за их «прекрасные чувства». Не за патриотизм, заметь, а за любовь... Но в любовь незарегистрированную, как у Ромео с Джульеттой, они не верят. Им загговую книжку подай — тогда и скинут срок. Противно об этом говорить, но пахнет тебе за групповуху до пяти, а ужать можно до года, когда... конечно... примут во внимание твою, значит, любовь... Любовь — не встречи на скамейке и не свиданья при луне, — как сказал Степан Щипачев. Любовь штука тяжкая, особенно если под её знаком усыновить на глазах судей ребёнка своей возлюбленной... Ясно?

— Чего уж ясней? Дождалась момента, выложила! Ладно, согласен!

Женька чиркнул зажигалкой и вытащил из протянутой Верой пачки сигарету.

— А Олежек-то не орет, — сказал вдруг, рядясь в заботливого отца. — Признал за папку...

18

Гарик Ехимсон, боевито-взведённый, шальной, как его улыбка, влетел в редакцию «Молодёжки» — отдел литературы и искусства, — где я подрабатывал внештатным корреспондентом, и тырк по сторонам — где тут лишнее ухо?

На мое счастье, в кабинете никого. Все в разгоне, кроме Лиды Кухаревич — милого очкарика со старомодными представлениями о нравственности и морали. Гарика она недолюбливала. Из-за рассказней о драках.

Лида при появлении человека-кувалды прихватила со стола листики, и — в соседний, по ту сторону коридора кабинет, в отдел писем, где колдовали над макетом «Осы» — очередным выпуском сатиры и юмора редакционные острословы.

К неуважению своей особы Гарик относился терпимо. Неуважение к своим кулакам — не прощал.

— Знаешь, — таинственно начал он.

— Знаю, — сказал я шутливо, отодвинув пишущую машинку. — Опять кому-то мазал физию кровавой юшкой.

— И да, и нет. Короче, шёл мимо редакции, думаю, дай загляну. А вдруг ты здесь? Угадал, как видишь. А если угадал, тогда закрой рот и слушай. Правду-матку гоню, без фокусов.

— Гарик! Мне материал в номер сдавать.

— Понял... Короче, моя бывшая... Верка собралась замуж за хмыря этого — за Женьку. И теперь — что? Моё семя — Олежку — под Женькино управление?

— Ему, что ли, кисель делал на роже? — полюбопытствовал я, заметив, что кожа на костяшках ударного его кулака разодрана до мяса.

— Нет! Его очередь, как в ломбарде, ещё с краю. А вот Керю-Гвоздя — прихватил. И по камушку! Теперь его искать в больнице. Возле твоего братца.

— Зря, Гарик. И со словами своими не гоношись здесь... Не пивная! А вообще... Ты же дал его адвокату козырь, — вывел я к рассудительности.

— Ха! Козырь! Уймись, бродяга! Не в подкидного играем. Если бы ты, вместо меня, приложился... тогда — да! — козырь... А я?.. Это — сплошное недоразумение. Дошло? Да ни черта до тебя не дошло! На суд их надеешься. По высшей справедливости, так сказать, их метишь. А они тебя? Они тебя — через оптический прицел.

— Брось, Гарик. Мы с тобой в разных школах учились.

— Согласен, в разных. Теперь Венька у меня на примете. Знаю, где заховался...

19

— В самом деле, надоели уколы? — смеялся Самуил Яковлевич.

— Вот где они у меня! — Бор провел ребром ладони по горлу.

— Э-э, батенька, глупости это. Глюкоза только на пользу. Спроси у дяди Никиты, подтвердит.

— Так точно! — тут же подхватил дядя Никита и вознамерился было пространно повествовать дальше в подтверждение сказанного. Но Самуил Яковлевич остановил его движением руки.

— Тебе, молодой человек, скорей надоел наш уважаемый дядя Никита. — Он говорун известный.

Дядя Никита натянул одеяло до подбородка, хмуро пробасил:

— Уж и скажете, известный! Таких говорков, как я, сбивают с бугорков. В три щелбана. Бац! — бац! — бац! Ни говорка, ни бугорка. Фига! Да и та в кармане!..

— Нет, дядя Никита, не скромничайте. Скромность — не выслуга лет. Жалованья не прибавят. Пенсию не повысят.

— Моя пенсия — курам на смех. Без приработка...

— Книжки бы писали. Ваш язык — да в книжку! Чем не «Живые и мёртвые»?

— Мои «живые» не для мёртвых, а «мёртвые» не для живых.

— Мудрёно, да и страх нагоняет. Не против ли вы самого Симонова в атаку поднялись?

— А хоть и против? Что он мне сегодня? После смерти своей? Накричит-наорёт? Последних пуговиц на кальсонах лишит?

— Против вас, разумеется, что он? Пусть себе кричит и орёт с того света, толку никакого. А вот если бы в своё время на Пастернака... Впрочем, Пастернак уберёг его голосовые связки, загодя от Нобелевской премии отказался.

«Зачем это он? — подумалось Бору. — Чего ради просвещает дядю Никиту?» И вдруг осознал: не дядю Никиту — его, Бора, он просвещает, ему, Бору, вкладывает какие-то представления о жизни, которые, придёт срок, обернутся, должно быть, правильным решением.

Дядя Никита то ли включился в игру Самуила Яковлевича, то ли, действительно, попался на удочку. И, загораясь, начал жестикулировать, будто потерял дар речи, потом вытянул правую руку — якобы проголодовал — «за». И, хихикая, сказал:

— Мы тогда все были как глухонемые, хоть и с открытым ртом да при словах. В переводе на русский язык, наши лозунги выглядели приблизительно так: хватит какать нам на голову, пора рты раскрывать! Это мы кричали по поводу Пастернака, изливали на собраниях, как предписано, негодование. Гробили книгу его, не видя в глаза даже обложку. Эту... как её?

— «Доктор Живаго», — подсказал Самуил Яковлевич.

— Да-да, никто её не читал — не видел. В голове сумбур. Что за доктор? Какой Живаго? Только что, лет за пяток до этого, врачей-вредителей норовили к стенке поставить. А тут ещё какой-то убийца в белом халате! Словом, полный кавардак. Это потом стало проясняться. Шолохову надо было, по версии Хрущёва, лапу мазать «нобелевкой». Не Пастернаку. Но это потом. А тогда... Ораторствовали, как глухонемые. Без понятия, ржавыми гвоздями прибивали живого человека к позорному столбу. И ждали, что он в ответ запоем: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». А он... Он... Говорят, вскорости после этого он заболел и умер.

— Не пережил, — подтвердил Самуил Яковлевич.

— Такие они — душевные неурядицы. Сердце ими засеивать — без пользы. Недалеко и до инфаркта.

— Э-э, батенька... Куда это вас потянуло? — Самуил Яковлевич погрозил дяде Никите пальцем. — Не нагоняйте нам уныния. И без того...

— Так тошно! — шутиливо отозвался старый солдат.

— Это лучше, иначе — с унынием под мышкой вместо градусника — мы вас и выпишем. Идите себе на поправку под крылышком у жены. Не мешайте тяжелобольным. И без того страдают... У Чехова, помните, «Лошадиная фамилия». У них, джазмены которые, лошадиные мысли. «Прикус мундштука», говорят, не тот. Саксофон «киксовать» станет.

— Вы обо мне? — уловил Бор, в чей огород камушек.

— Я без адреса, — ответил врач. — Психотерапия...

Бор вздохнул. Вздохом прикрыл намечающуюся улыбку. И — в оправдание вздоха:

— Мне не до смеха, Самуил Яковлевич.

— Напрасно. Не до смеха только в гробу. В любом другом случае, не смертельном, смех — на пользу. Даже с твоими зашитыми губами.

— Я и без гроба в гробу...

— Не в гробу, а в колодеце.

— Как это? — не понял Бор.

— А очень просто. Имя твоё значит — колодец. На древнееврейском. Но ты... корней своих не ищешь. Это в Штатах один негритянский писатель написал книгу под названием «Корни». А тебе — некогда. На «ба-лехах лабать» важнее, — Самуил Яковлевич прибегнул к сленгу джазменов, показывая, что как-то, скорей всего, через собственных детей или

племянников, связан с ними. — Вот и сунулся по незнанию в гроб. А ведь находишься в колодце. И, может быть, с живой водой.

Дядя Никита протянул речитативом:

— Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.

— Какие дела? — разозлился Бор. — Я ведь не по столярному делу мастер. Я музыкант.

— А мысли лошадиные, — дядя Никита, насмешливо повторил замечание лечащего врача. — «Прикус мундштука не тот».

— Кому «прикус», а кому «выкуси!» — вспылил Бор и, вспомнив о зашитых губах, перекрыл ладонью рот.

— Это уже лучше, — насмешливо отозвался дядя Никита. — Ожидаешь. А то — могильщик, сам себя закопал в гроб. Доктор, — коснулся он Самуила Яковлевича, сидящего на табуретке подле него и Бора, в проходе между кроватями. — А вы ему про эту... сигнальную... тьфу!.. запаматовал... Нет, не про ракету...

Старик вымучивал память, морщил от напряжения лоб. Не вспомнил. Потерянно сказал:

— Штука полезная...

— Система?

— Во-во!.. Система, будь она неладна!

— Вторая сигнальная?

— Сигнальная — ладная. Сейчас повсеместно сигнализацию внедряют. Против воров и грабителей.

Самуил Яковлевич с каким-то новым интересом — так показалось Бору — посмотрел на дядю Никиту, пальцы его машинально теребили пуговичку на белом халате.

— Что ж, была весна, цвели дрова и пели лошади. Верблюд из Африки приехал на коньках, — врач незаметно для себя самого оторвал уже пуговичку, сунул её в накладной карман и едким усмешливым взглядом, по представлениям Бора, прошёлся по штопке на его лице. — На чём остановились? На верблюде? Точно, верблюд из Африки приехал на коньках. Приехал. И что? А вот что! Изучать язык он приехал, оказывается. Наш. На нём, согласно Ломоносову, со всеми иностранцами легко говорить, не задумываясь. И французу можно сказать «мерси», и немцу — «данки шон», и итальянцу — «о, мама миа». Приехал верблюд и на своём верблюжьем толкует нам про вторую сигнальную систему — прямо-таки по Энгельсу. Мол, область человеческого языка, по-научному «вторая сигнальная система», дана нам для достойного, не обязательно за столом с водкой общения. И тет-на-тет, без третьего уха. И в очереди к продмагу — за колючками и кустарником из растительного семейства «перекати-поле». И для признания в любви и ненависти. И для философских высказываний. И для всяческих переговоров. На разном уровне. Он предпочитает под свой рост — на высоком.

— И до чего же он дотолковал? — спросил Бор.

Это Богу известно да оружейному ведомству. По моим, однако, сведениям верблюд пролез в игольное ушко, как и положено ему по предна-

значению. Толмачи в восторг, и давай качать циркача-горбача. Раз качнули, два... Он и исчез. Верблюд исчез, а учение его живо. Вроде бы в нём ничего нового, но... Сам посудите: пока язык у нас на замке — я имею в виду больных планеты Земля — мы не выходим из кризиса. А вот когда замок скинут с уст... Только вы, дядя Никита, — Самуил Яковлевич повернулся к своему подсказчику, — слишком вольно восприняли размышления заморского гостя. А тебе, — вновь к Бору, — не мешало бы поучиться оптимизму у нашего уважаемого говоруна. Тоже был не из лёгких. Состояние его, скажем теперь прямо, внушало больше... намного больше опасений.

— Даже я сам опасался, — подтвердил дядя Никита: закатил глаза, будто на смертном одре, и пальцем в небо — с намеком на сообразительность зрителя. — Когда в мозгах мысль, голубчик, а не дым, думал я, грешный, — смерть-матушка пришла. Ан нет! Медицина наша правильная! Кукиш в нос смерти сунула, она и сгорела на работе. Как я давеча. Я ведь тоже сгорел на работе. Рассказать?

Дядя Никита настроился, красноречивыми своими глазами, прежде — «мертвяка», ныне — двужильного «живчика», заспешил от врача к Бору, от Бора к врачу. Вычитав согласие, ноги спустил на пол — в тапочки, подоткнул под себя одеяло и приступил к принародному выступлению.

— Дело было в ночь-заполночь. Чаёвничал я в сторожке-дежурке. Поглядывал в окошко на автомобили — вдруг надумают без спросу спереть.

— Как это без спросу? — удивился Бор.

— Шутка босяцкая! — пояснил дядя Никита. — Без спросу или, наоборот, по наводке, всё одна хреновина: небо в клеточку. Но вернёмся ближе к телу, как нынеча говорят. Так вот, если ближе к телу, то вижу я, значит, — тень, крадётся она себе по площадке и помалкивает. Посчитал по стариковски-дураковски, Нинка моя прётся, с судком, поужничать. Бывало, заглядывала после дежурства в радиоцентре — это в морском пароходстве, там, где связь держат со всем мировым океаном. Вижу — тень. Думаю — Нинка. Кушать захотелось. Ну и получил, как и положено, если человек думает желудком, а не умом. Полетел я к ней, котлетке с судком, на крыльях любви, ибо ноги совсем, поди, не держат, и — бац! — по кумполу. По кумполу — бац! — получил, тут и вспомнил о забывчивости своей: ружьишко-то, старый пень, на лавке оставил. Дальше? А что — дальше? Дальше ещё разок — бац! — по затылку, с любовью к искусству. И темень кругом ненаглядная, как если бы в землю тебя бомба запашет. А-а? И ничего. Не оглох. Не оскудел на язык. Пользую вторую сигнальную систему и иду на поправку. Но в игольное ушко не лезу — не по мне товар.

Дядя Никита замолк, сплёл на груди руки, шершавые, поросшие седым волосом. И пусто уставился на радиоточку — чёрное пятно в белом углу.

— Что же вы замолчали, батенька? — пророкотал ровным баском Самуил Яковлевич. — Или вспомнить нечего?

— Мне?

Хотя дядя Никита восстал против очевидной нелепости, в нём чадливо угасали искорки воспоминаний.

Пустота! Будто и не жил.

Сначала старшинские молотки.

Потом звёздочки прапора.

Плац.

Становись! Равняйся! Смирно! Направо! Правое плечо, вперёд! Шагом марш!

Запевай!

«А для тебя, родная, есть почта полевая.»

А затем?

Затем сплошная мертвечина, без вспышек.

Бутылочка к празднику, под салюты.

Сотка землицы.

Сарайчик.

Клубничка для вывоза на базар.

Домашнее варенье.

Соленья со своего огорода.

Какие-то, мутные по памяти, собрания.

Выступления политинформаторов: там враги, здесь вредители, голову суй за этих, потом за тех.

Руки прочь!

От... (вставить по разумению).

Китайцам — от Даманского полуострова.

Американцам от Вьетнама.

Израильтянам — от Египта, Сирии, Ливана, Иордании, Ирака и Ливии.

Единственное светлое пятно — юбилейные медали в ознаменование Победы.

Да и то... Помнится, с первой, к Двадцатилетию победы...

Поиздевались с этой медалью над фронтовиками-пенсионерами. Насилу не придумаешь и специально, а у них это получилось, как обычно, ненароком.

Указ напечатали в «Правде».

Седьмого мая 1965 года.

За подписью самого министра обороны Гречко.

А очередь на получение награды дошла до большинства ветеранов, кроме Брежнева, понятно, и равных ему героев Малой земли и больших по размерам звёзд на погонах, только в августе 1966-го.

Сколько водки было выпито зазря, в ожидании вызова в райвоенкомат — на вручение, и не упомянешь.

Но это так, для смеху...

А сколько инфарктов случилось от всяческой несправедливости в созданной на пустом месте очереди.

Люди не роботы. Они всё, наверное, неправильно понимают. Если Указ вышел седьмого мая, понимают они, следовательно, медали уже за-

годя отштампованы и расфасованы на складах по коробочкам. По всему, коли думать живой головой, а не механической, выходит, что девятого, в День Победы, будут награды эти — юбилейные — вручать.

Где? Повсеместно!

В гарнизонах и на кораблях военного флота.

На авиабазах и у ракетных установок.

На плацах и в военкоматах.

На заводах и фабриках.

В колхозах и совхозах.

Везде! Везде! Везде!

За час-два до построения в маршевые колонны.

И люди выйдут на демонстрацию с новенькой медалью, в приподнятом состоянии духа и тела, как и положено, если думать трезво. Но трезво думать, видимо, никто Наверху не привык. Поэтому на парад Победы 1965 года ветераны, и не только они, отправились в удрученном настроении. В мыслях у бывших фронтовиков была их, пока еще «без вести пропавшая» награда. А в руках — транспаранты и рисованные щиты с главными орденоносцами Страны Советов. Причём, каждый — и Брежнев, и Суслов, и Гречко — с пририсованной на груди заветной медалью, учреждённой позавчера к Двадцатилетию Победы... Эх, житуха — медный грош, дальше смерти не уйдёшь.

Какая-то оморочь окутала дядю Никиту. Ватная теплынь волнами прошла по его телу.

Бор попробовал улыбнуться, чтобы как-то скрасить ситуацию. Но какая улыбка? Никак не прилаживается к лицу.

— Эх, дядя-дядя! Что сегодня нам давнее прошлое, когда боязно заглянуть в будущее? Мне светит инвалидность второй группы. Первая — умирающим.

— Не гадавай наперёд! — зло отрубил боевито взведённый старик. — Подумаешь, размордовали в мордобитии! Перетерпи! На то ты и человек. Помяни мое слово: мы ещё будем пластинки с твоими записями покупать да просить автограф.

— Ну и ну! И вас на джаз потянуло?

— Что ни сделаешь заради порядка в танковых войсках, — смущённо откликнулся старый армеец.

20

Конь на привязи. Топчется, топчется. Дальнюю степь высматривает. Косит влажным глазом, похрипывает. Дай на скаку умереть!.. Либо дай прорваться туда, в степь недоступную!..

Аист размахист в крыле. Над болотом всплывает. В небо. Кличет друзей. В полёт! В полёт! Дай на лету умереть!.. Либо дай прорваться туда, за море, в запредельную страну. В запредельную страну, но не чужеземную.

Конь один на две воли — ипподромную и степную.

Аист один на две родины — северную и южную.

Но небо над ними одно — во все стороны. И солнце над ними одно — над всеми просторами. Скачи, лети — всюду вотчина... живая планета Земля... земное её притяжение...

21

Больничный коридор. Ноздреватая плитка полов. Обморочная белизна стен. Въедливые запахи: настой дистиллированного воздуха, лекарств и страданий.

Медсестра, с которой ушла передача к Бору, запозднилась. Ожидай ответной записочки и томись невысказанным.

Три раунда даются боксёру для победы.

Вся жизнь даётся человеку искусства для осознания собственного «Я».

Уложись в три раунда или во всю жизнь целиком, обязательно вывернешь к вопросу — «зачем?» Зачем пьедестал почёта? Зачем слава всемирная? Понятно, когда это спортсмену. А человеку искусства? Мало быть настоящим писателем, художником, композитором? Непременно надо стать лучшим? Но лучших среди настоящих не может быть по определению. Они все разные. Не сведёшь ведь в соревновании на звание абсолютного чемпиона фигуристов с боксёрами, штангистов с марафонцами, стрелков из лука с конькобежцами. Что остаётся? Быть! Остаётся быть самим собой. Что это, как не поворотный момент познания — быть самим собой. Как просто и как сложно! «Быть», раз суждено родиться. «Самим собой», если невмочь расплескиваться по мелочам. Быть!

Наверное, поэтому так давили в прошлом у нас на джаз. Ведь джаз даёт возможность каждому музыканту — «быть!» Нет, не составной частицей оркестра, не винтиком и гаечкой слаженного механизма, а самим собой. На минуту, на две забыть о толпе, выделиться в личной, только тебе свойственной импровизации, и отнюдь никого не затмить при этом. Ибо ты — либо саксофонист, либо басист, пианист или ударник. Ты — это только ты. На минуту, на две. Ты, и никто другой! И никому не соперник, не конкурент. Быть самим собой упоительно — пьянит лучше водки. Но этого у нас не любят. А если не любят, значит и не велят — «быть». Во всём подавай им маршевые роты. Равняйся! Смирно! Правое плечо вперёд! Шагом марш! И песню — одну на всех. «А для тебя родная, есть почта полевая...»

Давление разума. Осознание рождающейся мысли. Лекарственные дыхи, вызывающие неприятный озноб с холодными капельками пота на лбу.

И над всем этим — внезапное, рвущее сон проявление действительности:

— Молодой человек! Человек! — возглас медсестры.

— Да? — откликаюсь, как спросонья.

— Вам записка.

Коснулся пальцев её незряче, взглянул: в очочках — дужки золотые, рыженькая — в жестких кудряшках, гребешком не расчесать. Взял письмецо. «Дяде Никите»...

— Это не мне.

Дернула носиком медсестра, наставительно вернула:

— Вам, вам, молодой человек, — и будто несмышленишу, — там внутри приписочка.

Я вынул из конверта письмо, в полстранички линованной бумаги.

— Вам? — победительно торжествовала медсестра.

— Мне.

— А вы спорите, как маленький.

Я отошел с конвертом к окну. Прочёл:

«Передай маме с папой — всё в порядке. Живу. Чую себя клёво, на их языке — "хорошо". Пусть не волнуются. Мы ещё!.. Это сам понимаешь... А без "этого"... Без "этого" — мне присудили инвалида второй группы, первая для умирающих. Зайди за этой резолюцией к моему врачу, её нужно, он сказал, предъявить в суд. И ещё... Тут приписочка для дяди Никиты — занятый такой старикан, парился на соседней койке...»

Кольнуло меня — какой еще дядя Никита?

И мысль за мысль, как слово за слово: колючая проволока, да и только. На ринге дается три раунда.

После сотрясения мозга — для восстановления — двадцать один день постельного режима.

В боксе можно победить досрочно — нокаутом.

Сотрясение мозга победить досрочно нельзя. Двадцать один день, как копейка в копеечку!

А прошло-то дней...

И «приписочка».

Читаем...

«На платной стоянке автомобилей — будка, сторожем в ней дядя Никита. Скажи старику, не позабудь, что его "перетерпи!" пошло мне на пользу. Усёк?»

Я усёк ровно на ноль-ноль плюс девять копеек. Но конверт запихнул в карман куртки и вознамерился двинуться на выход. Однако белый халатик меня остановил.

— Молодой человек! А Самуил Яковлевич?

— Чего?

— Вы записаны на приём к Самуилу Яковлевичу. Вот вам номерок.

Я машинально протянул руку за квадратиком картона. Зеленого цвета. На тесёмочке. И столь же машинально сказал в ответ:

— Я на приём не записывался. Пока ещё у меня с мозгами все окидоки!

— Извиняюсь, это я вас записала на приём к Самуилу Яковлевичу. И примите во внимание, не ради ваших боксёрских мозгов, с которыми, как вы полагаете, «оки-доки», — с какой-то хитровой улыбкой вывела медсестра.

— Инициатива снизу?

— Верхи уже не могут, а низы не хотят, — медсестра откликнулась расхожей студенческой шуткой, почерпнутой по принципу «нарочно не

придумаешь» из ленинского определения революционной ситуации в России. — А записала я вас на приём ради вашего брата. Вам надлежит получить у Самуила Яковлевича медицинское заключение. Имейте в виду, с подписями лучших экспертов по черепно-мозговым травмам. Консилиум тут собирался, учтите.

— Во главе с вами?

— Вы меня — что — в кино хотите пригласить?

От неожиданности я растерялся.

— Пригласил бы... Да в обозримом пространстве ни одной картины о любви. Все про войну да про войну.

— А в «Спартаке», на повторном экране, «Жди меня»...

— Тоже о войне.

— И о любви... В главной роли Валентина Серова, звезда тридцатых годов.

— И жена Симонова...

— Говорили, что и маршал Рокоссовский был в неё влюблён.

— Девушка! Не в этом ли фильме поётся: «О любви не говори, о ней всё сказано», а?

— Всё сказано?

— Всё.

— Что ж, молодой человек. Идите тогда, коли всё сказано, к Самуилу Яковлевичу. На приём. Не знаю, как насчёт любви, а по мозгам он ба-а-льшой специалист.

22

На лавочке, притёртой к стене больничного коридора, — напротив кабинета с настораживающей суеверие цифрой 13 — сидел седовласый «боровичок» в потёртом милицейском кителе давних годов. Серый дерматиновый плащ, вероятно, с того же вещевого склада, что и беспогонное обмундирование, держал на коленях-прикрывал кошелёк с белоголовочкой и какими-то ароматными вкусностями собственного, должно быть, копчения.

В старике я сходу признал Язепа Мартыновича, дедулю моего выученика Вали Лациса. Когда пацанчику было лет четырнадцать, он попросил меня «устроить его по знакомству» в секцию бокса. «А то хлипкий — соплём перебить можно, и вечно с синяками. Лупят его мальчишки, дразнят "слабаком"». Разумеется, Валу я «устроил» в бокс да и натаскивал его потом от новичков до первого юношеского разряда.

Язепа Мартыновича, в прошлом милицейского старшину-выпивоху, я знал с детства — по моим представлениям, чуть ли не вечно. Помните, приняв на грудь лишняка, Язеп Мартынович чехвостили и родную власть, но в допустимом отрезке прошлого. Благо разоблачения культа способствовали кухонной говорильне под литруху белого и кислый огурчик. Значит, и лично ему, Язепу Мартыновичу, милиционеру и человеку, когда это звучит гордо, было позволено безбоязненно корить Сталина,

его подручных и подкаблучников. Дескать, именно по их сволочной прихоти 14 июня 1941 года, ещё до нападения Германии, выслали в Сибирь зажиточных рижан, в том числе и деда его Иманта, владельца знаменитой коптильной мастерской. А ведь дед не прочь был кормить беконом, угрями и прочей рыбной копчушкой новых хозяев жизни. А они? Жрать что ли не хотели с голодухи? Сунули его в эшелон! И... дан приказ... кому на запад, а тебе в другую сторону. Вот так оно было, если писать правду... Коптильную отняли и сказали — катись! Перечить? Кому? И под каким соусом? Покатился как миленький. Расквартировали Иманта вместе с семьей — жена и сын, в городе Киренске, пятьсот километров на север от Иркутска. Там и помер, сердешный. А наследники... в Ригу и не навещаются... То ли обиделись чего-то, то ли совсем русскими стали, только фамилию латышскую носят для фасону да имена.

— Да и я тоже теперь разве что по паспорту латыш, а так... по национальности личной интернационалист...

С такими уведомительными, предвещающими каждый раз один и тот же сюрприз словами, он извлекал из галифе увесистую, золотистого блеска луковичу — карманные часы знаменитой фирмы Буре. Легкое нажатие кнопки, крышка откидывалась, и прежде чем комнату наполняла необыкновенная, правда, несколько механического звучания музыка, Язеп Мартынович успевал повторить: «Интернационалист, зарубите... Это я на всякий случай говорю, чтобы ничего лишнего не подумали».

Музыка была и впрямь необыкновенная. Для меня, ребёнка, в особенности.

Из старинных часов знаменитой фирмы Буре лилась мелодия фрейлекса «Семь сорок».

— Откуда это у вас?

— Дедушка Имант выменял за продукты у другого ссыльного из Риги, врача по специальности, вместе с которым ехали в телятнике во глубину сибирских руд.

Всё это вспомнилось внезапно, за те несколько шагов по коридору, которые отделяли меня от старичка-боровичка на больничной лавочке.

— Язеп Мартынович! Как можем? — поприветствовал я, обменявшись рукопожатием, давнего знакомого и уселся рядом с ним.

— Мы уже не можем, — отшутился он. — Наших девочек вам отдаём на развод.

— Ваших оставьте себе. Со всей их выслугой лет, — отрикошетил я легковесными, как шарик для пинг-понга, словесами. — Чего сидите здесь?

— Очередь. Я крайний.

— Я не об этом. Какая надобность?

— Благодарная...

— Не понял, Язеп Мартынович.

— Отблагодарить пришёл. Да ты, никак, не в курсе?

— Простите, в последние сутки я о вас, действительно, ни разу не вспомнил. Что ещё с вами приключилось, дядя?

— Не со мной. Валю изморюкали.

— Как? — опешил я. — Он же любого уложит за одну минуту!

— Это — если лицом к лицу. А тут сзади. И булыжником. Словом, маковку насквозь пробили... И этот — ваш — доктор... — Язеп Мартынович показал на дверь с цифрой 13. — Этот — ваш — доктор вытащил мальчика с того света. Ну, я и пришёл к нему, Самуилу вашему Яковлечу с душевной благодарностью...

Я косо посмотрел на его кошёлку с торчащим из неё бутылочным горлышком. Щёлкнул пальцем по алюминиевой пробочке. Затем себя по кадыку. И покачал головой.

— Фантазия, дядя, у вас под сто грамм.

— А я не на распитие принес. Распитие алкогольных напитков в общественном месте... наказуемо... и требует общественного порицания... Я это для себя. На потом. Отметить для порядка и всё такое.

— А в какой палате Валя? — поинтересовался я.

— В пятой.

— Навещу, конечно.

Дверь в кабинет врача распахнулась. В коридор выплыла тётушка неопределённого возраста, держа за руку не менее раскормленного мальчонку с перевязанной головой.

— Тоже размордюкали, — толкнул меня локтем Язеп Мартынович, — Ну и житуха, кругом одни...

— Евреи, — инстинктивно отшутился я.

— Хулиганы, — поправил меня правильный старик. — Я интернационалист, заруби на носу, — и он поднёс к моему уху музыкальную луковичу знаменитого часового мастера Буре. — На, послушай напоследок. А то я пошёл...

В его отсутствие ко мне на лавочку подсела медсестра-говорунья.

— Знаете, молодой человек, — начала она. — Здесь внизу, у трамвайной остановки, тумба с киноафишей. Так я подумала, и подыскала для вас фильм без войны. В «Спартаке», на повторном просмотре, идёт картина... шестидесятых годов... «Женщины» называется...

— Слышал от родителей.

— И песня там душевная. Любовь — кольцо. А у кольца начала нет и нет конца. Пойдём?

— Я бы предпочёл «Танцы на перевернутой пирамиде».

— Заграничный?

— Наш. Но с элементами заграничной жизни.

— Тарковского?

— Нашей жизни дурацкой.

— А режиссёр кто? Михалков-Кончаловский?

— Не поняли?

— Нет...

— Наш фильм! Жизни нашей дурацкой! Она, жизнь наша дурацкая, и есть самый гениальный режиссёр. Она! Жизнь! А мы... Что наша жизнь, девушка? Театр! И люди в нем актёры...

— Красиво сказано...

— Шекспир...

— Я думала — вы...

— Мой фильм — не «Гамлет» Козинцева. Мой — «Танцы на перевернутой пирамиде». Он ещё в производстве — на экраны не вышел...

— Когда?

— Когда выйдет, тогда сразу и приглашу в кино. На премьеру.

— А пока?

— Пока намерен написать повесть под таким названием. О чём? О том, что испытываю сейчас, о джазе-бумеранге, брате своём, и о том, как легко рассмешить Бога, рассказав ему о своих планах на завтра, допустим, о поездке на Таллинский джазовый фестиваль.

— Тогда до встречи. У кинотеатра.

Медсестра помахала мне на прощание рукой — «до вечера». И потекла воздушной струйкой по коридору.

В эту минуту из кабинета вышел Язеп Мартынович. Кошёлка, бутылочка, копчёности, судя по аромату, — всё при нём. Показал большим оттопыренным пальцем правой руки назад, на приоткрытую за спиной дверь:

— А ты говорил! Принял приношение... Расчувствовался — не то слово! Проходи, вторым будешь. Не обидит теперь.

— Язеп Мартынович, мы не в твоей допотопной милиции. «Не обидит»... «Приношение»...

— Ладно-ладно, чего тут, — старик размазывал бесцветные слезинки костяшкой указательного пальца. — Иди, не обидит...

В медицинском кабинете, в центре канцелярского стола, на мраморной подставке красочно мерцало, подсвеченное игривыми солнечными зайчиками, музыкальное сокровище Язепа Мартыновича. Гордо откинув крышку, без всяческого стеснения, оно исполняло еврейский фрейлехс «Семь сорок».

— Подарок?

Самуил Яковлевич, стоящий у окна, вопросительно повернул ко мне лицо.

— Возврат... по незнанию...

Я вдруг ощутил себя неуютно под его, как мне показалось, неживым взглядом.

— Ну, часы... Язепа Мартыновича, — промямлил я, лишь бы не молчать в сгущающемся колючем холоде.

— Часы?... Ах, часы... Деда моего это часы. Помощника главного врача Первой вселатвийской еврейской олимпиады 1928 года, — медленно, с заметной дрожью в голосе говорил Самуил Яковлевич. — Парад еврейских спортсменов принимал сам Янис Райнис, великий латышский поэт. Он тогда был министром просвещения. Тогда он и подарил деду... и другим... эти часы... с музыкой. Не думал Райнис, что уплывут они в Сибирь, в изгнание, вместе с их владельцами. Но уж о том, что впоследствии вернутся в нашу семью, не помышлял, само собой, и мой дед.

23

У трамвайной остановки я столкнулся с «маленьким Геней». Худой, костистый, согнутый под тяжестью школьного портфеля, он тащился к больнице, с опаской поглядывая по сторонам.

— Помочь? — предложил я, протянул руку за пузатым портфелем с гостинцами и разного сбора подарками — от него и других оркестрантов.

— Я сам себе помогу. Ты уже был у него?

— Всё ещё карантин. Гриппом их, кулаками отмеченных, пугают.

— Ага, карантин. Мало им «нашего» карантина — на работу нигде не принимают, «свой» придумали.

— Что у тебя? — насторожился я.

— Да так... Понимаешь, повстречался я Сэму, дружку Женьки-Шапки. Папаня у него!..

— Помню.

— Так вот... Подруливает ко мне этот Сэм на папаниной иномарке. И через окно: «На суде чтобы у тебя память отшибло! А то мы тебе нос укоротим! Под размер твоей писули... Ха! — захохотал, как трахнутый пыльным мешком. — На людях не покажешься».

— Красивая роль.

— Со словами!.. «Ничего не знаю, ничего не помню, джазом ум затмило, отпустите меня в туалет, граждане судьи, — пописать со страху».

— Тянет на Оскара.

— Со словами?

— Без слов.

— Без слов им не надо. Им — Женьке, Сэму, Кере... Им всем надо со словами: «Не знаю, не помню, отпустите меня в туалет, граждане судьи, — пописать со страху». Это им надо.

— Не гоношись, Гена. Люди вокруг. Лучше скажи, что решил?

— Какие будут предложения?

Какие? Так ведь не секундант я, и не за рингом. А ринг о пяти углах, гонг спит, перчатки вне всяких унций, со свинчаткой, поди. И побеждает не мастерство, не сила воли... Побеждает сволота.

Что сказать Гене?

Не мне говорить. Ему. На суде.

А кто я такой, чтобы рисковать чужой жизнью, советы ей, жизни чужой, подавать?

Гена облизнул губы.

— Знаешь, — сказал, охрипнув от решимости. — Знаешь, я скажу всю правду. Что мне их угрозы? Что суд? Не хочу, чтобы мне потом стыдно было. Что их суд?.. Суд всегда — потом...

24

Женька поторапливал Сэма, порывисто прихватывал его за локоть, дёргал.

— Быстрее не можешь? Что ты тащишься, как кляча, мудака? Не на эшафот прёмся.

Они шли к паркингу. Там, со вчерашнего дня дожидался Сэм отцовский «Ситроен», красного цвета, с «проходным» для гаишников номером. Сэм специально оставил тачку на платной стоянке: опасался — вломится Женька к нему домой с идеей «слинять», и не отмажешься.

Вот и «слиный» теперь в цвете лица, со здорового на блёклый, раз время не слинял.

Женька заявился. Вывози, говорит, пацан. На твоей машине под папаниным номером «человек проходит как хозяин необъятной Родины своей». На самолёте? Покажи паспорт, иначе человек не звучит гордо. На поезде? По всем детективам, в купе, на мягком, и цапают мудаков. Ничего лучше твоего лимузина и не придумаешь. За его затемнёнными стеклами, как у господина за пазухой.

Был Сэм у Женьки на крючке, с давней поры, когда охотились за шапками. Не продал, весь «пыжик» взял на себя. Мол, без соучастников, сам, по собственной малолетней глупости. Пришла пора — плати, балда! Старый должок — сучий должок, но не покроешь — забудь об уважении и считай себя мелюзгой, этакой рыбной мелочью, брошенной в уху разве что для приварка.

Рыбаку думать так — что брюхо себе испарывать. А там — не икра, не молоки — донный песок, тяжёлый, как изболевшаяся совесть. Не повезёшь дружбана по назначению — подлянкой отношения запятнаешь. Повезёшь... поймают... всё равно труба отношениям... и от предков нагоняй...

Сэм и не заметил, что вновь замедлил шаг.

— Жень, а Жень?

— Ну?

— Давай сварганим по-другому.

— У меня не бывает по-другому! Всё будет по-моему! — ответил Женька. Зябко повёл плечами, поправил узелочек галстука и веско, будто нож в кармане, где и фиги отныне, по личным его соображениям, нет: — Дуй на проходную, к старику-охраннику. Как его?

— Дядя Никита...

— Дуй к нему, оформляй документы, и сваливаем.

— Ладно... чего там! — Сэм махнул рукой.

— Иди-иди, не топчись здесь. И чтобы машина мне — как у дворянского гнезда — в айн момент.

Вздохнув, Сэм тоже поправил узелочек галстука. Резким движением шеи выхватил кадык из зажима. Получилось броско, с некоторой даже гордостью. Ни дать, ни взять, по-киношному. Ален Делон — да и только!

Но Женьке, судя по всему, до лампочки его преображение.

Он наблюдал не за ним.

Он видел будку.

Видел окошко.

В окошке сторожа.

А ещё он видел двустволку... двустволку сторожа, прислонённую к стеклу — напоказ...

25

Будка дяди Никиты, выкрашенная в защитный цвет, торчала среди разноцветных автомобилей, словно праздник, который вечно не с нами. Не доставало пограничного столба и шлагбаума, чтобы разъяснить каждому, где проложена граница между обычной жизнью и нашими представлениями о ней.

И вдруг — Женька.

Я увидел его — и нам уже не разойтись.

Это понял я.

Это понял он.

И ещё мы поняли — оба! — разом: драка скостит ему срок.

Драка?

Удар чемпиона по боксу умелые крючокотворы из прокуратуры приравнивают к удару ножом.

За удар ножом — срок.

Убежать бы!

Но куда бежать чемпиону?

Чемпиону по боксу бежать непривычно.

Никак ему, как ни хоти, не повернуться спиной к противнику.

В ринге — лицом к лицу.

В жизни — лицом к лицу.

А за рингом, как и за жизнью... там свои определения чести и совести.

Три раунда даются боксеру...

Жизнь, равная содержанием трём раундам, даётся человеку искусства...

Кто вмещает жизнь в три раунда или три раунда вмещает в жизнь, тот побеждает.

Однако жизнь, если разобраться, отвергает пьедесталы почёта.

Смерть привлекает пьедесталы почёта — если разобраться со смертью.

Я стоял не на пьедестале почёта.

Стоял на земле, у будки дяди Никиты.

И земля пружинила подо мной, как тент ринга.

— Хулиганье! — заорал вдруг дядя Никита, высунув в окошко «тулку». — Завели моду — драться на улицах. Я вам!..

Старенький дядя Никита.

Старенькое ружьишко.

Но дробь в нём — новенькая, увесистая и шальная, отлитая на волка.

Женька отвалил в бледный цвет на скулах...

Наверное, и я...

Так мы и стояли, один против другого. А мимо — «Ситроен». Скрипнув тормозами, он обмахнул красным сполохом свободное ещё от полиции пространство.

Я с опозданием признал водителя. Сэм. Выходит, бросил дружбана на произвол судьбы. Укатил-умчался...

«Если завтра — война, если завтра — в поход?» — вспыхнуло во мне песней, обманутой сорок первым годом.

А из давнего прошлого смотрели на нас зрачки допотопного дробовика, умеющие укладывать навзничь и в ходе боя местного значения...

— Стой! — кричал дядя Никита. — Шаг вперёд, шаг назад, считается за нападение. Огонь открываю без предупреждения. Прошу верить мне на слово, иначе ваша оплошка обернётся полной и окончательной потерей жизни!

«Смертью ли смерть поправить?»

Мне представилось, что это мы подумали одновременно — все вместе.

Но не поправить. Мне ли? Женьке? Дяде Никите?

Да и смерти на самом деле нет...

Пока мы живы — смерть не с нами...

26

Процедурный кабинет. Каталка. Капельница. Металлические агрегаты с экранами. Лечись хоть до конца жизни.

Самуил Яковлевич угнездил Бора на кожаном кресле с подлокотниками и поднимающейся на шарнирах подножкой.

— Ну, парень, не забыл ещё значение своего имени?

— Вы о колодце?

— О колодце, Бор, о колодце. Но о колодце с живой водой.

— Не расплещите тогда, если живая...

— Не расплещем, — сказал доктор, проверяя кожаные ремни, скрещённые на груди пациента. — А ты держись крепче. Мы повертим тебя, как космонавта. Хочешь быть космонавтом?

— Я музыкантом хочу быть...

Нажата невидимая кнопка. Противно завизжал двигатель, набирая обороты. Бора повело, ещё и ещё... Голова упала на плечо. Туманом обволокло глаза. Через несколько секунд прояснилось: паркет летел под ногами, превращаясь в жёлтый круг, яркости необычайной, слепящий, как полуденное солнце.

Полуденное солнце выстреливало протуберанцами, обжигало и плавило мысли.

И вдруг — тишина.

Почти теряя сознание от перегрузки, Бор догадался: мотор заглох.

«Почему?»

— Иди! — ударил голос Самуила Яковлевича.

Солнце по-прежнему бесновалось внизу.

«Идти по солнцу?»

— Иди! Не думай ни о чём. Встань и иди!

Бор отпустил прикипевшие к пальцам подлокотники, ступил на жаркий диск солнца.

— Иди!

Шагнул, растопырив для устойчивости руки.

— Иди!

Медленно, точно вытягивая ногу из трясины, шагнул ещё раз.
— Иди!
Под ним была вёрткая, ускользающая поверхность пола.
Но он должен был идти.
Идти по ней, невозможной.
Идти...
Идти...
Прямо...

Арктический поединок

1

Тихое урчание двигателя, подрагивание переборок, плеск волн. Я ещё не поднялся с койки. Сонливое состояние не отпускает. Хочется ещё разок потянуться, зевнуть раз-другой. Но стук в дверь, и вылезай из-под одеяла.

— Кто там?

— Вестовой. Разрешите войти?

— Входите, не заперто.

В каюту вошёл парень приблизительно моего роста, но шире в плечах и корпусе.

— Вам пакет.

— От кого? — недоумённо спросил я.

— Командование распорядилось.

— По какому случаю?

— В Североморске нас догнала почта. А там журнал с вашей статьёй.

— Какой журнал?

— Московский. «Вымпел». Три штуки. Вот Яков Иванович и распорядился. Один в кают-компанию, один в судовую библиотеку и один вам — лично в руки.

— Расписаться? — насмешливо поинтересовался я.

— Расписки не требуется. У нас всё на полном доверии.

— Тогда гуляйте!

Вестовой — по выправке чувствовалось, что он недавно из армии — козырнул мне двумя пальцами. Но не покинул каюту.

— Разрешите вопрос.

— Спрашивайте.

— Я слышал, вы набираете команду боксёров. Для поединка со сборной Амдермы.

— А вы — что? Боксировали?

— Первый полусредний вес. Третий призёр первенства города Балтийска.

— Когда?

— Год назад, когда служил там на флоте.

— Земеля, значит...



— То есть?

— Калининградская область. Вы в Балтийске. Я в Калининграде. Между нами даже матчевые встречи проходили. Пилотки против бескозырок. Но что-то вас не припомню.

— Оpozдал родиться.

— Что?

— Просто позже призывался. А вообще я приметный.

— Поспарринговать не хотите?

— Это можно. У меня и перчатки имеются.

— А где? — я оглядел каюту, поморщился.

— Здесь тесно, — согласно кивнул матрос. — Но я слышал, что вы вызвались на мойку танка, то есть трюма. Там можно и побоксировать.

2

Журналиста кормят ноги. Это присловье кочует со мной по жизни. Куда я, туда и оно.

Рига — Таллин — Мурманск...

Казалось бы, здесь, в Карском море 1970 года, когда вместо тебя по воде «сходит» судно, можно ноги побережь. Но — отнюдь. И здесь тебе надо обегать всё, обойти от киля до клотика, чтобы не называться, а быть «морским журналистом». Вот и вызвался я на мойку танка — трюмной цистерны. Но не предполагал, что ждёт меня погружение по предательски скользкой металлической лестнице-стремянке, приклепанной с внутренней стороны борта, на глубину ого-го какую — дна не увидишь. Однако вызвался — иди. И пошёл. Сначала по палубе к люку, затем, под напутствие боцмана Распашкина, под люк, и со всей осторожностью в тартарары: с перекладки на перекладину.

Вниз не гляжу, чтобы не подхватить головокружение и не сверзиться прямиком на дно. Гляжу на небо, солнышком привечаемое. А оно всё удаляется и удаляется, как при погружении под воду. И мало-помалу превращается в своеобразный лунный диск голубого отлива. А в центре... В центре этого диска другой диск, ниже него ещё один, в два раза меньше в диаметре. И переливаются — гады! — перламутровым огнём, будто подрядились путь освещать в потайное чрево танкера. Что за наваждение? Опять летающие тарелки? Не могли бы для прогулок, твари эти небесные, подальше выбрать закоулок? А то ведь мозгов не хватит на разборки с ними. Плунуть бы, и с глаз долой. Но не доплунешь, и глаза опустить боязно.

— Видели? — подбежал ко мне с вопросом и ведром, полным ветоши, Костя Бровиков, когда я ступил... чуть не сказал — «на землю». Нет, не «на землю», на дно, или днище, если искать более правильный эквивалент. Богат русский язык, но и ему подчас не справиться с наворотами смыслов.

— Что? — воззрился я на матроса с недоумением.

— Летающие тарелки!

— Костя, я смотрел себе под ноги, чтобы не сверзиться с верхотуры. Какие тарелки?

— В лючине, прямо над головой торчали.

— Ну, ты даешь, шустряк! — я машинально перешел на «ты», как это обычно бывает, когда разговариваешь с младшим по возрасту. — Прямо как в песне из кинофильма «Небесный тихоход» — с Крючковым и Меркурьевым. «Нам сверху видно всё, ты так и знай!»

Костя тоже автоматически переключился на доверительное «ты».

— Им, поверь мне, там всё видно. Присматривают за нами.

— За мной следить нечего, Костя. Даже с неба. Я чист перед судьбой и законом.

— Не нашими письменами их законы пишутся.

— Откуда наворотил?

— Поговаривают... В Амдерме, говорят, табличка с неба упала. А на ней не нашими письменами что-то вытравлено. И в обратную сторону — справа налево.

— Читают?

— Пробуют.

— Слава Богу, мне хватает и русского правописания.

Я помнил наставления штурмана Стасика Карасика. И знал: на судне негласный запрет на упоминание об НЛЮ. Видел — не видел, это остаётся с тобой навечно и не доходит до чужого уха.

— Костя, а где перчатки?

— Тут! — парень потряс ведром, которое держал в руке, и вытащил из-под ветоши две пары «кожаных рукавиц». — Десятиунциевые, для первых весовых категорий.

Я помял перчатку в руке. Чувствовалось, что она была уже «разбитой». Лупили ею, видать, по переборкам, так как тренировочного мешка на танкере не наблюдалось.

— Разоვნемся? — предложил я.

— Шнуруй!

Костя сделал шаг назад, натянул перчатки. По его примеру я запихал шнуровку вовнутрь, постучал «рукавичками» друг о друга. Сверху за нами, находящимися в поле светового круга, наблюдал боцман Андрей Распашкин.

— Эй, авральщики! — крикнул он, просунув вихрастую голову в люк. — Время засекать?

— Включай хронометр! — откликнулся я, и двинулся в бой.

Левой-левой, уклон. Скользящим шагом в сторону. Нырок, ещё нырок. Так и есть! Коренастый Костя, ростом ненамного выше меня, бедра по ширине вровень с разворотом плеч, бомбил кулаками размашисто, оставляя неприкрытым живот и, главное, челюсть. При умелой «разборке» справиться с ним несложно. Пару обманных финтов, нырок под левую руку — и боковым ударом по скуле. Дальше работа для рефери на ринге — считать секунды: «раз, два, три, четыре». Но мелькнувшее в мозгах «распознавание» я держал при себе. Ведь нужно было «не пробить» противника, а проверить его на пригодность выхода на состязание. По сути, для встречи с амдермовцами Костя годился. Не слабак, дышалка в норме, отваги тоже не занимать.

— Гонг! — послышалось сверху. — Конец первому раунду.

Костя задрал голову.

— Андрей! Какой счёт даёшь?

— Товарищеская ничья.

— Ничья — для кого равна и победе! Он же мастер спорта!

— А ты мастер швартовки! — засмеялся боцман Распашкин. — Займитесь делом.

— Да, — вспомнил я, зачем пожаловал сюда. — Давай поработаем, а то напросился и дурака валяю.

Мы прошли в дальний конец пустой подпалубной цистерны. По краю узким ручейком текла маслянистого оттенка вода. Её предстояло собрать в ведро и насухо протереть ветошью дно.

Закончив работу, мы с Костей задумались: а не провести ли нам второй раунд?

— Как ты? Готов?

— Всегда готов!

— Да... ты боевой парень!
— В подплаве служил!

3

— Амдерма! Амдерма!

Вот и выплыла ты, Амдерма, из-за горизонта. В переводе с ненецкого — это «лежбище моржей». По преданию, некогда охотник-ненец, плывший на лодке по Карскому морю, увидел здесь многочисленную залёжку ластоногих. И поражённый, воскликнул «Амдерма!». Так и родилось название посёлка, ныне города. Но думать о преданиях мне было недосуг. Почему? Да по той простой причине, что на причале меня встречала Галка! Моя девушка, с которой я распростился в Риге перед арктическим рейсом на целый месяц.

Вот так встреча!

Полторы недели не прошло, и она тут как тут! В своей серой куртке с капюшоном и на молнии, купленной для неё мной в Ленинграде, когда ездил с ребятами из пароходства туда на экскурсию — «Аврору» посмотреть, в «Эрмитаж» сходить. Действительно, запоёшь: «Моряк вразвалочку сошёл на берег, как будто он открыл семьсот Америк». Но какие песни? Какие Америки? Добраться бы скорей до арктической суши да прыгнуть с носа буксира прямо в объятия «ненаглядной плясуньи моей».

— Галка! Ты? — в прыжке я и явился перед ней.

— Я!

И предстал я на береговом гравии, чисто дядька Черномор, вышедший из моря. Не совсем, конечно, Черномор. Но и такой, без меча и шлема, сгожусь. Да и сопровождение... Что за чудный подарок для её заполярных подруг! Пусть и не тридцать три богатыря, но каждый — десяти стоит. Это — маэстро Ливик Генделист, штурман Стасик Карасик, боцман Андрей Распашкин, матрос Костя Бровиков. Посмотри на них, Галка, оцени. Но не обращай внимания на изумление в их глазах, которого хватит на всех тридцати трёх молодцев из царства Нептуна. В изумлении сокрыта, пойми и проникнись, зависть непритворная — зависть в мой адрес: «это надо же, не успел пришвартоваться, а уже обеспечил себе якорную стоянку на всю ночь».

— Галка! — Я обнял девушку, чмокнул в щёку. — Как ты тут оказалась?

— Приехала.

— Понимаю, что приехала. Но почему мне не сказала?

— А как тебе скажешь, когда ты уже отчалил? — девушка схватила меня за пуговицу пальто, чтобы, полагаю, не отчаливал я больше в чужие края. — Да и некогда было, точняк! Телеграмму получила, что сестра родила, и махнула.

— Семимесячный?

— Семимесячный.

— Преждевременный?

— Преждевременный!

— Негаданный.

— Гаданный и законный.

— Как назвали?

— Помнишь, я обещала: родится мальчик, назовём твоим именем.

— Так и назвали?

— Так и назвали. Сашей.

— Как?

У меня, говоря языком романистов, потемнело в глазах, а в сознании, наоборот, прояснилось: надежды, что юношей питают в отношении сексуальной разрядки, оказались полным блефом. Ни застеленной постели, ни взбитой подушки, да и Галка моя на поверку выявилась вовсе не моей — Сашиней, здрасте!

— Саша, — обратилась ко мне Галка, держа меня за пуговицу пальто, чтобы, должно быть, не сбежал. — Я сестре обещала...

— Что?

— Познакомить с тобой. Должна же она знать, в честь кого сыночка нарекли.

— А папа у сыночка есть?

— Папа в плавании. Поэтому я и ухнула сюда. Прямиком из Питера.

— Из Питера? — замаялся я.

— Точняк, а что ты? Можно подумать, с Марса свалился...

— Я из Риги, Галка!

Моё разочарование передалось и спутникам моим, цоканье языком прекратилось, зависть в глазах потухла.

И послышалось со стороны.

— Ты уже скоро, герой-любовник? (Это Ливик Генделист подаёт ехидные позывные.)

— Не забывай, тут с началом навигации всю водку прячут под замок. (Это боцман Андрей Распашкин.)

А это кто ему в ответ? Ах, да! Галка это, Галка. Та, что Сашина — не моя.

— Не беспокойтесь за водку, до завтра не запрячут!

Мой поцелуй всё ещё щекотал её щёчку. И под влиянием его, либо по иной причине, она не отпускала пуговицу моего пальто, машинально крутила её туда-сюда, вот-вот оторвёт. И что бы вы думали? Оторвала.

— Ой! — сказала испуганно. — Пришить надо! А то так неудобно ходить по улицам, правда? — и просительно посмотрела на меня.

— Правда, — ответил я, не постигая, как совладать с женской хитростью.

Но моим спутникам было плевать на женскую хитрость. Им своя дорога. А своя — это поспей в продмаг до закрытия, обломи в ближайшей столовке алюминиевую «бескозырку» на полулитре «Московской», выплесни из стакана кисель и налей «под козырёк» сороковочки. Почему в стакан из-под киселя? Потому, что затенена водочка будет свекольным оттенком, и никто не приметит под ним истинного цвета напитка.

— Навигация! — торопят меня моряки.

— Не переживайте сверх головы! — вразумляла их Галка. — Навигация — точняк! — начинается только завтра. Так по всем документам записано. По этому случаю и праздник даём.

— Праздник?

— А как же! С украшением. На украшение — боксёрский матч: Амдерма против танкера «Юрмала».

— Мы с «Юрмалы», — сказал я.

— Вас и встречаю!

— Тогда разрешите представиться. Капитан сборной «Юрмалы» и ваш несостоявшийся Саша — в одной упаковке. А вы, извините, кто, если не секрет?

— Я Галка Привалова. Тут, — показала под ноги, — сестру заменяю. Пока она в декрете, я вместо неё — в спорткомитете «Водник». Точняк! Мне вас встречать и устраивать.

— Оки-доки, но сначала в магазин! — протиснулся к девушке Ливик Генделист. — Потом в забегаловку: выпить-закусить.

— А потренироваться?

— Мы тренированы, — не растерялся Ливик, показал кулак: — Ну, красавица, vedi... Навигация у них, вишь, завтра начинается. А раскупать уже сегодня приступят.

— Не успеем, — согласились мои спутники. — Увольнительная до вечера. А нам ещё отрезветь предстоит.

— Но как же пуговица? Её ведь пришить надо. — девушка сделала вид, что растерялась, но пуговицу, будто невзначай, положила в карман своей куртки.

Теперь — и это разом поняли все — я был к ней пришит. Понятно, не к Галке, а к пуговице. Но пуговица была всё же в её кармане.

4

Передо мной давний, потёртый блокнот, с выцветшими от времени записями — комментариями к боям, проведённым в Амдерме. Листаешь его, и в памяти оживает всё, до последней мелочи.

Мы были трезвыми. Это могло считаться единственным достоинством нашей сборной...

Правда, стоит добавить: у нашей сборной имелось про запас ещё одно выигрышное качество — она располагала собственным корреспондентом, способным расписать театральное действо на ринге в удобоваримом виде.

Комар носа не подточит, а уж тем более не унюхает, чем разило тогда от команды «Юрмалы» с похмелья, когда она вступала в свой арктический бой. Пришлось — по рецепту Ливика Генделиста — напихать в рот раскрошенного репчатого лука вперемешку с чесноком и жевать, жевать.

Двигая безостановочно челюстями, мы вышли на парад-алле, пожали дружески протянутые нам руки, которые через четверть часа превратились в убойные кулаки, раздали выпелы с кипенью бело-голубых волн под изображением латвийского герба, взамен получили выпелы с лобастой физией белого медведя на фоне ледяных торосов, и разошлись по своим углам.

Историческая схватка двух морских гигантов начиналась. Балтийское море пошло на приступ Карского.

— Искры из глаз, и в каждом кулаке по нокауту!

— Оки-доки!

С моим напутствием, застрявшим в ушах, Ливик ринулся в бой.

Чего скрывать? Особых надежд я не испытывал, выпуская кудесника ложки-поварёшки в атаку на «живой кусок мяса». С «мёртвым мясом» он справлялся, и неплохо. Но с живым? Однако на первых секундах я был приятно удивлён. Ливик месил противника, таскал его, уходящего в глухую защиту, по углам. Долго такое надругательство над спортом добропорядочных джентельменов, разумеется, продолжаться не могло. Дыхалки у моего визави было накоплено в судовой курилке не больше чем на один раунд. И это выявилось уже на пятой минуте. А в перерыве между раундами выявилось и другое: чем Ливик загнал в глухую защиту своего клиента. Оказывается, этот мастер разговорного жанра, вручая ему перед матчем вымпел, успел шепнуть, что он де чемпион Прибалтийских стран, включая Швецию, Финляндию. Вот амдермский «мухач» и струхнул. А когда разобрался, Ливику пришлось пожалеть о неумном хвастовстве.

Счёт 1:0 в пользу Амдермы.

Тяжело пришлось и Косте Бровикову. Второразрядник. Это как клеймо. Никакой атлетической подготовкой его не вытравишь, и уступишь победу, если придётся работать против кандидата в мастера. Так и получилось.

Счет 2:0 в пользу Амдермы.

Положение критическое. Первому отыгрываться предстоит Эриху Эриксону, шведу русского происхождения. Для своих противников он очень неудобен — левша, причём, обладающий специфической манерой поведения на ринге. К нему сложно приспособиться. Его надо уметь «передумать». Но если это не получается, тогда будешь пропускать неожиданные удары. Что и произошло с Олегом Лапиным, солдатом из местной воинской части. Один нокдаун в первом раунде, второй — во втором, и проигрыш «техническим нокаутом».

Итак, результат 2:1. Но, к сожалению, не в нашу пользу.

На ринг поднимаются тяжеловесы. Третий помощник капитана Стас Карасик и сын Карского моря — смотритель маяка — Игорь Створ. С первой же секунды Игорь ринулся в атаку. Его мощные кулаки месили воздух, создавая непреодолимую преграду для соперника. На первый взгляд казалось, что штурман «Юрмалы» как-то сник, запертый в углу, и не способен найти ни одного достойного контрдовода, чтобы перехватить инициативу. Но тут с трибун, в знак поддержки, раздалось: «Ста-сик! Ка-ра-сик». И мне вспомнилось, именно под этот зычный зов в Стасе пробуждается неодолимая сила, и он, сокрушая всё на своем пути, идёт к победе. Так и получилось. Стас ринулся вперед и в считанные минуты «раздавил» своего соперника, не оставив ему ни одного шанса на выигрыш.

Счет 2:2. Боевая ничья? Нет, последнее слово еще не сказано. И про-

изнести его предстоит мне. Являясь «играющим тренером» команды, я секундировал нашим боксерам, и теперь, закончив со своими «заканатными» советами, шнурую перчатки и сам выхожу на серый квадрат. Судья-информатор заводит рекламную, привлекательную для болельщиков речь: «Финальная встреча нашего турнира, проводимого в честь открытия навигации. Сейчас раздастся удар гонга, и мы в ходе решающей схватки нашего турнира воочию увидим — чье море, Балтийское или Карское, позволено будет отныне величать: «студёной матерью бокса».

Боксёрская реальность такова: или ты бьёшь, или бьют тебя. Механика известная. Но в ней потаённо скрывается маленькая пружинка, обнаруженная теоретиками и практиками профессионального бокса в 1937 году во время матча-реванша: Джо Луис — Макс Шмерлинг, когда чёрный бомбардир в присутствии 70000 зрителей в самом начале первого раунда поверг «надежду третьего рейха» в тяжёлый нокдаун, а затем и нокаутировал. Этот исторический бой, после которого Джо Луис правил на троне чемпиона мира еще 12 лет до 1949 года, длился всего две минуты и четыре секунды. В чём же его секрет? А в том, что на первых секундах, пока мышцы ещё не эластичны, надо нанести противнику разящий удар, после которого, побывав в нокдауне, он не оправится в течение всей схватки. Учёными установлено, что пока боксёр не разогреется до определённых кондиций в ходе поединка, он чрезвычайно болезненно воспринимает точные попадания в «убойные точки» и не способен быстро восстановиться.

Но мало обладать этими секретными сведениями, нужно ими и пользоваться качественно.

Гонг!

Я делаю исходные четыре шага по диагонали серого брезента: левой, правой, левой... Шаг четвёртый. Но не вперед, а в сторону, вбок от выкинутой «на разведку» левой руки противника. И справа кроссом, через эту его левую руку, точно по челюсти.

— Стоп! — кричит рефери на ринге. И открывает счёт: «один, два, три...».

Я отхожу в нейтральный угол. Смотрю в плавающие зрачки сбитого мной на брезентовый пол мужика, слежу за размеренным движением судейской руки, отмеряющей секунды, и думаю: у меня с дыхалкой тоже дело дрань, мне нельзя затягивать.

— Бокс!

Пропускаю над собой «вражью» перчатку и, пригнувшись, наворачиваю справа по солнечному сплетению, добавляю, на выходе, левым боковым по голове, и завершаю серию коронкой своей — кроссом по челюсти — через руку противника.

— Стоп!

Нокаут...

Я не дал сопернику даже разогреться, воспользовавшись практическими рекомендациями короля чемпионов Джо Луиса.

Счет 3:2. В нашу пользу. Моряки «Юрмалы» отстояли честь Балтики.

Тогда, в 1970-м, простившись в общем-то с боксом за несколько лет

до этого, я и не полагал, что в 1978 году, перед отъездом в Израиль, снова выйду на ринг. Сгоню 19 килограммов, с 70 до 51, и верну себе звание чемпиона Латвии. А потом стану и израильским чемпионом, готовящимся к поездке на Московскую Олимпиаду 1980 года. Но так вышло, что западные страны отказались от участия в той Олимпиаде, и я вновь, теперь уже на 18 лет, позабыл о боксе. Вспомнить о нём мне «удалось» в 1998 году, когда исполнилось 53. Опять я скинул вес, с 70 до 54 килограмм, и пошел в бой.

С тех пор и воюю...

Теперь уже в качестве многократного чемпиона Иерусалима, где и отмечаю свое пятидесятилетие на ринге...



ПОЭТИЧЕСКИЙ НЕВОД «ГЛАГОЛА»



© Художник Елена Любович

Эту рубрику мы, по спонтанно сложившейся традиции, обычно заполняем наиболее интересными авторами, подхваченными нашим «Неводом» на одном удивительном ежегодном поэтическом конкурсе, о котором, равно как и о его замечательном организаторе, рижском поэте и журналисте Евгении Орлове, сегодня, вразрез традиции, расскажет одна из участниц и судей конкурса, Петра Калугина.

Петра Калугина
(Россия, Москва)

Родилась в Норильске, по образованию филолог, живёт в Москве. Автор трёх стихотворных сборников: «Твой город» (2004), «Круги на полях» (2012) и «Изобретение радуги» (2016), а также ряда литературных публикаций в журналах «Нева», «Новая Юность», «Октябрь», «Ното Legens», «Русский переплёт», «Подлинник», «Арион», «Знамя». Победитель конкурса поэзии «Кубок Мира-2016», бронзовый призёр «Чемпионата Балтии-2018».

Портал живых стихов

Прежде чем приступить к рассказу о двух конкурсах — Балтийском «Чемпионате» и Мировом «Кубке», о сайте «Stihi.lv» и о людях, которые за всем этим стоят, позвольте высказать такую мысль...

Не всякий сайт с размещёнными на нём стихами можно назвать поэтической площадкой, и не всякую площадку — порталом. Портал — это ведь не просто современный интернет-термин, есть у этого слова изначальное, основное значение: «главные ворота». А уж за ними — находится дорога в неизвестное, таинственное, и даже вполне возможно — в какое-то иное для всех нас измерение...

В этом смысле портал «Stihi.lv» — самый что ни на есть портал. Настоящий. (Кстати, вы заметили, как замечательно и уместно смотрится здесь это «lv», считываемое взглядом почти как «live», стихи.лив, живые стихи? Лично я долгое время была уверена, что так оно и есть, что это — оригинальная задумка Евгения Орлова, а вовсе не домен, принадлежащий Латвии).

Дважды в год, 1 сентября и 21 марта, портал открывается — и сотни авторов устремляются туда со своими подборками (Чемпионат Балтии) и отдельными, но обязательно — новыми, не публиковавшимися даже в Интернете — стихами (Кубок Мира). И начинается какой-то совершенно особенный процесс: вроде конкурс и конкурс, но со своим неповторимым «воздухом», с уникальным энергетическим наполнением, рассказать о котором, конечно, можно, слова найдутся, но гораздо лучше — показать, просто привести туда автора за руку, словно в строгий, корабельно-сосновый, пронизанный солнцем балтийский лес.

Да, пожалуй, на уровне ощущений это портал-лес: светлый, просторный, праздничный, преисполненный голосов, открытый всем веяниям современности и очень гостеприимный. Пришедшего туда в первый раз обязательно заметят. Упомянут в обзоре. Поздравят с дебютом. Прокомментируют. А может быть, и сам Доктор — старожил сайта, регулярно пишущий заметки читатель-виртуоз, скромно именующий себя любителем, — выделит стихи новичка из потока и разберёт их в отдельном эссе. (Похвалит или разнесёт в пух и прах — тут уж остаётся только гадать.)

Постоянные авторы сайта тоже не обойдены вниманием: электронные версии их новых книг размещаются в рубрике «Живая лента», журнальные публикации их стихов не остаются незамеченными зорким и радужным, любящим делать людям приятное Евгением Орловым; ролики с записью выступлений — пожалуйста, вот и они! Одним словом, жизнь бьёт ключом. Даже в межсезонье, во время пауз между поэтическими ристалищами, на портале что-то да происходит.

Но, конечно, самая «движуха» начинается именно с открытием конкурсов. Здесь, кстати, самое время спросить у Евгения: почему так? Откуда эти названия, почему весной — Балтия, осенью — целый Мир? Как возникла эта идея и в чём её суть?

Евгений Орлов: *Начнём с того, что сама идея такого поэтического конкурса, построенного на спортивной основе, основе отборочных туров, поединков по системе плей-офф, принадлежит не нам. Впервые я с ней столкнулся, когда сам принял участие в Первом открытом Чемпионате России по литературе, в разделе поэзии, где по странному стечению обстоятельств мне удалось победить. Тогда мне показалось, что сама эта форма конкурса довольно зрелищна: поединки, обсуждения подборок, участвующих в спарринг-соревнованиях, выход в следующий тур, потом встреча с подборкой другого поэта, а потом финал, выяснение победителя...*

Что меня не устраивало во многих других литературных конкурсах — это отсутствие у участников и читателей-«болельщиков» представления о том, как это всё происходит, невозможность наблюдать за процессом в реальном времени. Большинство конкурсов не публиковали конкурсных работ, поэтому у них не было зрительской — читательской — аудитории. Было совершенно непонятно: а как, а кто? А что? Всё делалось «под сукном», не было возможности узнать, какой член жюри за кого голосует, между кем и кем была обострённая борьба, а кто шёл со своим соперником «ноздря в ноздю», на равных. В итоге просто объявлялся победитель, и этим всё и заканчивалось.

Вот такие конкурсы мне не нравятся. Я понимаю, зачем они проводятся, но они не дают литератору — читателя. Для того, чтобы появился читатель, необходим элемент шоу.

Возможно ли такое шоу в Интернете? Мне показалось, что да.

Сама форма поэтических дуэлей и «поединков на вылет» даёт возможность привлекать читательское внимание. «Болеть за...» и «болеть против...».

Поэтому у нас всё публикуется — на страницах портала: и сами конкурсные произведения, и реакция на них посетителей (то есть — читателей), и мнения литературных критиков и обозревателей, и то, каким образом оценили конкурсный контент члены нашего большого жюри...

Такое шоу, помимо того что привлечет внимание к конкурсу, ещё и самому поэту даст некие ориентиры, позволит понять очень многое о себе, получить бесценную информацию о написанном из самых разных источников...

Что ещё меня не устраивало в других конкурсах, так это неограниченные временные рамки написания произведений. На большинстве из них разрешается из года в год присылать одну и ту же подборку, «приносить хоть всю наволочку, набитую когда-то написанными стихами» (помните Велимира Хлебникова?), о которых уже многократно всё слышал и от друзей, и от знакомых, и от литературных редакторов...

Меня же интересовало нечто принципиально другое: конкурс, как творческая лаборатория, как способ продолжения творческого процесса работы над новыми для себя формами и новыми стихами. Конкурс, который демонстрировал бы всем присутствующим на портале — что происходит «здесь и сейчас» в русском всемирном поэтическом сообществе.

Кроме того, участие в таком конкурсе, где обсуждаются **совершенно новые, не индексируемые поисковыми системами стихи, позволяет проводить его в абсолютно анонимном режиме, когда имя уже известного читательской аудитории автора никаким образом не может повлиять на оценку самого произведения...**

Петра Калугина: Каждый из двух конкурсов, проводимых на латвийском портале русской поэзии, по-своему уникален. Но Чемпионат Балтии уникален в наивысшей степени и в прямом смысле слова, то есть не имеет себе аналогов. Это единственный из существующих в сети крупных (международного уровня) поэтических конкурсов, формат которого даёт возможность «именам» сойтись в честном поединке со стихами «без имён», так как с недавнего времени каждый автор имеет право участвовать в двух ипостасях — с открытым забралом и с закрытым: обе его подборки — именная и анонимная — могут выйти в финал и даже, по воле жребия, противостоять друг другу!

Этот формат, помимо того что нов и оригинален, ещё и дерзок, авантюрен, в чём-то даже рисков. Особенно для тех поэтов, кого уже можно считать в той или иной мере состоявшимися и известными.

Приходит, допустим, такой поэт на Чемпионат Балтии с двумя подборками, и первую, именную, все дружно хвалят и обласкивают в комментариях, а на анонимную — либо не обращают внимания, либо обрушиваются на неё с беспощадной критикой...

А бывает и так: некая блистательная подборка вырывается далеко вперёд, обрастает восторженными и гадательными комментариями, в которых авторство приписывают той или иной звезде современной по-

эзии («Да это точно N! Я его узнала по пиррихированному ямбу и слишком длинному тире!», «Уверен, что автор — Z. Лошадиная тема — её конёк!»), а потом оказывается, что автор — никому прежде не известный молодой поэт... И вот — молодой поэт становится золотым/серебряным/бронзовым призером Балтии, редакторы литературных журналов (в том числе и толстых) наперебой предлагают ему опубликоваться впервые именно у них, а «Почта России» доставляет ему заветную бандероль из Латвии с фигуркой раскинувшего крылья орла на постаменте, медалью, дипломом победителя и вкуснейшей «лаймовской» шоколадкой.

Евгений: *И всё-таки определение победителей и призёров наших конкурсов — не главная цель портала «Stihi.lv». Ну что в этой победе? Нет, я бы не брался за это дело, если бы всё сводилось к раздаче пряников и поощрению авторского тщеславия. Главное для меня — это сам процесс обсуждения конкурсных стихов, процесс определения лучших конкурсных работ, их всестороннего обсуждения... А всё остальное — не более чем формальный повод этим заниматься.*

Поэтому я очень рад, что подавляющее большинство авторов, приходящих на наш портал в течение семи лет, всё это отлично понимают...

Петра: Кстати, к вопросу о «пряниках»...

Пrestиж стать победителем/ лауреатом Балтии действительно очень и очень велик. Почему это так — легко понять, взглянув на список членов Большого конкурсного Жюри, в которое входят известные поэты, редакторы литературных журналов, литературные критики и культуртрегеры...

На последнем же Чемпионате Балтии 2018 года членов жюри было... 42!

Красиво — и по цифрам, и по уровню.

Евгений: *Состав членов Жюри, наверное, это что-то действительно важное в любом конкурсе, потому что это и престиж самого конкурса, и профессиональная оценка новых (и самых новых) стихов наших участников. Это очень ответственно — устраивать премьеру своих произведений пред очами таких людей!*

Анна Аркатова, Анна Гедымин, Михаил Гофайзен, Борис Григорин, Надя Делаланд, Лариса Йоонас, Бахыт Кенжеев, Галина Климова (зав. отделом поэзии журнала «Дружба народов»), Ольга Ермолаева (зав. отделом поэзии журнала «Знамя»), Евгений Минин (главный редактор журнала «Литературный Иерусалим»), Ирина Цыгальская (главный редактор ежегодника «Рижский альманах»), Юрий Касянич (главный редактор альманаха «Письмена»), Виктор Куллэ, Евгений Лукин (директор Дома писателя в Санкт-Петербурге), Андрей Балабуха (член редколлегии альманаха «Глаголь», основатель Беляевского литературного фестиваля), Дмитрий Мурзин (зав. отделом поэзии журнала «Огни Кузбасса»), Александр Петрушкин, Сева Гуревич, Олег Бабинов, Андрей Пермяков, Сергей Пагын, Сергей Слепухин (главный редактор альманаха «Белый ворон»)... Искренно прошу прощения у тех, кого не назвал, но

это действительно очень сложно — назвать всех замечательных профессионалов «пера и ножниц», тратящих свое время и душевные силы на оценку наших конкурсных стихотворений...

Конечно, большой состав Жюри портала «Stihi.lv» — не самоцель.

Цель — представить в нём «все гипотетические эстетики», которые исповедуют современные литераторы, современные редакторы, современные поэты и, соответственно, шанс быть замеченным, понятным и оценённым есть у каждого конкурсного автора...

Портал издает книжную серию «Книжная полка поэта». Издание книги — это тоже специальный приз портала, при этом его обладателем может стать любой автор, вне зависимости от того, стал ли он призёром или победителем конкурса, или же не стал. На данный момент в серии уже издано 16 книг, две находятся в производстве, а только что состоялась презентация сборника лучших конкурсных стихов (450 страниц, 160 авторов, тираж — 200 экземпляров), который называется «Площадь Мира. Антология». Кроме того, с 2016 года мы стали проводить очные встречи, так называемые «Дни портала Stihi.lv». Они проходили в Риге, Москве и Санкт-Петербурге, а в октябре этого года впервые пройдут в Беларуси (Витебск).

Петра: Еще одна особенность портала «Stihi.lv» — он не пиарит себя. И если материалы о нём появляются в прессе или интернете — то только потому, что интерес к работе латвийского русского «портала живых стихов» проявили сами редакторы литературных изданий и сайтов...

Евгений: Авторы узнают о нас по «сарафанному радио». Мы не даём рекламы (только у себя на Фейсбуке я говорю о ходе конкурсов, веду хронику портала, и это — всё). Почему? Как-то раз у нас на Чемпионате было около шестисот участников, после чего я понял, что нас не интересует эта массовость, для нас важнее всего — уровень авторов и соответственно — уровень конкурсного потока...

Большинство современных поэтов адекватно оценивают свой уровень и, видя состав конкурсного жюри, прекрасно понимают, что им «светит» или что «не светит» (здесь — улыбка). Они понимают, что одно дело — приходить на Фейсбук, или в Livejournal, или ВКонтакте за лайками от своих друзей, и совсем другое — приходить с этими же стихами к нам на «Stihi.lv». Может, иной раз и не стоит — чтобы не огорчать себя, любимого, услышав жестокую критику своих гениальных творений...

ОТРАЖЕНИЯ



© Художник Елена Любович

Татьяна Громова
(Россия, Санкт-Петербург)

Родилась в Ленинграде. Окончила дошкольное педагогическое училище с красным дипломом, затем — факультет дошкольной педагогики и психологии ЛГПИ им. А.И. Герцена.

Работала воспитателем, методистом, психологом в детских садах и Доме ребёнка, техническим редактором в журнале «Медный всадник», газете «Земля русская»; ответственным секретарём в журнале «Невский альманах» и газете «Собственное мнение». В настоящее время — руководитель издательства «АураИнфо». Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Многонационального Союза писателей, ответственный секретарь Совета Беляевского фонда поддержки и развития литературы.

Несколько стихотворных переводов

Heinrich Heine

* * *

Der Brief, den du geschrieben,
er macht mich gar nicht bang;
du willst mich nicht mehr lieben,
aber dein Brief ist lang.

Zwölf Seiten, eng und zierlich!
Ein kleines Manuskript!
Man schreibt nicht so ausführlich,
wenn man den Abschied gibt.

* * *

Die Welt ist dumm,
die Welt ist blind,
Wird täglich abgeschmackter;
Sie spricht von dir,
mein schönes Kind,
Du hast keinen guten Charakter.

Die Welt ist dumm,
die Welt ist blind,
Und dich wird sie immer verkennen;
Sie weiß nicht wie weich
deine Arme sind,
Und wie deine Küsse brennen.

Генрих Гейне

* * *

В письме твоём признание,
Что, мол, любовь прошла
Но не грущу заране —
Не так плохи дела!

...Вязь ровных строчек нежных
На дюжине листов...
Не пишет так прилежно
Тот, кто уйти готов.

* * *

Мир глуп и слеп,
мир слеп и глуп,
Безвкусней час от часу.
На похвалы тебе
он скуп,
От критики нет спасу.

Мир глуп и слеп,
мир слеп и глуп,
Не знает он покуда
Касанья рук,
сближенья губ
И поцелуев чуда.

Перевод с немецкого

The king sought a bride,
 and the nation had hoped
For a queen without rival or peer.
But the little boy shot, and
the king has eloped
With Miss No-one on Nothing a year.
'Hey, Love, you couldn't mean that!
Hi, Love, what would you be at?
What an impudent thing
To make game of a king!'
'But I'M a king also,' cried
Love on the wing.

Little boy Love grew pettish
one day;
'If you keep on complaining,'
he swore,
'I'll pack both my bow
and my quiver away,
And so I shall plague you no more.'
'Hey, Love, you mustn't do that!
Hi, Love, what would you be at?
You may ruin our ease,
You may do what you please,
But we can't do without you,
you dear little tease!'

A parable

The cheese-mites asked how
the cheese got there,
And warmly debated the matter;
The Orthodox said that
it came from the air,
And the Heretics said
from the platter.
They argued it long and
they argued it strong,
And I hear they are arguing now;
But of all the choice spirits
who lived in the cheese,
Not one of them thought of a cow.

Себе в королевы король изберет
Достойную леди, — мечтает народ
Но — шутка Эрота —
 с девицей без рода
Король обвенчался, Эрота в угоду.
Эгей, Купидон!
 Народ возмущен!
Ты долго ль бесчинствовать
 будешь еще?!

Теряя терпенье,
 серьезен и хмур,
— Я тоже король! — отвечает Амур.

Сломал о колено стрелу Купидон:
— Раз вам я не нужен,
 — обиделся он, —
Вас мучить не буду.
Вы — просто зануды,
Не видите радость, не верите в чудо.
Эгей, Купидон! Прости нас! Пардон!
Поверь, ты нам нужен,
 и очень, притом.
Стреляй в кого хочешь,
 веди на убой...
Амур, мы не в силах
 расстаться с тобой!

Притча

Обитатели сыра заспорили: где
Он рожден — На земле?
В небесах? На воде?
Ортодоксам небесное
 больше с руки,
«На земле!» —
 оппонируют еретики...
Еретик ортодокса в ошибках винит,
Полыхают дебаты и ночи, и дни...
Но из крошек-клещей,
 коих в сыре — стада,
О корове
не вспомнит никто. Никогда.

The inner room

It is mine — the little chamber,
Mine alone.

I had it from my forbears
Years ago.

Yet within its walls I see
A most motley company,
And they one and all claim me
As their own.

There's one who is a soldier
Bluff and keen;
Single-minded, heavy-fisted,
Rude of mien.

He would gain a purse or stake it,
He would win a heart or break it,
He would give a life or take it,
Conscience-clean.

And near him is a priest
Still schism-whole;
He loves the censer-reek
And organ-roll.

He has leanings to the mystic,
Sacramental, eucharistic;
And dim yearnings altruistic
Thrill his soul.

There's another who with doubts
Is overcast;
I think him younger brother
To the last.
Walking wary stride by stride,
Peering forwards anxious-eyed,
Since he learned to doubt his guide
In the past.

And 'mid them all, alert,
But somewhat cowed,
There sits a stark-faced fellow,
Beetle-browed,
Whose black soul shrinks away

Каморка

Каморка эта хоть тесна —
Мое наследство.

Дана мне предками она
С рожденья, с детства.
Но постоянно вижу я
Толпу людей в стенах жилья,
И каждый думает: он — я...
Не отвертеться!

Тут есть прославленный солдат —
Атлет плечистый,
Он добродушно-грубоват,
Служака истый:
Хоть куш сорвет, хоть все пропьет,
Сердца пленит иль разобьет
В живых оставит иль убьет —
С душою чистой.

А рядом с ним отец святой
Поет осанну
И пьет кадила дым густой
Под звук органа.
Обряд причастия блюдет,
Но алытруизм — запретный плод —
К соблазну ереси ведет,
К души изъяну.

Есть и второй святой отец.
Тому, наверно,
Он младший брат иль брат-близнец,
И непомерно
Он осторожен, напряжен,
Весь в беспокойство погружен,
Со школьных лет он заражен
Сомнений скверной.

Ещё один — исполнен дум,
Лицо застыло,
Сидит напуган, зол, угрюм,
Глядит уныло
Душа сжимается, когда

From a lawyer-ridden day,
And has thoughts he dare not say
Half avowed.

There are others who are sitting,
Grim as doom,
In the dim ill-boding shadow
Of my room.
Darkling figures, stern or quaint,
Now a savage, now a saint,
Showing fitfully and faint
Through the gloom.

And those shadows are so dense,
There may be
Many — very many — more
Than I see.
They are sitting day and night
Soldier, rogue, and anchorite;
And they wrangle and they fight
Over me.

If the stark-faced fellow win,
All is o'er!
If the priest should gain his will
I doubt no more!
But if each shall have his day,
I shall swing and I shall sway
In the same old weary way
As before.

The irish colonel

Said the king to the colonel,
'The complaints are eternal,
That you Irish give more trouble
Than any other corps.'

Said the colonel to the king,
'This complaint is no new thing,
For your foemen, sire, have made it
A hundred times before.'

Он вспоминает день суда —
Не умереть бы со стыда
Хватило силы.

В зловещем сумраке меж стен
Моей темницы
Сидят дикарь и джентльмен,
Святой и рыцарь...
Неуловимы их черты,
Где тени мрачны и густы,
То тут, то там из темноты
Мелькают лица.

Священник, жулик и солдат, —
Считаю снова, —
Такой толпой они стоят,
Что, право слово,
Не сосчитать теней в строю:
Шумят извечно на краю
И на кон ставить жизнь мою
Они готовы.

Коль отожмёт свое бандит —
Мне всё постыло,
А коль священник победит —
Исполнюсь силы.
Но если каждый в свой черёд
Власть надо мною заберёт,
В тоске, сомненьях жизнь пойдёт,
Как раньше было.

Ирландский полковник

Король сказал: «Мне жалобы
На ваших шлют сверх мер.
Ирландцев не мешало бы
Вам урезонить, сэр».

«Наказывать их кстати ли? —
Ответил командир. —
На нас и неприятели
Изжаловались, сир».

Перевод с английского

Théophile Gautier le banc de pierre

À Ernest Hébert

Au fond du parc, dans
une ombre indécise,
Il est un banc, solitaire et moussu,
Où l'on croit voir la Rêverie assise,
Triste et songeant à
quelque amour déçu.
Le Souvenir dans les arbres murmure,
Se racontant les bonheurs expiés;
Et, comme un pleur, de la grêle ramure
Une feuille tombe à vos pieds.

Ils venaient là, beau
couple qui s'enlace,
Aux yeux jaloux tous
deux se déroband,
Et réveillaient, pour
s'asseoir à sa place,
Le clair de lune endormi sur le banc.
Ce qu'ils disaient, la
maîtresse l'oublie ;
Mais l'amoureux, cœur
blessé, s'en souvient,
Et dans le bois, avec mélancolie,
Au rendez-vous, tout seul, revient.

Pour l'oeil qui sait voir les
larmes des choses,
Ce banc désert regrette le passé,
Les longs baisers et le
bouquet de roses
Comme un signal à son angle placé.
Sur lui la branche à
l'abandon retombe,
La mousse est jaune, et la
fleur sans parfum ;
Sa pierre grise a l'aspect de la tombe
Qui recouvre l'Amour défunt!

Теодиль Готье
Каменная скамья

Эрнесту Эберу

В саду скамья скрывается в тени —
Замшелый мрамор
 травами обвит...
Здесь, говорят,
 мечта проводит дни,
Тоскуя о несбывшейся любви.
Вспоминанья шепчутся в листе
О радостях, искупленных давно,
И, как слезинка, павшая с ветвей,
Трепещет жёлтый лист
 у ваших ног.

Здесь двое обнимались в забытьи,
И на «люблю»
звучал «люблю» ответ,
И пробуждался спавший на скамье
Свидетель тайной встречи —
лунный свет.
Но милая забыла, что клялась
Хранить любовь
и верность до седины...
Возлюбленный,
чья боль не унялась,
Приходит на свидание один...

Кто в неживом сумеет боль понять,
Поймёт скамьи
 заброшенной печаль:
На ней лежит страдания печать,
Ей клятв и поцелуев долгих жаль.
...Лежал в углу
 букет душистых роз,
Как символ чувства,
 что цветёт в раю...
Но серый камень
 прочно в землю врос,
Могилой скорбной делая скамью.

Перевод с французского

Перевод с французского

Владимир Сергеев
(Россия/Франция)

Президент Ассоциации в поддержку русской культуры во Франции «Глаголь», член редсовета одноимённого литературного альманаха. Филолог по образованию (диплом МГУ), журналист по профессии — многие годы работал в Агентстве печати «Новости» (Москва) и региональным пресс-атташе ЮНЕСКО (Париж). Увлекается переводом французской прозы, в частности, театральных пьес на русский язык, а также поэтическим переводом на французский русской поэзии (Пушкин, Лермонтов, Есенин, Окуджава, Евтушенко), песен и романсов.

Чай всмятку

Отрывок из пьесы Даниэль Наварро и Патрика Одекера
Danielle NAVARRO et Patrick HAUDECOEUR "THE A LA MENTHE OU T'ES CITRON"

Действующие лица:

Жюльен — сын продюсера, к несчастью для других актёров, на сцене играет впервые.

Софи — профессиональная актриса, не станет великой, но об этом не знает только она сама.

Ришар — тоже профессиональный актёр, но фигляр.

Доминик — актёр массовой, отсутствие опыта заменяет повышенной инициативностью.

Клара — театральный режиссёр, не поспевает за развитием событий, но умеет избегать конфликтов.

Брижжит — костюмерша, любит поворчать.

Робер — не очень любезный помощник режиссёра.

(Голос за сценой) **Нанар**, осветитель.

Особый реквизит

Платяной шкаф, в котором обе дверцы могут упасть при нажатии изнутри. Потолок подвижный, может убираться в глубину сцены.

Электрическое устройство, способное имитировать вспышки молнии и короткое замыкание.

Бутафорские вазы из необожжённой глины, которые легко разбиваются.

АКТ I

Действие происходит во время одной из последних театральных репетиций. Декорации должны изображать интерьер буржуазного дома конца XIX века, однако некоторые несоответствия приведут в дальнейшем к забавным ситуациям.

В правой части сцены — журнальный столик с двумя стульями и комод, на котором стоит электропроигрыватель.

В левой части — стол, изображающий письменный стол и два стула.

В глубине сцены посредине — платяной шкаф, камин, на котором стоит пластиковое ведро, которое временно заменяет вазу. На стене вместо картины — забавный плакат.

На авансцене слева — стул для режиссёра..

Занавес поднимается. Мадам Девиньяк сидит справа, читает журнал.

ДОМИНИК (Виктор): *(Входит)* Некий мсье Анри Дюжарден ждет в прихожей, он хотел бы поговорить с мадам. *(Протягивает ей визитную карточку на подносе).*

СОФИ (Мадам Девиньяк): Мсье Анри Дюжарден? *(Апарт)* Ах, да! Этот тот милый господин, которого я встретила на приёме у Дюфлуоров. Однако, какой настойчивый! Хорошо, что муж этого не заметил. Виктор! Пусть он войдет.

ДОМИНИК (Виктор): Слушаюсь, мадам. *(Выходит).*

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден) *(Входит)*: Моё почтение, мадам Девиньяк.

СОФИ (Мадам Девиньяк): Мсье Дюжарден, какой сюрприз! Присаживайтесь, прошу вас.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Благодарю вас.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Чем обязана?

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Видите ли, дорогая мадам Девиньяк, я принёс вашу сигаретницу, которую вы забыли у Дюфлуоров.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Ах, благодарю вас, мсье Дюжарден. Я как раз искала её... Думала, что потеряла и очень расстроилась. Не потому, что она такая дорогая, скорее наоборот... но это память о моей бабушке, которая воспитывала меня до двадцати лет. Светлая ей память!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Да, конечно, я вас понимаю. Память — это очень важно. Я сам недавно потерял часы, который мне оставил дед. Очень о них горевал.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Ах, я так ценю воспоминания!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Жизнь состоит из воспоминаний, мадам!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Да уж...

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Да уж...

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Вы ведь не откажитесь от чашки чая?

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): С удовольствием.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Виктор! *(Берёт со стола колокольчик, звонит).*

ДОМИНИК (Виктор): *(Входит)* Слушаю, мадам?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Виктор, подайте нам, пожалуйста, чаю.

ДОМИНИК (Виктор): С мятой или с лимоном?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): С лимоном, Виктор! Вы же знаете, что я терпеть не могу мяту! А вы что предпочитаете?

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Мне, пожалуйста, тоже с лимоном.

ДОМИНИК (Виктор): Слушаюсь, мадам. *(Выходит)*

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Вы знаете, чай мне всегда напоминает про Индию. Всегда, когда я ездил туда по делам, я привозил много самых разных сортов чая.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Мой муж как раз уехал в Нью-Дели на две недели. Я просила его привезти чаю. Надеюсь, не забудет. *(Деланный смех Софи и Жюльена)*.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): *(Встает и делает несколько слов на авансцену для апарте)* Мужа нет, как мне повезло! Об этом можно только мечтать! Никто мне не ПОМЕЧТАЕТ! *(К Софи)* Какой прекрасный вечер был у Дюфлюров! А вы выглядели там лучше всех! Да ещё такие роскошные украшения! Вы их носите, как королева!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Это ещё я не самые красивые надела, потому что они слишком дорогие...

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Они, конечно, в надёжном месте!?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Конечно! Но вам я могу сказать. *(Оба оглядываются по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит)* Мой муж предпочитает их хранить дома, это в сто раз надёжнее, чем в банке. *(Деланный смех Софи и Жюльена)*.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): *(Встает и вновь выходит на авансцену для апарте)*. Невероятно! Какая удача! Ну, мадам Девиньяк, держитесь! *(Софи)* Мари-Аньес! Я так больше не могу, это выше моих сил...*(Он наклоняется к ней, чтобы поцеловать. Входит с подносом Виктор, на подносе два картонных стаканчика и графин, изображающий чайник)*

ДОМИНИК (Виктор): Чай, мадам.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): *(Спасает положение)* Вот и все... Ничего страшного — просто пылинки попали в глаз.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): *(Смущенно)* Спасибо, Виктор, можете идти.

ДОМИНИК (Виктор): Слушаюсь, мадам. *(Выходит)*.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): *(Наливает в оба стаканчика воды)* Боже мой, здесь всё время идёт дождь...

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Дождь? Разве идёт дождь?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): А вы что — не слышите?

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Счастливые дожди не наблюдают, у них в сердце всегда солнце! Ах, Мари-Аньес! Сколько можно меня

мучить!? Я люблю вас. *(Неловким жестом опрокидывает воду из стакана на Софи).*

СОФИЯ: Ч-чёрт возьми! Идиот!

ЖЮЛЬЕН: Ради Бога, простите!

СОФИЯ: Да что ж это такое! В который раз повторяем эту сцену, и каждый раз он опрокидывает воду на меня!! *(Входит Доминик).*

КЛАРА: *(Входит через зал, подходит к сцене)* Друзья мои, пожалуйста, успокойтесь!

ЖЮЛЬЕН: Я не нарочно...

СОФИЯ: Ещё бы — нарочно! Нет, вы только посмотрите! *(Зовёт)* Брижжит!

БРИЖЖИТ: *(За сценой)* Что ещё?! *(Входит одновременно с Робером. Пытается привести в порядок одежду на Софи, Робер занят камином).*

КЛАРА: Дорогая, не нервничай! В чём проблема?

СОФИЯ: Послушай, ты не можешь переделать сцену с чаем? Потому что я не хочу быть облитой ещё и на генеральной репетиции!

БРИЖЖИТ: *(Тщательно протирает пиджак Доминика)* Вот и всё, ничего страшного! Всё уже высохло.

ДОМИНИК: Нет, вот еще на ней! *(Показывает на Софи).*

КЛАРА: *(Жюльену)* Ты понял смысл сцены с чаем?

СОФИЯ: Проблема не в смысле, а в координации движений.

(Клара поднимается на сцену)

ЖЮЛЬЕН: Я буду осторожнее.

РОБЕР: Лучше в чайник ничего не наливать, тогда и проблем не будет.

КЛАРА: Отлично, так и сделаем!

(Брижжит снимает мерку с Жюльена)

ДОМИНИК: А мне это будет мешать играть, если чайник пустой. Он же тогда весит меньше.

КЛАРА: Конечно, он будет весить меньше!

СОФИЯ: А мне, представьте, надоело, что на каждой репетиции меня поливают. Я вам не цветок!

РОБЕР: Но тут ведь не чай, а вода.

ДОМИНИК: Понятно, но я хочу сказать, что от чая остаются следы.

РОБЕР: Да, от чая остаются следы! Ну и что?! Тут ведь вода! От вина тоже остаются следы — что дальше?!

БРИЖЖИТ: Разве это было вино?

РОБЕР: Нет, не вино! *(Выходит).*

БРИЖЖИТ: Если это вино, надо предупреждать, потому что тогда нужно посыпать солью. Чтобы пятно полностью исчезло, нужно минимум четыре килограмма соли!

СОФИЯ: *(Бросает взгляд на Жюльена)* Если бы только любое пятно можно было убрать солью...

КЛАРА: Ну, ладно, проехали... А в остальном всё хорошо, даже очень: чувствуется ритм, акценты... одним словом, уже что-то есть!

Не забывайте про жанр — это театр бульваров! А это подразумевает... широкий тротуар, фонари, узенькие улочки, какие-то лавочки... Особенно в начале, потом-то всё входит в норму... Ну, вы понимаете, что я хочу сказать?

ЖЮЛЬЕН: Я не понимаю.

КЛАРА: Прекрасно! Тогда продолжим. Итак, сцена с чаем!

НАНАР (*Голос за сценой*): Клара, я сейчас даю запись с дождём!

КЛАРА: Спасибо, Нанар.

ДОМИНИК: Клара, мой выход?

КЛАРА: Да, моя радость, вперёд!

ДОМИНИК: Если что не так, то ты скажи...

КЛАРА: Главное — ничего не меняй! (*Доминик берёт поднос и выходит*). Брижжит, милая! (*Брижжит невнятно что-то бормочет и уходит со сцены*).

РИШАР: (*Входит*) Извини, Клара, сейчас мой выход?

КЛАРА: Нет, Ришар, не сейчас.

РИШАР: ОК! (*Уходит*).

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Виктор!

ДОМИНИК (Виктор): (*Входит*) Мадам?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Виктор, подайте нам, пожалуйста, чаю.

ДОМИНИК (Виктор): Чай с мятой или с лимоном?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Конечно, с лимоном. Вы же знаете, Виктор, я терпеть не могу мяту!

(*К Жюдьёу*) А вам какой?

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Тоже с лимоном.

ДОМИНИК (Виктор): Слушаюсь, мадам. (*Выходит*).

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжардену): Ах! Чай мне напоминает Индию. Я оттуда привозил огромное количество чая, самых разных сортов.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): А муж как раз в командировке в Нью-Дели на две недели. Я просила его привезти чаю, надеюсь, он не забудет. (*Деланный смех*).

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): (*Деланный смех. Апарте в том же стиле*) Мужа нет дома! Какая удача! Даже не ожидал! ЭТО МНЕ ТОЛЬКО ЗА РУКУ!) (*На секунду замер, пытаясь понять, что он такое сказал. Затем обращается к Софи*) Какой был чудесный вечер у Дюфлуоров! Никому так не идут те замечательные украшения, которые были на вас в тот вечер!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Между прочим, это были не самые лучшие из моих украшений. Просто другие — слишком дорогие.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Надеюсь, вы их храните в надёжном месте?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Разумеется... Но... лично вам я могу сказать... *(Так же, как и в первый раз, с преувеличенной осторожностью оба оглядываются по сторонам)*. Муж предпочитает их хранить здесь, это в сто раз надёжнее, чем в банке. *(Деланный смех)*.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): *(Обращается к Софи)* Невероятно! Даже не думал, что так повезёт! Ну что ж, мадам Дениньяк?! Да поможет нам Бог! *(Деланный смех, отходит в сторону для апарте)* Ах, Мари-Аньес! Моё сердце так трепещет!...

СОФИЯ: О-ля-ля!!

ЖЮЛЬЕН: ???

КЛАРА: Жюжю, радость моя! Если своё апарте ты будешь говорить ей, то публика НАС не поймёт!

ЖЮЛЬЕН : А, ну да... Малость ошибся!

КЛАРА : Давайте всё сначала.

ЖЮЛЬЕН *(Софи)*: Извиняюсь.

СОФИЯ *(Поправляет)*: Прошу меня извинить.

ЖЮЛЬЕН: Нет, это я виноват.

КЛАРА: И вот ещё что, Жюльен!... Мне бы хотелось в твоих апарте больше лёгкости на визуальном уровне... больше тонкости, пластики! Представь, что ты бабочка, только что сбросившая свой кокон! Это твой первый полёт, понимаешь?

ЖЮЛЬЕН : М-м, да-а-а!?

КЛАРА: Ну, давайте ещё раз!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): А муж как раз в командировке в Нью-Дели на две недели. Я просила его привезти чаю, надеюсь, он не забудет. *(Деланный смех)*.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): *(Пытается неловкими жестами подражать бабочке)*. Мужа нет дома! Какая удача! Даже не ожидал!. ЭТО МНЕ ТОЛЬКО ЗА РУКУ! *(Собирается сесть)*.

КЛАРА: ???

СОФИЯ *(С издевкой)*: По-моему, ему не хватает только пачки и пуантов!

КЛАРА: Нет-нет, это неплохо... В этом есть что-то... новое, свежее... Только, пожалуйста, Жюжю, последи за дикцией — не ЗА РУКУ. а НА РУКУ, хорошо?.

ЖЮЛЬЕН: Ну, конечно!

КЛАРА: Давай с твоей реплики и — дальше!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): *(Та же попытка изобразить бабочку)*. Мужа нет дома! Какая удача! Даже не ожидал!.. ЭТО МНЕ ТОЛЬКО ЗА РУКУ!

КЛАРА: Жюжю! НА РУКУ! НА, а не ЗА!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Пардон, пардон!.. Мужа нет дома! Какая удача! Даже не ожидал! ЭТО МНЕ ТОЛЬКО... ЗА РУКУ!

КЛАРА: Жюжю! *(Встаёт, подходит к нему)*.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Мужа нет дома! Какая удача!...

КЛАРА: Жюльен!!! Повтори за мной — НА РУКУ!

ЖЮЛЬЕН: На руку.

КЛАРА: НА!

ЖЮЛЬЕН: НА!

КЛАРА: РУКУ!

ЖЮЛЬЕН: РУКУ!

КЛАРА: ТОЛЬКО НА РУКУ!

ЖЮЛЬЕН: ТОЛЬКО... ЗА РУКУ!

КЛАРА: ...

СОФИЯ: Ты что — совсем дурак или притворяешься!? *(Доминик пришёл посмотреть в чём дело)*.

ЖЮЛЬЕН: Клянусь вам, я не нарочно!

КЛАРА: Давай, Жюжю, постарайся не путать!

ЖЮЛЬЕН: А нельзя поменять фразу?

КЛАРА: С ума сошёл — автор нас убьёт!

ЖЮЛЬЕН: Я мог бы не говорить до конца: «Мужа нет дома! Какая удача! Даже не ожидал! ЭТО, МОЖЕТ, МНЕ ПОМОЖЕТ... ПОМОЖЕТ...

СОФИ: ЕМУ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОМОЖЕТ!

КЛАРА: Что поможет? Кто кому поможет?!

ЖЮЛЬЕН: А, может, так: «Мужа нет дома! Какая удача! Даже не ожидал! ЭТО, МОЖЕТ, МНЕ ПОМОЖЕТ... НО — ТСССС! НИКОМУ НИ СЛОВА И Я ВАМ ТОЖЕ — НИ СЛОВА!

СОФИЯ: Гениально! Мольер отдыхает! И давно ты пишешь пьесы?

ЖЮЛЬЕН: Пока ещё не писал!

СОФИЯ: А жаль!

РОБЕР: *(Из глубины сцены в то время, как Клара возвращается к своему креслу)* Нанар, дай-ка мне, пожалуйста, свет в зал, в партер!

НАНАР *(за сценой)*: ОК!

КЛАРА: Ладно, это мелочь, мы к ней вернёмся. Только, милые мои, не забывайте, что до премьеры осталось всего два дня, а нам ещё работать и работать! Так что — поехали дальше!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ах, Мари-Аньес! Моё сердце так трепещет!...

РОБЕР: *(Выходит на сцену)* Эй, Нанар, в чём дело? Где свет?

НАНАР: Прости, сейчас всё будет.

РОБЕР: Лады. *(Выходит)*.

КЛАРА: Ну, Жюжю! Твоя реплика!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ах, Мари-Аньес! Моё сердце так трепещет!..

РОБЕР: *(Вновь появляется на сцене)* Нанар! Ты что там — заснул?!

НАНАР: Прости, я всё перепутал, сейчас всё будет.

РОБЕР: Давай шевелись! У меня и без того забот хватает!.. *(Уходит)*.

КЛАРА: *(После паузы)* ОК! Надеюсь, мы можем теперь продолжить! Жюльен!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ах, Мари-Аньес...

РОБЕР: *(Снова на сцене)* Нанар! Мне тебя до завтра тут ждать?!

КЛАРА: Робер, ради Бога!

РОБЕР: *(Удивлённо)* В чём дело?

КЛАРА: Робер, мы репетируем!

РОБЕР: А я что — мешаю?

КЛАРА: Мягко говоря, да.

РОБЕР: *(С ворчанием уходит)* Конечно! Мы все из себя такие звёзды! А мне интересно — что делать без света!?

КЛАРА: Слушайте, мы и так уже затянули! А если ещё нас перебивать!..

РИШАР: *(Выходит на сцену)* Это мой выход, Клара?

КЛАРА: Нет ещё, Ришар, погоди!

РИШАР: Ну, хорошо...

СОФИЯ: Ты не видишь, что ли, что нам нужно репетировать!

РИШАР: Да уж, очень даже вижу, что ТЕБЕ нужно репетировать! *(Уходит)*.

СОФИЯ: Иди-иди... Мастрояни недоношенный! *(Брижжит пользуется паузой, чтобы снять мерку с Жюльена)*.

КЛАРА: Тишина в зале! Поехали! Брижжит, прошу тебя... *(Брижжит ворчит что-то нечленораздельное и уходит)*.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ах, Мари-Аньес! Моё сердце так трепещет!... Я не могу...

ДОМИНИК (Виктор): *(Входит)* Ваш чай, мадам!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ну, вот ничего страшного... Что-то... в глаз попало...

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Оставьте чай, Виктор... Вы свободны.

ДОМИНИК (Виктор): Слушаюсь, мадам. *(Уходит)*.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): *(Делает вид, что наливает чай Жюльену)* Боже мой, проклятое место — всё время дожди...

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Разве идёт дождь?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк) А вы что — не слышите? *(Раздается шум сильного ливня. Жюльен не обращает на него никакого внимания, продолжает говорить, но из-за этого шума его не слышно. Появляется Доминик, чтобы проверить, в чём дело)*.

КЛАРА: *(Встает и делает знак Нанару, который, как предполагается, находится в середине зрительного зала).* Сто-оп! Нанар! Стоп! *(Шум дождя прекращается).*

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): У них в сердце всегда солнце!...

КЛАРА и СОФИЯ: *(Жюльену)* Замолчи!

КЛАРА: Нанар, это что такое?

НАНАР *(За сценой)*). А что?.. Это дождь. Что-то не так?

КЛАРА: Ну, допустим, это дождь, но... у тебя нет чего-нибудь полегче... типа бретонского дризлинга, например?

НАНАР: Так это и есть бретонский дризлинг!

КЛАРА: Да?... Ну, ладно, это мелочь, потом разберёмся! Продолжим репетицию!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Счастливые дождей не наблюдают, у них в сердце всегда солнце! Ах, Мари-Аньес, я больше не могу скрывать свои чувства! Я вас люблю!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Ах, замолчите, безумец! Нас могут услышать. *(Встает, Жюльен тоже).*

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден)

Моё сердце трепещет, как птица в клетке! Только ваша любовь может меня спасти. *(Чмокает её в щёчку).*

КЛАРА: Нет, Жюльен! Так не пойдёт! Я же тебе говорила, и в тексте написано. *(Читает)* «Обнимает и страстно целует»! Целует! Страстно! А ты её чмокаешь в щёчку!..

СОФИЯ: Я его не вдохновляю! Не в его вкусе!

ЖЮЛЬЕН: Да нет, просто я думал, раз это театр, то всё тут понарошку!

КЛАРА: Конечно, это театр, но всё тут должно выглядеть как взаправду! Это понарошку, но взаправду, понимаешь?.. Ну, давайте ещё раз! Софи, пожалуйста!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): *(Равнодушным тоном)* Ах, замолчите, безумец! Нас могут услышать.... *(Жюльен никак не реагирует).*

КЛАРА: Ну же!

ЖЮЛЬЕН: Моё сердце трепещет, как птица в клетке! Только ваша любовь может меня спасти! *(Робко целует Софи в щёку).*

СОФИЯ: Вот это страсть! Ее аж в последнем ряду видно!

(Входит Робер с проигрывателем в руках и ставит его на комод справа.)

КЛАРА: Жюльен, это должен быть страстный поцелуй! Страстный! Вы понимаете, что это такое?

СОФИЯ: Клара, может, этот поцелуй просто отменить? Хуже не будет...

КЛАРА: Вот уж нет! Это ключевой момент в этой сцене.

РОБЕР: Да уж, поверьте мне, поцелуй в бульварной пьесе — это крайне важно... Впрочем, это моё мнение, я его никому не навязываю...

ДОМИНИК: Робер прав, это важно.

СОФИЯ: Только если это хорошо исполнено, а то...

РОБЕР: Слушай, Жюжю! Представь себе, что ты целуешь свою подружку!

ЖЮЛЬЕН: Да, но... у меня нет подружки...

РОБЕР: Ну, представь, что у тебя уже есть подружка. *(Подмигивает)* Представь себе: лето, солнце, ты едешь в шикарном кабриолете, рядом потрясающая блондинка. Вот с такой грудью! С длинными ногами! Ты рулишь с ней в открытой машине! Летний вечер! Её грива — как знамя любви! Ты подруливаешь к берегу озера! Вырубаешь мотор! Вокруг ни души! И тут ты её нежно, но страстно целуешь!!! Понял?

ЖЮЛЬЕН: Да, но... у меня ведь нету прав.

РОБЕР: Мда... Софи права — лучше сцену с поцелуем убрать! *(Уходит)*.

КЛАРА: Ну, почему же, у него получится...

ДОМИНИК: Между прочим, у меня тоже поначалу не получалось целоваться на сцене. Я был страшно зажат. Помню, однажды я должен был поцеловать патрнёршу... Красотка была! Высокая, изящная — просто модель! Короче, не то, что ты! Я перед ней так робел, что забывал свой текст *(Жюльену)* И знаешь, как я решил эту проблему? А? Так вот, я представил её на унитазах! Радикальное средство! И всё — как отрезало! Больше я не робел и не чувствовал себя зажатым... Впрочем, у каждого — свой метод. *(Медленно поворачивается от Жюльена к Софи)*.

СОФИЯ: *(Резко Доминику)*. Ну, ты — Песталоцци! Заткни свой метод, сам знаешь куда! И поглубже, понял!

ДОМИНИК: Я лишь делюсь опытом. Надо же помогать дебютанту.

КЛАРА: Ну, ладно... всё это мелочи. Потом разберёмся. А сейчас давайте сделаем перерыв на пять минут и потом продолжим. ОК? *(Появляется Брижжит, у неё в руках несколько галстуков-бабочек, которые она принесла показать Жюльену)*.

ДОМИНИК: Ну, а я-то — как, Клара?

КЛАРА: Ты просто молодец!

ДОМИНИК: А ты не думаешь, что в начале мне нужно добавить мужественности, а то мне кажется, что...

КЛАРА: Нет-нет! Ни в коем случае! Всё и так просто замечательно!

ДОМИНИК: Ну тогда ладно! *(Уходит)*.

СОФИЯ: *(Кларе)* А когда я буду репетировать в парике?

БРИЖЖИТ: Какой ещё парик? У вас есть парик?

СОФИЯ: Клара! У меня есть парик или нет?

КЛАРА: Разве? Совсем незаметно!

СОФИЯ: Да нет, я про роль! Мне же сказали, что у меня должен быть парик!?

КЛАРА: Да-да, конечно!

БРИЖЖИТ: У меня записано — шляпа, а парика нет.

СОФИЯ: Ну и ну. Хорошо, хоть я об этом сказала!

БРИЖЖИТ (*Записывает в блокнот*): И парик! Ты его под шляпу наденешь?

СОФИЯ: А ты думала — поверх шляпы?

БРИЖЖИТ: Я хотела сказать, что ещё нужно?

СОФИЯ: Нет, только парик.

БРИЖЖИТ: Записала.

СОФИЯ: Вот и хорошо! (*Уходит. За чем-то входит Робер*).

КЛАРА: Вот кстати, Робер! Ты можешь нам помочь со светом?

РОБЕР: Нет проблем! (*Уходит*).

КЛАРА: Спасибо!

БРИЖЖИТ: (*Жюльену*) У тебя какой размер?

ЖЮЛЬЕН: 39–42.

БРИЖЖИТ: 39 или 42 ?

ЖЮЛЬЕН: Эээ... И тот, и другой!

БРИЖЖИТ: У тебя что — одна нога 39-й, а другая — 42-й?

ЖЮЛЬЕН: Я не знаю, но когда покупаю носки, там написано 39–42.

БРИЖЖИТ: Так то носки, а я тебя про обувь спрашиваю, про обувь!

ЖЮЛЬЕН: А-а! Тогда 44-й!

БРИЖЖИТ: 44-й! (*Записывает*) Клара, а как ты его хочешь одеть?

КЛАРА: Ну-у... не знаю... Что-то очень простое, но в то же время что-то изысканное... Такое... как бы — классически и романтически!

БРИЖЖИТ: Романтически — записала. (*Уходит*).

КЛАРА: Ну, что, милый мой Жюльен!... Потихоньку твой герой уже прорисовывается. Малость надо добавить от Дюжардена! Ну, как бы это сказать — дорисуй своему змею ещё и ноги! Понимаешь?

ЖЮЛЬЕН: ???

КЛАРА: Ну, так как ты это чувствуешь внутренне... И главное — в своём темпе, не спеши.

ЖЮЛЬЕН: Понял. Тогда я начну с задних ног!

КЛАРА: Тут главное — показать двойственный характер твоего героя. Анри Дюжарден ведь не только любовник мадам Девиньяк. Он прежде всего этакий благородный разбойник. Понимаешь?

ЖЮЛЬЕН: Конечно!

КЛАРА: И этот благородный джентльмен... хочет у неё... украсть? Украсть?

ЖЮЛЬЕН: Он хочет у неё украсть... Это...

КЛАРА: Укра... ну... что он хочет... укра-

ЖЮЛЬЕН: Украсть!

КЛАРА: *(Нетерпеливо)* Украсть, да! Но что? Укра?..

ЖЮЛЬЕН: Укра.. укра...

КЛАРА: Украшения! Он хочет украсть её украшения.

ЖЮЛЬЕН: Вон оно что?! Так это он хочет украсть!

РИШАР: *(Входит)* Клара, это мой выход?

КЛАРА: Да-да, Ришар, сейчас сделаем маленький перерыв и сразу продолжим. *(Уходит)*.

РИШАР: Прекрасно! Ну, что Жюжю? Как у тебя — всё хорошо?

ЖЮЛЬЕН: Да-да, все ОК! *(Наливает себе стакан воды, который потом даст Ришару)*.

БРИЖЖИТ: *(Входит)* Ришар, можно я возьму у тебя мерку ?

РИШАР: Конечно, только не забудь вернуть. *(Сам же смеётся своей шутке)*.

БРИЖЖИТ: Повернись-ка!

РИШАР: *(Жюльену)* А ты, если что — не стесняйся. Я всегда рядом, можешь рассчитывать на мой совет.

ЖЮЛЬЕН: Спасибо, очень тронут.

РИШАР: Ты ж понимаешь, я ведь тоже когда был начинашкой, хоть, конечно, и с детства меня признавали талантливым... Я имею в виду критиков. Но, помню, тогда мне всегда хотелось опереться на актёра с опытом. *(Собирается подойти к Жюльену)*.

БРИЖЖИТ: *(Ришару)* Ришар, замри и не вертись!

ЖЮЛЬЕН: У меня ведь к тому же главная роль. Естественно, возникают вопросы.

РИШАР: Естественно!

ЖЮЛЬЕН: Я ему так и сказал.

РИШАР: Это кому же?

ЖЮЛЬЕН: Отцу, он продюсер и спонсор этой пьесы.

БРИЖЖИТ: Жюльен, помощи-ка! *(Брижжит хочет снять мерку с Ришара и жестом показывает, чтобы Жюльен другой конец метра обернул вокруг пояса Ришара. Тот пытается это сделать и в то же время метром обводит вокруг себя)*.

РИШАР: Так, ты, стало быть...

ЖЮЛЬЕН: Ну да, поэтому я и ...

РИШАР: Самое главное — это чтобы ты сам получал удовольствие от игры, от того, что заставляешь публику смеяться.

БРИЖЖИТ: 2 метра 20! Ничего себе! Это ж сколько материала уйдет! *(Уходит)*.

РИШАР: Слушай, меня, молодая поросль! В нашем актёрском деле главное — чего-нибудь придумать! Какую-нибудь смешную штучку! Прикол, одним словом! Ну, например, взять твоего героя! Это благородный жулик, такой светский тип, одет с иголочки... ну и всё такое... Так вот, ты ведь там во втором акте должен глотнуть виски, так?

ЖЮЛЬЕН: В общем, да... Конечно, на самом деле это яблочный сок.

РИШАР: А в том-то и дело, что на премьере ты будешь глотать виски!

ЖЮЛЬЕН: То есть как?

РИШАР: А вот так! Ты им поперхнёшься, поскольку терпеть не можешь виски! Ты его тут же выплёвывашь, понял? Вот и получится смешно! Ну, понимаешь, получается неожиданная реакция, прикол, в Голливуде это называется «гаг»! Понял?

ЖЮЛЬЕН: Ага! Получается «гаг»?!

РИШАР: Смотри, я тебе сейчас покажу. *(Входит Робер с каким-то аксессуаром и смотрит на Ришара).* Вот у тебя в руках стакан с виски. Смотри внимательно! *(Берёт стакан с водой и изображает героя Жюльена).* «А почему бы мне не воспользоваться таким случаем?». Ты видишь, это такой светский пижон, весь из себя... *(Продолжает).* «Очаровательная и податливая дамочка... виски — хоть залейся! Да ещё такой шикарный антикварный халат!» *(Пьёт и тут же шумно всё выплёвывает справа от себя).* Видишь? Это и есть «гаг», понял?

РОБЕР: Я, например, ничего не понял!

РИШАР: Не удивительно... Это всё называется комическая ситуация. Тут нужно учитывать контекст, характер персонажа... Все это не так просто!

ЖЮЛЬЕН *(Роберу)*: Нужно учитывать характер персонажа... Ты этого не поймёшь... Даже я, и то...

РИШАР: Ну-ка, Жюльен! Попробуй, изобрази нам! *(Передаёт ему стакан).* Давай!

ЖЮЛЬЕН: «А почему бы мне не воспользоваться таким случаем?»...

РИШАР: ОК! Больше игривости! Играй со своим персонажем!...

ЖЮЛЬЕН: «Очаровательная и податливая дамочка... виски — хоть залейся! Да ещё такой шикарный антикварный халат!» *(Жюльен пьёт из стакана и всё выплёвывает справа от себя, то есть на Ришара).*

РОБЕР *(Смеётся)*: Ну вот теперь мне понятно! Отлично, Ришар! Супер! Это нужно оставить. *(Уходит).*

РИШАР *(Оплёванный и раздражённый)*: Да уж! Так смешно, что сдохнуть можно! Ха-ха-ха-ха!

ЖЮЛЬЕН: Давай, Ришар, повторим ещё раз!

РИШАР: Нет уж, хватит... Надеюсь, ты понял главное — неожиданная ситуация и есть «гаг»!

ЖЮЛЬЕН: Всё понял.

РИШАР: *(Садится на один из стульев около журнального столика)* То же самое у тебя с Софи, ты перед ней слишком робеешь! Не бойся,

давай больше нажима! Она-то прёт, как танк! Ты слышал ее английский акцент! Это же ужас, что такое! Удивляюсь, что Клара ничего ей не говорит! «Бог ты мой, благодарю вас, мсье Дюжарден! Где я его только не искала, мое ожерелье! Оно, конечно, особой ценности не представляет, но это память о моей бабушке Леа»... *(Смеется)*. Как там дальше?

(Появляются Софи и Доминик, их Ришар не видит).

ЖЮЛЬЕН: *(Замялся)* Да... не знаю...

РИШАР: Ну ты что! Там у неё длиннейший монолог...

СОФИЯ: «Она воспитывала меня до двадцати лет...»

РИШАР: Ну, да! Вот именно: «Она воспитывала меня...» *(Неожиданно понимает, что это Софи, резко вскакивает с кресла)* Ах, это вы?... Перерыв уже закончился? Ну, что ж... *(Смущённо помолчал)*. Мы тут это... Немного порепетировали...

СОФИЯ: А вы не смущайтесь, продолжайте репетицию. Надеюсь, я не мешаю...

РИШАР: А мы это... уже закончили.. Верно, Жюльен?

ЖЮЛЬЕН: Я не знаю, меня там не было!

РИШАР: В общем, мы закончили.

СОФИЯ: Ну и что же вы репетировали?

РИШАР: Да тут у Жюльена в одном месте... не очень получалось...

КЛАРА: *(Входит, вслед за ней с каким-то мелким аксессуаром входит Робер)* Ну как, друзья мои? Все в порядке? Все готовы? Можем продолжать?

ОСТАЛЬНЫЕ: Да! ОК! *(Все уходят)*

ЖЮЛЬЕН *(Уходя, спрашивает Ришара)*: Больше не репетируем?

КЛАРА: Робер, ты про свет не забыл?

РОБЕР: Ах, да! Нанар! Давай ставить свет!

НАНАР *(за сценой)*: ОК!

РОБЕР: Так... Нет, так бледновато... Нужно больше солнца... добавь-ка побольше красного... А теперь зелёного!... Мда... что-то не очень... Убери зелёный!... Мда... Убери ещё красный! Вот так... Отлично, Нанар!... Так и замри!.. ОК!.. Больше ничего не трогай!.. Клара, свет готов!

КЛАРА: Отлично, Робер! Спасибо! *(Входят остальные)*. Ну, дети мои, все здесь, не будем терять время — начнём с начала второго акта, ОК?

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ: ОК-ОК! *(Софи и Жюльен выходят, Доминик собирает все со столика на поднос, который он затем унесет за кулисы)*.

РИШАР: *(Доминику)* Ты что, будешь репетировать уже в костюме?

ДОМИНИК: Да — мне нужно вжиться в образ.

РОБЕР: Он даже спит в костюме! *(Ришар и Робер смеются, идут к выходу)*.

ДОМИНИК: Кретин!

РОБЕР (*Возвращается*): Что?

ДОМИНИК: Я про Кристин! Она мне должна сто евро! (*Те двое уходят*).

(*Брижжит помогает Жюльену надеть халат*)

КЛАРА: Да, Брижжит, помоги Жюльену переодеться.

БРИЖЖИТ: А я что делаю — в носу ковыряюсь!? (*Уходит*).

КЛАРА: Ладно, дети мои, поехали!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ни-че-го! Даже маленького колечка! Впрочем, я ищу драгоценности только два дня и при этом скрываюсь от прислуги и Мари-Аньес. Ничего, мсье Дюжарден, терпи и ищи дальше!.. (*Появляется Ришар, делает ему знак, чтобы тот продолжал и не обращал на него внимания*). Какая удача: очаровательная и и податливая дамочка... виски — хоть залейся! Да ещё такой шикарный антикварный халат! (*Пьёт «виски» и шумно всё выплёвавает*).

КЛАРА: Что ты делаешь, Жюжю?

ЖЮЛЬЕН: Это гаг! Для смеха!

КЛАРА: Гаг? Вот уж совсем не смешно! Не-ет! Так не пойдёт!

ЖЮЛЬЕН: Это все Ришар, (*Поворачивается к Ришару, но тот тут же исчезает*) Скажи, Ришар... (*Кларе*) Понимаешь, это специально — для контраста с моим персонажем!

КЛАРА: В том-то и дело, что в бульварной комедии контраст с персонажем комического эффекта никогда не даёт.

ЖЮЛЬЕН: Да, но Ришар...

КЛАРА: Ладно, продолжай.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ээ... Виски — хоть залейся! Да ещё такой шикарный антикварный халат! (*Пьёт*) Ооо! (*Кларе*) Ого! Другое дело! (*Напевая подходит к проигрывателю. Достает пластинку из конверта и ставит ее на круг и тут вдруг гаснет свет*).

КЛАРА (*В темноте*): Что такое ? Это там у тебя, Нанар?

НАНАР: Да... чёрт его знает, в чём дело!

КЛАРА: Но нужно ведь что-то делать! У нас репетиция...

НАНАР: Секунду! Сейчас разберусь.

ЖЮЛЬЕН: Эй, где свет?! (*Зажигается свет*)

КЛАРА : Ну вот! Жюльен, не теряем времени, продолжаем.

ЖЮЛЬЕН: Всё сначала?

КЛАРА: Нет, виски.

ЖЮЛЬЕН: ОК! ...Виски — хоть залейся! Да ещё такой шикарный антикварный халат! (*Пьёт*) Ооо! (*Кларе*) Ого! Другое дело! (*Опять, напевая, подходит к проигрывателю. Достает конверт и с удивлением обнаруживает, что там пластинки нет*) Ах, да, вот же она! (*Кладёт руку на пластику, в это время снова гаснет свет, раздаётся характерный для замыкания звук, летят искры*).

КЛАРА: Нанар! Что там опять? *(Загорается свет. Жюльен сидит оглушённый и испуганный на полу. Его стукнуло током).* Жюльен! Жюжю! Ришар! Робер!... Быстрее сюда!..Жюжю!! *(Все окружают Жюльена, всеобщее оживление и шум).* Ну, как ты, Жю?

РОБЕР: Что тут происходит?

КЛАРА: Жюльену плохо, его током ударило. *(Ришар и Робер поднимают Жюльена, который застыл под углом 90°, и сажают на стул).*

РИШАР: Что с тобой, милый Жюльен? Очнись, старичок!

ДОМИНИК: Жюжю! Ты как? Это я — Доминик!

СОФИЯ: Он еще и вертушку взорвал!

РОБЕР: А, ч-чёрт! *(Все, кроме Доминика и Жюльена, идут к проигрывателю).*

ДОМИНИК: Жюжю, хватит валять дурака. Ты меня слышишь? *(Сильно бьёт его несколько раз по руке).*

ЖЮЛЬЕН: Ой-ой! Больно!...

РОБЕР: Его закоротило! Электрошоковая терапия!

СОФИЯ: Да хоть какая — лишь бы он пришёл в себя!

БРИЖЖИТ *(Снимает мерку с Жюльена)*: Надеюсь, его не укоротило!

КЛАРА: Так в чём же дело?

РОБЕР: Откуда я знаю! Он сунул туда палец — и вуаля! ...Ладно, кажется, будет работать!

КЛАРА: Робер — ты наш спаситель!... Так, все по местам, времени в обрез...

ДОМИНИК *(Уходя — Роберу)*: Так ты в вертушках разбираешься?

РОБЕР: Ну, не так чтобы очень...

ДОМИНИК: У меня стиральная машина барахлит: отжимает не после стирки, а до... Как думаешь, это серьёзно? *(Уходит).*

КЛАРА: Ну, вперёд... *(Читает текст Жюльена)*. «Да ещё такой шикарный антикварный халат!» Продолжаешь от этой реплики и идёшь ставить пластинку.

ЖЮЛЬЕН *(Всё ещё в облаках)*: Что такое?

КЛАРА: Продолжаешь от этой реплики и идёшь ставить пластинку.

ЖЮЛЬЕН *(Испуганно)*: А... там больше ничего не взорвется?

КЛАРА: Всё будет ОК, Жюльен. Поехали!

ЖЮЛЬЕН *(Анри Дюжарден) (Дрожащим голосом)*: Я... это... В общем, так... Какая удача: очаровательная и податливая дамочка... виски — хоть залейся! Да ещё такой шикарный антикварный халат! *(Пьёт «виски», давится и вместо того, чтобы идти к проигрывателю, отступает назад и собирается уйти).*

КЛАРА: Жюльен! Тебе — туда...

ЖЮЛЬЕН: Я хотел немножко прогуляться... *(С опаской подходит к проигрывателю. Дрожащей рукой касается пластинки. Раздается музыка).*

СОФИЯ (Мадам Девиньяк) (*Входит*): Анри, вы с ума сошли. Прекратите (*выключает проигрыватель*). Нас может услышать прислуга...

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Я думал, что Виктор пошёл за продуктами.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Он может вернуться с минуты на минуту. Вы, Анри, такой неосторожный! Если будете паинькой, вас этой ночью ждёт приятный сюрприз.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Я всегда паинька!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): А вот и не всегда!... Ох, проказник! Я оставлю вас на минутку — почищу пёрышки! А потом — я ваша! (*Уходит, напоследок призывно вильнув бёдрами*).

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): А я ваш, моя красавица!... (*Апарте*). Итак, продолжим поиск. Куда же Девиньяки могли спрятать свои драгоценности? Они люди недалёкие, но осторожные и хитрые! Картина! Какой я дурак! Конечно, за картиной! (*Берёт стул, залезает на него и смотрит за прикреплённой на левой стене афишей*). Нет, за картиной ничего нет! Подумаем!... Если они люди хитрые, они обратятся к столяру... Столяр — это мебель! Конечно же! Мебель с двойным дном! Как я не догадался сразу?! Значит, так... Шкаф — слишком банально... Тумбочка — слишком мала... Письменный стол! С двойным дном! Как это я не догадался! (*Лезет под письменный стол*).

ДОМИНИК (Виктор) (*Входит*): «О, это вы, мсье! Добрый день! Вы вернулись так рано! Я ведь ждал вас через пять дней. Надеюсь, с делами всё в порядке? Но что вы делаете под столом?»... Клара!

КЛАРА: Что такое?

ДОМИНИК: Извини, но я хотел предложить это сыграть по-другому. По-моему, это больше подойдёт моему персонажу.

КЛАРА: Ну, давай, покажи...

ДОМИНИК: Это две секунды!

КЛАРА: ОК!

ДОМИНИК: Жюльен, пожалуйста, начни эту реплику сначала, хорошо? (*Уходит*).

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ээ... «Как это я не догадался!» (*Вновь лезет под стол*).

ДОМИНИК (Виктор) (*Выпевает свою роль на оперный манер. Постепенно остальные актеры, пораженные его выступлением, появляются на сцене*): А-ах, так это вы?! До-о-брого дня! Ах, по-очему-у вы у-уже здесь? Мы-ы ждали ва-ас то-олько в четве-ерг! Не-ет ли в делах ва-аших проблем? И-ли у вас по-очки болят? (*Пауза. Доминик видит вокруг себя остальных актёров*) В чем дело?

ЖЮЛЬЕН (*Кларе*): А разве это оперетта?

КЛАРА: Вот что, Доминик... Я не уверена, что тебе нужно так все это... педалировать. Ты согласен со мной?

ДОМИНИК: Не знаю... Тут всё ещё нужно прикинуть в целом!.. С аксессуарами, в костюме и т.д.

КЛАРА: Аксессуары?... Не знаю... Может, тебе взять в руки швабру... это как-то логичнее!

СОФИЯ: Конечно, со шваброй логичнее!

БРИЖЖИТ: Швабры еще не хватало! *(Она уходит, за ней уходит Робер)*.

РИШАР: Лучше дать ему пылесос!

КЛАРА: Да?

РИШАР: Это её отвлечет от его захватывающей игры! *(Со смехом уходят)*.

ДОМИНИК: Дебил!

КЛАРА: Дети мои, времени нет, продолжаем! Твою сцену, Доминик, посмотрим попозже, тут нужно подумать... ОК! А сейчас продол-жаем! *(Доминик с обиженным видом уходит)*.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ну и ну! Чуть не попался! И плакали тогда мои бриллианты! Милый мой Дюжарден, не зевай!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк) *(Входит)*: Что такое, Анри? Вы с кем-то разговариваете?

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): И да, и нет! Сейчас я вам всё объясню, Мари-Аньес. Видите ли... я спокойно себе искал под письменным столом бриллианты...

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Бриллианты?

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Нет-нет... Я хотел сказать — очки! Они упали под стол, а тут неожиданно вошёл Виктор.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Боже мой, Анри! Какой ужас!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Подождите! Так вот, этот кретин принял меня за вашего мужа!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Не может быть!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Из-за халата... к тому же он подумал, что у меня вдруг заболели почки...

ДОМИНИК *(За сценой)*: Чай с мятой, мсье!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк) и ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Ах! *(Софи идёт к шкафу. Жюльен идёт к письменному столу, потом к шкафу и опять к столу. Входит Доминик)*.

КЛАРА: Жюжю, что с тобой?

СОФИЯ: Да ничего, это он импровизирует! *(Входит Ришар)*.

ЖЮЛЬЕН: Да нет. Я просто уже не пойму, где мне прятаться.

ДОМИНИК: В шкафу! Я вхожу, а ты прячешься в шкафу.

ЖЮЛЬЕН : Ах, ну да! Конечно...

СОФИЯ: Тебе, может, еще и стрелки нарисовать — куда идти?

ЖЮЛЬЕН: Между прочим, вот так залезть в шкаф совсем не просто!

РИШАР: Конечно, не просто, а очень просто! Был шкаф, а тебе будет батискаф! *(Смеется, но никто его не поддерживают. Пауза).*

КЛАР: Ну-ну... продолжаем!

РИШАР: Клара, у меня есть одна мысль — насчет гэга со шкафом. Можно?

КЛАРА: Ну, давай — делись!

СОФИЯ: Ну, всё — сейчас умрём со смеху!

РИШАР: Так вот. Двери шкафа...

ЖЮЛЬЕН *(Смеется)*: Выходят в окно, да?!

РИШАР: Надо, чтобы двери шкафа заклинило *(С силой трясёт двери шкафа)*. Жюльен пытается их открыть, стучит по бокам...

РОБЕР *(Вошёл, чтобы заменить один из стульев у чайного столика для 2-го акта)*: Ну-ка, потише! Это тебе не игрушка!

РИШАР: Пардон, сор-ри!

РОБЕР: За мебель тут отвечаю я...

РИШАР *(Пауза. Робер остаётся на месте)*: Понял, спасибо! Так вот, две-ри шкафа заклинивает. *(Еёва касается шкафа)*. Жюльен пытается их открыть, слегка «постукивая» по бокам *(Робер уходит со стулом)*, но это не помогает. И тут он придумал — залезть на шкаф, чтоб его не видели. Он залезает, верх шкафа ломается, и он оказывается внутри, заперт. Ну как!?

КЛАРА *(Озадачена)*: Да... Неплохо!..

СОФИЯ: За что ценю нашего Ришара, так за его тонкизну!

РИШАР: Лучше хоть что-то придумать, чем вообще ничего не придумывать!

СОФИЯ: Когда нечего сказать, лучше рот не открывать!

РИШАР: На каждый роток, найдётся платок!

СОФИЯ: Меньше слов, больше дела!

РИШАР: Вот именно!

КЛАРА: Ладно, Ришар, тут надо подумать, вернёмся к твоей идее попозже, хорошо?

ЖЮЛЬЕН: Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик погулять!

ОСТАЛЬНЫЕ: ???

КЛАРА: Ну... продолжим!

РОБЕР *(Пришёл заменить второй стул для 2-го акта)*: А было бы неплохо, Клара, чтобы в спешке Жюльен ошибся и вместо себя засунул в шкаф Софи... Ну, это я так — мысли вслух! *(Выходит со вторым стулом)*.

КЛАРА: А что — интересно! Можно ещё сделать так: вы оба прячетесь в шкафу, а когда появляется Виктор, ты, Софи, выходишь из шкафа со смущённым видом.

ДОМИНИК: А что — мне нравится!

СОФИЯ: Мне тоже! Правда, тут есть и не такие сообразительные!

ЖЮЛЬЕН: Да нет, я все понял.

СОФИЯ: Это-то меня и беспокоит.

КЛАРА: Ну, ладно. Давайте попробуем! Жюльен, повтори свою реплику! *(Доминику)*: А ты продолжай! *(Ришар уходит)*.

ДОМИНИК: А как я, Клара?

КЛАРА: Отлично, Доминго! *(Доминик уходит)*.

ЖЮЛЬЕН: ...я спокойно искал под столом бриллианты...

СОФИЯ *(Мадам Девиньяк)*: Бриллианты?

ЖЮЛЬЕН *(Анри Дюжарден)*: Э... нет.. я искал очки, они завалились под стол, а тут вдруг вошёл Виктор.

СОФИЯ *(Мадам Девиньяк)*: Боже мой, Анри, вы представляете?!

ЖЮЛЬЕН *(Анри Дюжарден)*: Подождите! Так вот, этот кретин принял меня за вашего мужа!

СОФИЯ *(Мадам Девиньяк)*: Не может быть!

ЖЮЛЬЕН *(Анри Дюжарден)*: Это из-за халата... к тому же он подумал, что у меня был приступ почек...

ДОМИНИК *(Виктор)* *(За сценой)*: Чай с мятой, мсье!

СОФИЯ *(Мадам Девиньяк)* и ЖЮЛЬЕН *(Анри Дюжарден)*: Ах!!!

(Жюльен и Софи прячутся в шкаф. Жюльен закрывает дверь шкафа и в это время раздаётся крик Софи).

СОФИЯ: Аааа-й-й-й-й!!! *(На сцену в перепуге выбегают остальные. Софи вылезает из шкафа)*. Боже мой! Идиот! Кретин! Тупица!

КЛАРА: Что такое, Софи?

СОФИЯ: Этот идиот зажал мне дверью палец! *(Доминик, Клара и Робер подбегают к Софи)*.

КЛАРА: Покажи-ка!

РОБЕР *(Жюльену)*: Нельзя ли поосторожнее?!

ЖЮЛЬЕН: Это не я!

ДОМИНИК: Наверное, больно, да?

СОФИЯ *(Софи снова кричит)*: Ай-яй-яй-яй-яй!!!

ЖЮЛЬЕН: Я, в общем, это не нарочно!

СОФИЯ: Ещё бы — нарочно! Клара! Я больше не смогу играть на рояле!

РИШАР: А это уже хорошая новость!

СОФИЯ: А ты — заткнись!

КЛАРА: Сходи, подставь руки под холодную воду, полегчает! Робер, милый, проводи Софи, пожалуйста... Так, а теперь все по местам, иначе мы никогда не закончим! *(Возвращается в своё режиссёрское кресло)*.

РИШАР (*Жюльену*): Твой гэг с её пальцами мне очень понравился! Молодец! Браво!

ЖЮЛЬЕН: Вообще-то, это не гэг...

КЛАРА: Итак, начинаем сразу с выхода мужа. (*Жюльен и Доминик уходят*).

РИШАР: Мой выход, Клара ?

КЛАРА: Да, Ришар, давай!

РИШАР: Ну, так я начинаю?

КЛАРА: Да, Ришар!

РИШАР: Значит, я начинаю?

КЛАРА: Да!

РИШАР: Ну, я пошёл! (*Уходит, за сценой*) Внимание! Попрошу всех за сценой не шуметь! Благодарю! Ну, я пошёл! (*Пауза, затем он выходит на сцену*). Кстати, что я тут говорю?

КЛАРА: Эээ... ты говоришь: «Виктор! Виктор! Что — в этом доме нет никого?»

РИШАР: Да-да, хорошо... (*Уходит, пауза, появляется*). Виктор! Виктор! Что — в этом доме нет никого?.. Эээ... Что там дальше?

КЛАРА (*Подсказывает*): Как я устал...

РИШАР: Как я устал. Эта поездка меня измучила... я... я...

КЛАРА: Я не собирался возвращаться...

РИШАР: Я не собирался возвращаться так рано, но...

КЛАРА: Мои дела пошли не так, как я ожидал... Виктор! Виктор! Что — в этом доме нет никого?.

РИШАР: Да, в доме... Никого!

КЛАРА: Ришар, текст надо знать наизусть, вы же понимаете...

РИШАР: Знаю, Клара, знаю!

КЛАРА: Ну ладно... Переходим к сцене с серёжками. Ты её выучил?

РИШАР: Разумеется.

КЛАРА: ОК!

ДОМИНИК (*Входит*): А что с моей сценой?

КЛАРА: С тобой, Доминик, репетируем попозже.

РИШАР (*Луи-Филипп Девиньяк*) (*Доминику*): Милейший, прости конечно, но мы репетируем! (*Доминик уходит*). А где же Мари-Аньес?.. Ах, да! (*Достаёт из кармана маленькую коробочку, открывает*). Вот они, серьги!.. Мне специально сделал на заказ ювелир-индеец, надеюсь Мари-Аньес будет довольна. (*Делает широкое движение рукой, серьги падают и закатываются под письменный стол*) Ч-чёрт!... куда они закатились? (*Становится на четвереньки и ищет их под столом*).

КЛАРА: Прости, Софи, что перебиваю... Всё хорошо, ты играешь замечательно. Но... здесь, я думаю, ты не должна просто упасть на стул!

СОФИЯ: То есть?

(Входит Жюльен).

КЛАРА: Понимаешь, это ключевая фраза всей пьесы — «Боже мой! Муж!» Это... Это «to be or not to be» бульварной пьесы! Публика, я имею в виду настоящих театралов, будет тут особенно внимательна. И ты её должна тут как-то удивить! Как бы подмигнуть! При этом не одним глазом, а двумя, понимаешь!... Давай, попробуй!

(При каждом повторе Ришар опускается под стол всё труднее и труднее. Жюльен уходит).

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Анри! Что вы здесь делаете? Вылезайте оттуда, никого здесь нет! Я ведь вам говорила, что... Ах! Боже мой! Муж! *(Подмигивает).*

РИШАР (Луи-Филипп Девиньяк): Здравствуй, моя дорогая!...

КЛАРА *(Входит Жюльен)*: Вот так! Это уже лучше! Но я думаю, ты можешь сделать гораздо больше! Не зажимайся, расслабься полностью! Если хочешь, представь себе, что ты Будда! Про себя так спокойно говори — Дзе-е-ен-н-н-н!... Понимаешь?

СОФИЯ *(Неуверенно)*: Ну-у... да-а-а...

КЛАРА: Тогда — давай!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Анри! Что вы там делаете? Вылезайте оттуда, никого здесь нет! *(Замечает Жюльена)*. Клара, он мне мешает!

КЛАРА: Жюльен, прошу тебя... *(Жюльен выходит, при этом с шумом натывается на декорацию)*.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Здесь больше никого нет, вылезайте! Я же вам говорила, что... Боже мой! Муж! *(С преувеличенно трагической жестикულიцией)*.

КЛАРА *(В восторге)*: Вот-вот! Именно так, дорогая! Ты теперь по-настоящему прониклась образом героини! Молодец! Чувствуешь разницу?

СОФИЯ: Да уж!...

КЛАРА: Это же день и ночь! Понимаешь, ты должна собой заполнять всю сцену — от рампы до кулис!

РОБЕР *(Выходит на сцену, чтобы поменять кресла около письменного стола)* Вы это... поосторожнее! Чтобы за кулисами никакого бардака не было, ОК !?

КЛАРА: Ну что ты, Робер! Не волнуйся!

РОБЕР: Это я так — на всякий случай!

КЛАРА: Спасибо, дорогой Робер, за внимание!

РОБЕР: *(Уходит и уносит с собой репетиционный стул)* И так тут уже такой бардак, так что...

КЛАРА: *(К Софи)* Ну, что? Продолжаем?

РИШАР: Ты меня прости, Клара, но нельзя ли перейти к следующей сцене? Видишь ли, на прошлой неделе я малость потянул спину... Так что сейчас она все еще побаливает.

КЛАРА: Конечно, Ришар, о чём речь!...

РИШАР: Спасибо! *(Идёт к креслу около журнального столика, садится).*

КЛАРА: Ну! Поехали дальше!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк) *(Апарте)*: Я должна обязательно найти Анри и выпроводить отсюда мужа. *(Подходит к Ришару)*. Друг мой, пока вас не было, я посадила в теплице герань. Она просто восхитительна. Мне так хочется её вам показать!

РИШАР (Луи-Филипп Девиньяк): Бегу смотреть! Уже бегу! Только вот попрошу Виктора найти мне упавшие серёжки. *(Звонит в колокольчик)* Викто-ор!...

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Ах, друг мой, не беспокойтесь, я сама их поищу.

РИШАР (Луи-Филипп Девиньяк): Благодарю, дорогая. *(Уходит. Входит одетый в римскую тогу Жюльен)*.

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Бог ты мой, Анри! Наконец-то! *(С удивлением разглядывает его наряд)*.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Мари-Аньес, что происходит? Мне кажется, я слышал мужской голос?

КЛАРА *(Растеряна)*: Прошу прощения! Жюльен, что это за наряд?

ЖЮЛЬЕН: Я не знаю. Это Брижжит мне сказала надеть.

КЛАРА: Чёрт знает что такое! *(Зовёт)*. Брижжит! Брижжит!

БРИЖЖИТ *(За сценой)*: Я тут! *(Входит)*. В чём дело? *(Одновременно входят Ришар и Доминик)*.

КЛАРА *(Показывает на Жюлена)*: Что это на нём?

БРИЖЖИТ: То, что ты просила — романский стиль! Только сандалий не хватает...

КЛАРА: Я тебя просила о романтическом стиле, а не романском. Ты не поняла. Нужно что-то такое... тонкое, возвышенное, романтическое, одним словом...

БРИЖЖИТ: Теперь поняла. Так бы и сказала, а то... Брижжит! Брижжит! У меня и так голова кругом...

КЛАРА *(К остальным)*: Я, конечно, не права, надо было уточнить.

СОФИЯ: Римская тога, сандалии... Ему ещё лавровый венок — и будет в самый раз для 19-го века!

БРИЖЖИТ: Моё дело — исполнять, ваше дело — объяснять... *(Жюльену)*. Пойдём!

КЛАРА: Нет. Жюжю, переоденешься потом. Не будем терять время, продолжим! *(Возвращается на своё место)*.

БРИЖЖИТ: *(Уходит и раздражённо бормочет)* Моё дело — исполнять, ваше дело объяснять...

РИШАР (Доминику): Интересно, что бы она предложила для костюма Адама!?. *(Оба смеются и уходят)*.

СОФИЯ(Мадам Девиньяк) : Бог ты мой, Анри! Наконец-то!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Мари-Аньес, что происходит? Мне кажется, я слышал мужской голос?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Всё кончено! Муж вернулся!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Как?! Не может быть!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Да, он здесь! И вы должны немедленно покинуть этот дом, иначе я погибла!

ДОМИНИК (Виктор) *(За сценой)*: Простите...

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден) и СОФИЯ(Мадам Девиньяк): Ах!! *(Жюльен прячется в шкаф, а Софи направляется к письменному столу)*.

ДОМИНИК (Виктор) *(Входит)*: Я не мог прийти сразу, иначе на кухне всё бы сгорело...*(Пауза)* Ну, что там дальше?!

СОФИЯ: Клара, я больше не могу, с ним с ума сойдёшь!

КЛАРА: Ну, что там ещё? *(Входит Ришар)*.

СОФИЯ: Этот гений не знает своей мизансцены!

ДОМИНИК: Здесь, когда я вхожу, он должен прятаться под столом.

КЛАРА: Ну, конечно!... Жюжю! *(Пауза)*. Жюльен!

СОФИЯ: Он не только тупой. Но ещё и глухой! *(Ришар стучит по двери шкафа)*.

ЖЮЛЬЕН: Войдите! *(Ришар открывает шкаф и видит удивлённого Жюльена, тот решил пошутить)*. Аве, Цезарь!

КЛАРА: Жюжю, милый мой, ты опять ошибся!

ЖЮЛЬЕН: Разве?

КЛАРА: Во второй раз будешь прятаться под шкафом, а не под столом!

ЖЮЛЬЕН: Конечно, извините... *(Затем до него дошло, что сказала Клара)*. А... то есть — как это? *(Озадаченно смотрит под шкаф, затем уходит)*.

КЛАРА: Ничего-ничего! Повторим этот кусок и продолжим!

РИШАР: Прости, Клара, если ты не против, у меня есть предложение насчет гэга с письменным столом.

КЛАРА: Конечно, Ришар... *(Входят Жюльен и Доминик)*.

СОФИЯ: Слушай, Клара, не обижайся, но я так репетировать не могу! Я не могу сосредоточиться! Один считает себя Карузо, второй — лезет со своими идиотскими гэггами! Я так не могу! Мне нужно сосредоточиться!

РИШАР: Мои идиотские, по твоим словам, гэгги, милая моя, это попытка хоть как-то сгладить твою идиотскую игру!

КЛАРА: Ну-ну, дети мои, давайте успокоимся!

СОФИЯ: Старая калоша! Тебя даже в массовку не берут! Хоть с гэггами, хоть без! Ты играешь как... как... свинья!

РИШАР: Да-а, Жюльен! Теперь я вижу, что ты был прав насчёт неё!

ЖЮЛЬЕН (*Онемел*): ???

СОФИЯ: (*Медленно поворачивается к Жюльену*) Что-о?! Этот кретин позволяет себе что-то говорить обо мне у меня за спиной?!

ЖЮЛЬЕН: Я... э-э-э... Меня там даже не было, когда я это сказал!

СОФИЯ: Ах ты, засранец!

КЛАРА: Дети мои, давайте продолжим!

ДОМИНИК: Да уж, мы теряем время.

СОФИЯ: Мы не будем терять время, если ты поймёшь, что роль слуги — не самая главная!

ДОМИНИК: Она, может, и не главная, но важная. Правда, Клара? (*Все вместе неразборчиво галдят*).

КЛАРА: Так! Все успокоились! Тихо! (*Все умолкают*). Я понимаю, накануне премьеры все на нервах, я сама плохо не сплю!

ЖЮЛЬЕН: А я ничего — сплю неплохо!

КЛАРА: Однако мы с вами — крепкая труппа. Больше того — у нас хорошая пьеса, прекрасное помещение.

ЖЮЛЬЕН: (*Пытается пошутить*) Прекрасные костюмы! (*Остальные смотрят на него осуждающе. Входит Робер*).

КЛАРА: Мы имеем все основания рассчитывать на успех. Так что, дети мои, давайте не портить другу другу кровь по мелочам!

РОБЕР: Да уж! Тем более, что через десять минут я лавочку закрываю! (*Берёт проигрыватель и уносит за кулисы*).

КЛАРА: Вот видите! А я хочу закончить репетицию. Так что, всё забыли и поехали дальше, ОК?

ДОМИНИК и ЖЮЛЬЕН: ОК, ОК!

СОФИЯ: Только я вас предупреждаю — на премьере будет каждый за себя! (*Уходит*).

РИШАР: (*Жюльену*) Подумаешь! Фифа! Будто бы без неё мы никуда! (*Уходит*).

(*Жюльен собирается уходить*).

КЛАРА: Жюльен! Иди сюда, Жюю! Иди-иди сюда! Начинаем с момента, когда ты находишь бриллианты в шкафу. ОК?

ЖЮЛЬЕН: Да, но я ничего никому не говорил.

КЛАРА: Да плевать нам на это!

ЖЮЛЬЕН (*Анри Дюжарден*) (*Достает из шкафа мешочек с драгоценностями*): Ура! Они были в шкафу! Какой же ты, Дюжарден, молодец! Король благородных разбойников! А сейчас мне нужно смыться! И побыстрее!

ДОМИНИК (Виктор) (*Входит с пистолетом в руке*): Ни с места! Руки вверх! Гони драгоценности, и быстро! Разбойник! Вы обманули мою госпожу! Я всё знаю! Я всё видел! Вы пойманы с поличным!

КЛАРА: Доминик! В этой сцене публика должна понять, что ты сам — не прислуга, а благородный разбойник. Поэтому ты должен вести себя более решительно, более агрессивно, понял?

ДОМИНИК: Всё понял.

КЛАРА: Ещё раз!

ДОМИНИК (Виктор): Ни с места! Руки вверх! Гони драгоценности, и быстро! (*Кладёт руку Жюльену на плечо и преувеличенно грозным голосом продолжает*). Разбойник! Вы обманули мою госпожу! Я всё знаю! Я всё видел! Вы пойманы с поличным.

КЛАРА: Что такое, Доминик? Не-ет, так не пойдёт! Ни в какие ворота, мой мальчик! Это какой-то цирк! (*Входят Робер, Ришар и Софи. Робер убирает мелочи с письменного стола*).

ДОМИНИК: Я думал, что если положу ему руку на плечо...

КЛАРА: Нет-нет! Это надуманно!

ДОМИНИК: Ну, не знаю...

РИШАР: Если не против, Клара, у меня по этой мизансцене есть идея...

КЛАРА: Конечно, Ришар, конечно!

РИШАР (*Доминику*): Будь добр, дай мне свой револьвер. Благодарю! Всё было замечательно, bravo! Вот что, Жюльен. Иди ко мне! И замри, ОК? Ну, вот. Входит Виктор! (*Ришар подходит к нему сзади и зажимает ему горло предплечьем*): «Ни с места! Руки вверх! Гони драгоценности, и быстро!» Видите! Эффект неожиданности! Захват сзади! (*Показывает ещё раз. Жюльену всё это явно не нравится*) «Ни с места! Руки вверх! Гони драгоценности, и быстро!»... Он даже может приставить револьвер к виску! Вот так!

ДОМИНИК: А не слишком ли это грубо?

РИШАР: А так и надо!

КЛАРА: Что-то мне это — не очень!

ЖЮЛЬЕН: А мне так — очень даже не очень. Жмё-ёт!...

РОБЕР: Тогда давай, как Роберт Де Ниро в «Ночном убийце». (*Хватает Жюльена за воротник и трясёт, как грушу*). «Ни с места! Гони драгоценности, и быстро!» Понимаешь, Клара, вот так вот — спокойно и уверенно, причём без револьвера. «Ни с места! Гони драгоценности, и быстро!»

ДОМИНИК: А что? Мне нравится!

РИШАР (*Снова хватая Жюльена*): Пардон, но... визуально так гораздо лучше! Они находятся лицом к залу, зрители их видят! (*Жюльена толкают от одного к другому*).

РОБЕР (*Вырывает Жюльена*): Всё это так, но ведь они стоят лицом к друг другу, видишь?!

КЛАРА: Вы только не забывайте, что это театр бульваров!

ЖЮЛЬЕН (*Уже ничего не соображает*): О-ля-ля! Да что же делать?

СОФИЯ: Для бульвара, Клара, нужно кое-что добавить. Смотри! (*Берёт в руки револьвер*). Вот так: «Ни с места! Гони драгоценности, и быстро!» (*Даёт Жюльену звонкую оплеуху*).

РОБЕР: Точно! Очень хорошо!

СОФИЯ: Видите, здесь есть движение!

ЖЮЛЬЕН: Э-э! Потихе! У меня очки...

СОФИЯ: «Ни с места! Гони драгоценности, и быстро!» (*Ещё раз даёт оплеуху Жюльену*).

РОБЕР: Отлично! Мне нравится!

РИШАР: Надо бы врезать покрепче!

ЖЮЛЬЕН: А мне совсем не нравится, лучше уж, как предлагает Доминик!

ДОМИНИК: Что я говорил!

ЖЮЛЬЕН: Это, конечно, тоже плохо, но по крайней мере...

РИШАР: Да ну, это ну совсем никуда не годится!

РОБЕР: Ну, можно и совсем просто... (*Берёт Жюльена за плечи*) вырубить его головой, как футбольный мяч! Вспомни Зидана?

ЖЮЛЬЕН: Ну, уж нет!

КЛАРА (*Останавливает порыв Робера*): Нет-нет! Впрочем, это не главное, к этому ещё вернёмся. А сейчас продолжим! Все по местам! (*Все кроме Жюльена и Доминика уходят*).

ДОМИНИК (Виктор): На, он, кстати, был не заряжен! (*Даёт ему пистолет, забирает мешочек с драгоценностями и уходит*). Бай-бай, Дюжарден!

ЖЮЛЬЕН (*Всё ещё не пришёл в себя*): Клар, вот когда он меня того... (*делает жест будто его задушили*)... я против!

КЛАРА: Конечно, конечно...

ЖЮЛЬЕН: Нет, ты себе там так и запиши — «Я против»!

КЛАРА: Продолжаем!

ЖЮЛЬЕН (*Про себя*): Всё расскажу папе.

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): А! Так он был не заряжен! (*Жюльен собирается уходить с револьвером в руке, в это время входит Ришар*).

РИШАР (Луи-Филипп Девиньяк): Боже мой! Это грабитель! Имейте в виду — у меня здесь ничего нет, все ценное в банке!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Нет-нет, я не грабитель! Грабитель не я!

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): (*Входит и перебивает Жюльена*). Дюжарден! Что делать? Я пропала!

ЖЮЛЬЕН (Анри Дюжарден): Настоящий грабитель не я, а Виктор! Сейчас я вам все объясню. Виктор — благородный разбойник... *(Софи берёт с камина ведро и делает вид, что бьёт им по голове Жюльена. Тот делает вид, что от удара теряет сознание)* А-ах!

РИШАР (Луи-Филипп Девиньяк): Боже, Мари-Аньес! Вы меня спасли! *(Фиглярничая, при каждой последующей реплике актёры стараются выйти вперёд и заслонить другого).*

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): У меня просто не было другого выхода!

РИШАР (Луи-Филипп Девиньяк): Ах, Мари-Аньес, ну что бы я делал без вас!?

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): А без вас, Виктор, моя жизнь вообще не имеет смысла!

РИШАР (Луи-Филипп Девиньяк): Мари-Аньес...

СОФИЯ (Мадам Девиньяк): Да, Луи-Филипп...

РИШАР (Луи-Филипп Девиньяк): Я люблю вас! *(Прижимает её голову к своей груди).*

КЛАРА: Bravo! Молодец! Отлично!

СОФИЯ *(Задыхается. Ришару)*: Уй-юй! Охренел, что ли!? Отпусти немедленно!

КЛАРА: Мо-ло-дцы оба! Просто замечательно! Великолепно! Есть посыл! Есть отсыл!... Одним словом...

РИШАР: Бинго!

КЛАРА: Вот именно!.. Вы ухватили в пьесе главную идею!

СОФИЯ: А тебе не кажется, Клара, что в конце у уж слишком в него влюблена?

КЛАРА: В кого?

СОФИЯ: Да вот в этого! *(Жест в сторону Ришара).*

КЛАРА: Да что ты?! Ни в коем случае!... Софи, разве ты сама не видишь — эта именно твоя роль! Ты в ней будешь просто великолепно!

СОФИЯ: Ты думаешь?... Да, имей в виду, я больше не смогу остаться, у меня кастинг!

КЛАРА: Беги, дорогая, беги! До завтра. *(Та собирает свои вещи).*

РИШАР: У тебя кастинг?

СОФИЯ: Ну, да!... Так, всем большой привет! Я пошла!

РОБЕР: Пока, Софи!

СОФИЯ *(Роберу)*: Я — на кастинг. *(Уходит).*

РИШАР: А с кем у тебя кастинг? *(Уходит вслед за ней).*

ЖЮЛЬЕН *(Показывает на пластиковое ведро)*: Клара, у меня вопрос: видишь ли, пока что она бьёт меня по голове пластиковым ведром, а чем она меня будет бить по-настоящему, на спектакле?

КЛАРА: Это будет настоящая ваза, но не волнуйся — Софи только сделает вид, что разбивает её об твою голову.

ЖЮЛЬЕН: ??? (*Смотрит с недоверием*).

ДОМИНИК: Клара, ну а как тебе я?

КЛАРА: Прекрасно, мой зайчик, прекрасно!

ДОМИНИК: Если что не так, ты скажи!

КЛАРА: Всё так...

ДОМИНИК: А не думаешь, что в конце я мог бы немножко поднажать, а?

КЛАРА (*Перебивает*): Ну, поднажми, если хочешь! (*Резко*). На этом всё? Больше нет вопросов?

РИШАР и ЖЮЛЬЕН: Нет, нет.

КЛАРА: Отлично! У нас осталось только повторить общий заключительный выход. Нанар!

НАНАР (*за сценой*): Слушаю?!

КЛАРА: Я бы хотела, чтобы на выход ты поиграл светом. Сразу после поклонов ты свет вырубает и тут же включаешь, ОК?

НАНАР (*за сценой*): ОК!

КЛАРА: Итак, пару раз — выход. Все готовы?

НАНАР (*за сценой*): Я готов!

КЛАРА (*К остальным*): Внимание!.. Приветствия! (*Жюльен делает приветственный жест рукой, Ришар показывает ему, что, мол, нужен поклон. Пауза, Свет не гаснет*). Нанар, гаси свет!

НАНАР (*за сценой*): Разве!? Извини, я не понял!

КЛАРА: Ладно, ещё раз! Внимание... (*Вдруг свет гаснет*).

ОСТАЛЬНЫЕ: О, Боже! Ни фига себе!... Что такое?

КЛАРА: Нанар, включи свет!

ЖЮЛЬЕН: Нанар, ты рановато выключил!

РИШАР: Этот Нанар — просто гений!

ЖЮЛЬЕН: У него с выходом всегда проблемы!

РИШАР: Ты, что ли, с ним знаком?

ЖЮЛЬЕН: Ещё бы! Это мой брат! (*Остальные с удивлением смотрят на Жюльена*).

ЗАНАВЕС

И КОНЕЧНО —
ФАНТАСТИКА!



© Художник Елена Любович

Андрей Балабуха
(Россия, Санкт-Петербург)

Родился 10 апреля 1947 года в Ленинграде. Прозаик, эссеист, поэт, критик, переводчик, составитель отдельных сборников и книжных серий, литературный и научный редактор. Автор двадцати четырёх книг — семи сборников стихов, а в прозе относящихся к жанрам фантастики, научно-художественной литературы и литературной критики. Много занимался переводом фантастики и фантастической литературы (преимущественно с английского). 34 года ведёт свою литературную студию и свыше 10 лет — творческую мастерскую на курсах «Литератор».

Мавр, или Последний европеец?

Домофон, омерзительно фальшивя своим электронным голосом, уже три-четыре раза успел пропищать записанные в память такты из «Нам каждый гость дарован богом», прежде чем Мавр продрал глаза, сел, сунул ноги в тапочки и прошлёпал к двери. «Небось, граф Соллогуб с Гонсиорским всякий раз при таком исполнении ворочаются, кряхтя, в гробах, давно пора мелодию сменить», — привычно подумал он и посмотрел на экран монитора. В нижнем правом углу было обозначено время: двадцать минут второго. Значит, он не проспал и получаса.

На крыльце застыли трое. В одинаковых долгополых чёрных плащах и фетровых шляпах. «Людей в чёрном» насмотрелись, что ли? Не ОМОН, конечно, и не прочие «маски-шоу» — те и звонить бы не стали, а попросту высадили двери. Но тех Мавр не боялся: и какая-никакая линия обороны на всякий случай создана, и путь отхода проложен, да и вообще они ничего бы не могли ему предъявить. А вот эти... Чего-то подобного он давно уже втайне побаивался. И от них явно исходила эманация опасности. Опасности и силы. Что же, придётся впустить. Никто не может избежать неизбежного.

Он нажал кнопку, бросил: «Прошу!» — открыл дверь и встал на пороге, потуже затянув пояс халата. Вполне подходящее облачение. Не мог же он ждать гостей в столь неурочный для визитов час. И пока поднимается лифт, ему как раз хватит времени произнести нужные слова.

Когда троица вышла на площадку, он жестом пригласил их в квартиру и, как положено хозяину, принял плащи и шляпы. Всё это в полном безмолвии: молчание — самая выигрышная политика, пусть начинают они. Вслед за хозяином незванные гости прошли в гостиную. Обведя ее рукой — мол, будьте как дома — Мавр опустился в привычное кресло и только теперь позволил себе как следует их рассмотреть.

Вытянутое, аристократическое лицо того, что постарше и повыше ростом, украшала ухоженная ван-дейковская борода, чуть более тёмная, чем каштановые волосы. Двое других были гладко выбриты: блондин — до поросычей розовости щек, брюнет — до синевы. Они тоже расселись — двое по концам дивана, старший в кресле, образовав перед Мавром почти правильный прямоугольный треугольник. Наконец старший прервал молчание:

— Простите, я должен убедиться: имеем ли мы честь говорить с господином Брейко? Если полностью, Маврикием Викентьевичем Брейко?

Мавр кивнул.

— Что же, тогда всё правильно. Вы-то нам и нужны.

— Хотел бы я сказать то же самое, — улыбнулся Мавр.

— Позвольте представиться, как того требует элементарная вежливость, — продолжил старший. — Это — доктор Гаспар Арнери из Миланской академии, — брюнет чуть привстал и коротко кивнул. — Рядом с ним — доктор Бальтазар Блейк из Атланты, независимый исследователь, — Блейк в точности повторил движения коллеги. — Ну а ваш покорный слуга — доктор Мельхиор Савицкий из Варшавского коллегіума.

— Два очевидных псевдонима, — заметил Мавр. — Светлый маг из «Ученика чародея» и доктор-кудесник из «Трёх толстяков». Впрочем, подлинные имена меня не интересуют. Хотя ваше, — он чуть поклонился Савицкому, — производит впечатление подлинности. Уж не из тех ли иезуитов? Или из маршалов?

— Из тех, — в голосе гостя прозвучала затаённая гордость. — Воевода брестский был одним из моих прашуров.

— Можно было бы, конечно, сказать, будто рад знакомству, но как-то не получается. И с чем пожаловала ваша особая тройка? Для избежания младенца?

— Дефиниция неточна, коллега. Мы не враги или обвинители. Нам поручено разобраться. Объективно.

— Кем?

— Ну, скажем... неким сообществом. Перед вами суд, а не специалисты по бессудным расправам. Три неперемнных члена: доктор Балтазар — прокурор, доктор Гаспар — адвокат...

— А вы — судья.

— Да. Но всё это не мешает откровенному разговору. Считайте пока, что перед вами просто трое старших и многоопытных коллег.

— Отчего ж и не поговорить, — легко согласился Мавр. — С чего начнём?

— С самого начала.

II

А с чего, собственно, началось? С находки? Нет. С тётки Агафьи? Тоже нет. Раньше. Много раньше. Можно сказать, изначально. С имени.

У матери была прабабка, Мавра Агафоновна, которой та отродясь не видела — старушка отошла в мир иной задолго до появления мамы на свет. Но

в семье ходили прямо-таки фантастические легенды о властности, мудрости, прозорливости и вообще бесчисленных талантах прабабушки Мавры. И когда матушка произвела на свет первенца (а как оказалось впоследствии, единственного потомка, потому как при родах что-то там такое приключилось), семейство дружно убедило и чуть ли не приневолило её в честь пра-прабабки назвать сына Маврикием. В детстве его это нимало не смущало. Ну, «Маврик, туда!», «Маврик, сюда!», «Маврик, ешь!» — какая ему, Маврику, разница? Но вот когда он пошёл в школу... Впрочем, имени он был и благодарен: оно научило драться. Жестоко. Не ждать, когда на тебя обрушатся, а при малейшей угрозе бить первым — и любой ценой доводить до победного конца. Тактика оказалась правильной: после того, как троим наиболее злобным насмешникам пришлось хорошенько поразмыслить на больничных койках, Маврюша-Хрюша растаял без следа. На смену ему пришло уважительное «Мавр».

А потом имя стало ему даже нравиться. В университете он заливал доверчивым дурехам, что является плодом бурного романа своей матушки с неким пылким французом, а поскольку случилось это на острове Маврикий, его в честь одного клочка суши и нарекли. Девушки харчили байку с чавканьем — было это в те годы, когда русские на Маврикии встречались чуть чаще мамонтов. Для себя же он провёл небольшое расследование и выяснил, что, например, святой Маврикий, вроде бы живший во втором-третьем веках, считается покровителем рыцарей, а с именем его как-то связаны и легендарное Копьё Судьбы, и меч — один из главных символов Священной Римской империи. А еще был византийский базилевс Флавий Маврикий Тиберий Август, неустрасимый воитель, сокрушитель персов и аваров, в чьё правление империя ещё имела сильное сходство с античным Римом.

Тем временем Мавр успешно окончил филфак по специальности «флюктуативная филология», хотя по сей день не понимал, что это за зверь. В придачу к диплому он вынес знание четырёх языков — английского, французского, латыни и греческого, что впоследствии пригодилось куда больше, чем корочки и «поплавок». Однако единственной работой, которую ему с таким образованием удалось найти, оказалось талдычить оболтусам русский и литературу в задрипанном лицее. Впрочем, кое-как существовать это позволяло — скромненько, зато годами.

Тут-то и пришёл черёд выйти на сцену тётке Агафье.

Трясаясь (все разговоры о «бархатных» дорогах РЖД полная чушь!) в поезде 109А и направляясь в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов, он думал, что даже не знает настоящей степени родства: разумеется, тёткой ему Агафья никак не доводилась, разве что какой-нибудь седьмой водой на киселе. Однако в десять лет он провёл у неё в гостях целое лето, причём памятное: именно тогда он на всю жизнь пристрастился к истории — благодаря найденной в тёткиных завалах книжке Гастона Масперо «Египет, Ассирия» 1892 года издания.

Сама-то Агафья книг не читала, вернее, принадлежа к староверам, только свои, священные, однако и все остальные, разными судьбами к ней попав-

шие, свято почитая любое печатное слово, тщательно хранила, твердя юному Маврику: «Это, племяш, твоё наследие, сбереги его!». Сама она уже в свои семьдесят с небольшим казалась ему ходячей древностью, ожившей мумией, вроде той, что он заворожённо разглядывал в «Эрмитаже», старухой, которой в свои годы и в своей деревне оставалось разве что горе горевать, за пальцами сидеть, за святцами зевать.

И вот она умерла, протянув ещё больше четверти века. Соседи сообщили его слишком поздно — он даже не успел на похороны. И теперь ехал только поклониться могиле да вступить в права наследования, поскольку именно ему Агафья «завещала всё».

«Всё» оказалось не столь уж малым. Дом, правда, был хоть велик, но дышал на ладан, ходить по нему следовало, не дыша. Зато участок — без малого гектар — даже в здешней глуши кое-чего стоил. Впрочем, деревня со странноватым названием Америково не в такой уж глуши располагалась — каких-то полтора часа на машине от Саратова. Историю возникновения названия этого тётка рассказала Маврику ещё тогда, в детстве. Жил-был наполеоновский полковник Жан-Арман д'Амеркур. Во время Войны 1812 года, подобно многим, оказался в плену, там влюбился — без памяти, со всем галльским пылом — в русскую барышню и вскорости подал на высочайшее имя прошение о принятии в российское подданство. Государь отнёсся к нему доброжелательно — всё-таки аристократ, чей род восходит в первым Крестовым походам, пусть и подпавший под чары узурпатора, а посему прошение удовлетворил и даже одарил экс-полковника деревней на Саратовщине, коей и присвоили вскоре имя Амеркурово. Вкупе с двумя деревеньками, полученными в приданое, получилось неплохое имение. Лежало Амеркурово по обоим берегам речки Течи, которую в половодье и телега преодолевала, а в межень — так и курица вброд. Но потом пришла Советская власть с ее электрификацией, кому-то взбрело в голову построить ниже по Течи плотину, уровень воды поднялся, моста построить никто не удосужился, вот и распалась деревня на две: на левом берегу — Америково, на правом — Курово. Тётка в Америково жила.

Мавр прикинул, что дом по разваленности своей ничего не стоит. А вот участок — иное дело, кое обмозговать стоит. Хозяйство у Агафьи было нищенское, ничего с него не возьмёшь, да и в доме — сплошь рухлядь, даже если антикварная: на реставрацию потратишь больше, чем потом выручишь. Но оставался ещё обширный чердак, где Мавр застрял надолго: помимо прочего хлама, несколько запертых сундуков, битком набитых книгами. И, начав разбираться в них, Мавр учуял запах немалых денег, особенно с какого-нибудь аукциона «Сотбис». Дело, натурально, непростое, но возможное. И в перспективе оно означало свободу от постылого лица... Среди прочих сокровищ этой вивлиофики оказался переплетённый в потрескавшуюся от времени телячью кожу том ин-кварто ещё догутенберговской эпохи — написанный на тонко выделанном пергаменте удивительно чётким каллиграфическим почерком по-латыни и украшенный изумительными по тонкости рисунка виньетками и киноварными буквицами...

III

— «Гримуар Гримальди»! — привскочив, чуть ли не вскрикнул доктор Гаспар Арнери. — Это он! Это может быть только он!

— Не знаю, — отозвался Мавр. — Могу лишь сказать, что писано не позже восьмого — десятого века. Что школа каллиграфии — ирландская, а вот в виньетках чувствуется старопровансальское влияние. А кстати, причём здесь Гримальди? Насколько я знаю, род генуэзских Гримальди, в восемнадцатом веке пресекавшийся, пусть даже князья монашеские и продолжают относить себя к этой династии, ведёт начало с двенадцатого столетия. А это заметно позже времени создания манускрипта.

— Вы правы, совершенно правы, коллега! Это загадка, и есть единственно правдоподобное предположение: один из Гримальди, Алессандро, в середине семнадцатого века исполнял в Генуе должность инквизитора и тогда мог завладеть книгой, принадлежавшей кому-то из еретиков. В дальнейшем она, как порою случается, обрела название, подразумевающее «Гримуар [из библиотеки — или собрания, или коллекции] Гримальди». По крайней мере я другого объяснения не вижу. А уж какими судьбами он попал к вашему полковнику д'Амеркуру — и вовсе загадка, у нас о нём никаких сведений нет...

— Доктор Арнери, — прервал его Блейк, — об этом мы успеем подумать и порассуждать позже. Теперь же нам важно другое. Как вы поступили с гримуаром, Мавр?

IV

Зачарованный находкой, Мавр увёз гримуар с собой, уложив в дорожную сумку. Остальные книги он рискнул отправить багажом, но только не эту.

Дальше всё пошло своим чередом. Участок — спасибо кое-кому из старых университетских друзей — удалось продать достаточно выгодно. Большую часть книг — тоже. Не на аукционе «Сотбис», конечно, а здесь, в России, но всё равно банковский счёт Мавра изрядно вырос, хоть он и подозревал, что покупатели сумели перепродать его букинистические сокровища втридорога. Но что делать? В мире антиквариев — в отличие от торговли недвижимостью — друзей у него не было. Однако в конечном счёте от службы он избавился, о хлебе насущном не думал и мог посвятить всё время исследованию манускрипта.

Здесь была не та благородно-благозвучная классическая латынь Цицерона, какую Мавр вынес из университета, а средневековая, опрощённая, ущербная и вульгаризированная, но зато с обильными включениями старофранцузского, старопровансальского, а изредка даже какого-то из гаэльских — с последними Мавр был до сих пор и вовсе незнаком. Словом, тот ещё супчик!

На то, чтобы более или менее разобраться в нём, ушло пять лет, о которых Мавр, впрочем, ничуть не жалел, наоборот, вспоминал с восторгом — более захватывающего интеллектуального приключения у него ещё не было. Что же до результата...

Манускрипт оказался книгой заклинаний. Мавр же во всякую оккультную дребедень сроду не верил. А потому вознамерился убедиться в торжестве материализма. Вот одно из самых простых, самых коротких заклинаний: возжжение огня. Он поставил на стол свечу и насколько мог гладко прочёл текст.

Господи, фитиль вспыхнул! И ещё раз, и ещё, и ещё... Неужели это работает?!

Два следующих года ушли на освоение заклинаний более сложных.

Больше всего заинтересовали Мавра заклатья перевоплощения. Оказалось, что с неорганической материей работать намного сложнее: да, воплотить в жизнь вековую мечту алхимиков о претворении свинца в золото не так уж трудно. Однако заклинание здесь играет роль курковой реакции — слабое воздействие, приводящее в движение могучие силы. Но оказалось, что для превращения килограмма свинца в килограмм золота потребна энергия, сопоставимая чуть ли не со взрывом Кракатау. И где, скажите на милость, её взять? Какие адские силы выпустить на волю? Хорошо бы замахнуться, да себя притом не сжечь... А вот с органикой всё не в пример проще: тут важен только пересчёт масс. Грубо говоря, сотворить из двух полуторакилограммовых кочнов капусты одного трёхкилограммового кролика — пара пустяков. И это навело на мысль...

V

— И тогда, если я не ошибаюсь, первыми вашими жертвами стали сомалийские пираты? — сурово спросил прокурор доктор Блейк.

— Гвинейские, — спокойно возразил Мавр. — Сомалийских практически извели до меня. Я лишь чуток подчистил. Но вообще-то «пират» и «жертва» — понятия несопоставимые, с позволения сказать, катахреза. Впрочем, самый первый опыт имел не масштабный, а скорее частный характер.

— А именно?

Рассказать? Почему бы и нет?

VI

На третьем этаже в их парадной обитал необщительный субъект, чьи добрые чувства без остатка расходовались на трёх питбулей. Днём их выгуливала его жена, женщина тихая и незаметная, причём неизменно выводила всю троицу в намордниках и на поводках. Зато по утрам и вечерам хозяин самолично выступал во главе своры, а когда соседи или прохожие на всякий случай отступали в сторонку, не без ехидства замечал, что собаки — это вам не люди, зря ни на кого не набросятся. До поры до времени так оно и было. Пока вся троица на глазах хозяина не накинулась Бог знает с чего на соседку со второго этажа, возвращавшуюся домой с тяжеленными сумками. Может, в них что-то безмерно притягательное для псов лежало? Поди теперь разберись! Но факт есть факт — женщину со множественными рваными ранами увезли в больницу, псовладельцу же лишь пригрозили штрафом, на что тот махнул рукой: «Да хоть сейчас!»

Мавру рассказали об этом часа два спустя. Он подумал-подумал, наконец решился, и к утру собаки благополучно исчезли, а на деревьях во дворе поселилась стая весело стрекочущих белок. Скандал был великий, но подозреваемая в покраже собак женщина лежала в больнице, обвинить же кого-то другого у потерпевшего не то фантазии, не то духа не хватило.

И вот тогда пришла мысль об африканских пиратах: чем они, собственно, лучше питбулей? И вскорости те исчезли. Настолько, что нажимать на торговые суда охрану и держать эскадры в Индийском или Атлантике вскоре потеряло смысл. Ну а если в тамошних водах заметно прибавилось *Cetorhinus maximus* — так ведь многие виды акул, в том числе и эти безобидные гиганты, уже занесены в Красную книгу...

VII

Мавр устал: всё-таки полчаса сна после тяжёлого дня — это слишком мало. А милая беседа длилась уже третий час. И, словно почувствовав это, Савицкий предложил сделать «как теперь говорят, кофе-брейк». Мысль здравая. Мавр уже совсем было собрался отправиться в кухню, но судья опередил его:

— С позволения любезного хозяина, так порадовавшего нас своей откровенностью, я сам похозяйничаю.

Мавр понял, что ему все равно. Хотелось только, чтобы всё скорее кончилось. Как угодно.

— Моя бабушка любила говаривать: «Кто в доме гость, тот и хозяин». Но предупреждаю, кофе у меня только растворимый. Натуральный купить забыл.

— Не беда, я разберусь, — отмахнулся Савицкий и скрылся в кухне.

Мавр встал, привычно запахнул поглубже халат, извлёк из бара наконец дождавшуюся своего часа литровую бутылку «Маркиза де Ливри» (вполне достойный арманьяк, пусть не из лучших), водрузил на кофейный столик. И завершил сервировку хрустальными коньячными рюмками — прощальный подарок лицеистов, узнавших об его уходе. Мавр тогда был растроган — ведь теперь-то в их жизни зависеть от бывшего преподавателя ничего не могло. Значит, кому-то из них уроки его пошли впрок и пришлось по душе; выходит, не просто лямку тянул...

Всё это происходило в полном молчании. Доктор Гаспар Арнери, правда, несколько раз порывался что-то сказать, но тут же увядал под суровым взглядом доктора Блейка.

А минутой спустя Савицкий внёс поднос с кофейником и четырьмя исходящими ароматным паром чашками. Мавр жадно отглотнул — он с детства мог без последствий пить чуть ли не крутой кипяток. Это был не «Якобс Монарх». Это было нечто! Он вопросительно посмотрел на судью. Тот улыбнулся:

— Кое-что и мы умеем, правда? — И, не дожидаясь ответа, спросил: — Ну а с этими — муллами, аятоллами? С ними-то вы что учудили?

— Главное, почему, — ответил Мавр. — Они раскатывают по Европе, встречаются с церковными иерархами и политиками, называют себя борцами за мир и противниками террора, а в мечетях, среди своих, именно к тому и призывают. Похуже любой пятой колонны. А в итоге — взорванные и сожжённые церкви. Их наущением. И мечети, растущие, как шампиньоны на... Да что говорить — сами прекрасно знаете! Тут я, каюсь, и вспомнил, как Ходжа Насреддин собирался учить ишака богословию. А в результате стало в мире двумя десятками ослов да мулов больше. Уж их-то проповедь никому не повредит. Но как вы догадались, что это я?

— Дорогой Мавр, не будь вы новичком-аутсайдером, вас нашли бы уже много лет назад. Просто долгое время такая мысль никому и в голову не приходила. А когда пришла, и мы посмотрели вокруг... Вы же наследовали, как стадо слонов. Тех самых, в которых превратили намибийских браконьеров. Ведь всякое магическое действие оставляет след, прочитав который опытному магу не так уж трудно.

— Я думал об этом, и немало, но до конца уверен не был.

— И всё-таки вы нас ждали, — это был не вопрос, а констатация.

— Не то чтобы... Скорее, допускал такую вероятность.

— И тем не менее, продолжали действовать, — вступил в разговор прокурор Блейк.

— Да. И о том не жалею.

— Неужели?

— Ни минуты.

Возникла пауза. Долгая. Мавр мелкими глотками допивал вторую чашку кофе, понемножку прихлёбывая арманьяк. Последнего, кстати, и остальные не чурались. Но в этой напряжённой тишине казалось, будто визитёры ведут между собой некий серьёзный разговор.

— Что ж, — прервал молчание Блейк, — пожалуй, я задам ещё лишь один вопрос. В вашем деле, Мавр, эпизодов столько, что придётся разбирать каждый, понадобился бы многолетний процесс. Но суть-то у всех них одна, разнообразием мотивов тут и не пахнет. Что значительно упрощает дело. Итак, последнее. Беженцы.

— Как вы сами справедливо заметили, мотив всё тот же. Этих людей в Европу не звали. И рвутся они сюда отнюдь не затем, чтобы стать европейцами. Мы сейчас — гибнущий под ордами варваров Рим. Там тоже даровали им гражданство. И чем кончилось? Все это политкорректное, мультикультуралистское и прочее словоблудие Европу не спасёт. Ей нужны Флавии Аэции. Его называли последним римлянином. Ну а я — последний европеец. И убеждён, что именно такие Европе сейчас нужны. Хотя частица такой души должна пробудиться если не во всех, то во многих. Во мне она живёт — и я нужен. Как нужны Карлы Мартеллы и Флавии Маврики.

— Но ведь войны-то нет!

— И потому нужны другие методы. Мирные. Потому нужен я.

— Вы? Тот, кто погубил многие тысячи беженцев? Женщин и детей?

— Во-первых, женщины и дети — это лишь живой щит, тактика давным-давно отработанная. А за щитом — молодые волки, жаждущие, живя за счёт Европы, её милостью, изгрызать её изнутри, пока не сдохнет. Если ты согласишься убежища в чужом монастыре — не суйся со своим уставом. Не режь и не жарь барашков на площадях. Не насилуй женщин, чей вид, видите ли, оскорбляет твою нежную душу! А во-вторых, разве я хоть кого-нибудь убил? Они хотели привольной жизни — и получили. Посмотрите, как выросли, например, в Средиземном море популяции обыкновенных тунцов и дельфинов-белобочек. Да то ли ещё будет! И все они довольны жизнью.

— А их личности? Разве они не уничтожены?

— Они самоуничтожились, когда не сумели наладить жизнь в собственных странах и вознамерились поглотить чужие. Но уж к этому я никак не причастен.

— Допустим. Однако среди козлиц встречаются ведь и агнцы. И как быть с ними?

— А как вы думаете, почему исчезают не все так называемые беженцы? Ответ в гримуаре. Заклятия на открытое и закрытое сердце...

— О чём-то подобном упоминал и рабби Моше Бен-Нахман... — вставил было Гаспар, но Мавр не дал сбить себя с мысли:

— ...метафора, конечно, так ведь язык его сплошь метафоричен. Те, кто хочет вписаться в новую жизнь, едут с открытым сердцем. А кто жаждет превратить Европу в свой халифат — с закрытым. И мои заклиния действуют лишь на них. Только вот их, к сожалению, подавляющее большинство...

— Что же, коллеги, полагаю, пришло время выносить решение, — проговорил Савицкий. — Что скажете, Гаспар, в пользу вашего подзащитного?

— Он прав, утверждая, что никого не убивал, и это, безусловно, говорит в его пользу. Его действия служили также на благо исчезающим или находящимся под угрозой видам...

— ...одним из коих являются, между прочим, европейцы, — не удержался Мавр.

— Не перебивайте, — сурово одёрнул судья. — Ваше последнее слово впереди.

Мавр кивнул, налил себе ещё кофе, откинулся на спинку кресла и затих.

— В пользу моего подзащитного говорит и ещё одно. Он — человек случайный. Маг-самоучка, не ведающий ни наших традиций, ни нашей стратегии хранителей мудрости и духа познания, но не отдельных цивилизаций. Со своими скудными умениями он вмешался в дела мира, руководствуясь лишь совестью и искренней верой в собственную правоту. И потому я прошу проявить к нему снисхождение, хотя незнание закона, как известно, и не освобождает от ответственности.

— Будем считать, что прокурор и адвокат уже выступили. Вот теперь, Мавр, слово вам.

— А имею ли я право высказаться уже после вынесения вердикта?

Савицкий на секунду задумался:

— Если у вас нет никаких просьб к суду и вы не можете привести ещё каких-то аргументов в свою защиту...

— Нет и нет.

— Тогда будь по-вашему. Это маленькое отступление от процедуры никому и ничему не повредит. Итак, коллеги, теперь мы должны прийти к единогласному решению. Казус, конечно, редчайший, но руководствоваться мы обязаны исключительно собственными установлениями и уложениями. Боюсь, выбирать не приходится — преступления против неизбежного хода истории и человеческих личностей явны и сомнению не подлежат.

— Значит, развоплощение, — удовлетворенно кивнул прокурор.

— Увы, развоплощение, — печально вздохнул адвокат.

— И потому властью, которой облёк меня Совет магов света, приговариваю вас, Мавр, к развоплощению, — закончил судья.

Спектакль окончился.

VIII

— Надеюсь, мне позволят перед казнью ещё чашечку вашего изумительного кофе? — полюбопытствовал Мавр.

— Разумеется, — пожал плечами судья. — Но, должен сказать, и хладнокровный же вы субъект! За свою долгую жизнь я таких, признаюсь, не встречал.

Мавр налил себе кофе, плеснул арманьяка.

— А теперь растолкуйте мне, что такое развоплощение.

— Ну, в самом первом приближении, — пустился в объяснения Гаспар Арнери, — это то же самое перевоплощение, которым вы занимались, но только перевоплощение в ничто. Физическое тело медленно, буквально по атому, истает — безболезненно, но и безвозвратно.

— Безболезненно? Разве с того света кто-то возвращался?

— В этом нет необходимости. Развоплощаемый пребывает в сознании до самого последнего мгновения. И потому мы уже много веков знаем, что процесс действительно безболезнен.

— До последнего мига? Достопочтенный судья, а имею ли я право произнести своё последнее слово в предпоследний миг?

— Если таково ваше желание — пожалуйста. Мы всё равно должны до конца присутствовать при исполнении приговора.

— Но позвольте ещё минуту, — Мавр встал и вышел в кабинет, предусмотрительно оставив дверь распахнутой, чтобы его было видно, и тут же вернулся с большим титановым кейсом, который и водрузил на стол.

— Внутри — «Гримуар Гримальди». Примите как прощальный подарок высокому суду. А теперь — приступайте.

Маги встали и заняли позиции так, что Мавр оказался точно в центре незримого равностороннего треугольника. Они не совершали никаких пассов, просто замерли, беззвучно шевеля губами. Сам Мавр всё-таки всегда произносил заклинания вслух.

Боли впрямь не было. Просто по телу, начиная с ног, стало медленно разливаться некое неопределенное онемение. Мавр глотнул арманьяку и полюбопытствовал:

— И сколько времени это займёт?

— Минуты две-три, может, чуть больше, — ответил Савицкий.

Теперь все трое стояли перед ним и смотрели... кажется, с грустью. Или сожалением? Или сочувствием? Бог весть. Но от этого на душе стало теплее. Или так проявляется какой-то из побочных эффектов развоплощения?..

Он просчитал про себя до ста и заговорил.

IX

Бальтазар, Гаспар и Мельхиор, стоя, наблюдали, как медленно растворяется в воздухе тело Мавра. Сквозь него уже явственно виднелась потрескавшаяся местами чёрная кожа кресла. Голова тоже начинала терять форму. Они по опыту знали, что последним исчезает лицо. Оно пока оставалось прежним, спокойным, а полупрозрачная правая рука всё ещё держала рюмку.

— Коллеги, — зазвучал голос, — вот моё последнее слово. Мавр сделал своё дело, Мавр может умереть. Но что же вы, думали, я тупо зазубрил несколько заклинаний? Ну уж нет! И теперь истинно, истинно говорю вам: каждый из вас отныне — это я! *Le roi est mort, vive les rois!*¹

Выпад из окончательно истаявшей руки, рюмка упала и разбилась. Осколки ещё не отзвенели, как погасло и лицо.

Трое магов безмолвно покинули квартиру, спустились в лифте и вышли на улицу. Здесь они остановились и переглянулись.

— Что же, продолжим? — спросил Гаспар.

— Разумеется, — кивнул Бальтазар.

— С какого места?

— С того, где остановились, — подвел итог Мельхиор.

И люди в чёрных плащах и шляпах разошлись в разные стороны, быстро растворяясь в темноте ноябрьской петербургской ночи. И только с безоблачного неба зорко следили за ними три ярких звезды: Пояс Ориона — Альни-так, Альнилам и Минтака, которые в России зовут Три Волхва.

¹ *Le roi est mort, vive les rois!* (франц.) — Король умер, да здравствуют короли! С одной стороны, это отсылка ко классической французской формуле *Le roi est mort, vive le roi!* (Король умер, да здравствует король!), провозглашаемой после кончины одного монарха и перед объявлением о восшествии на престол следующего; с другой — отсылка к тому обстоятельству, что Бальтазар, Гаспар и Мельхиор, именуемые у православных тремя волхвами, во всех остальных христианских конфессиях называются королями-магами. [Прим. ред.]